



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

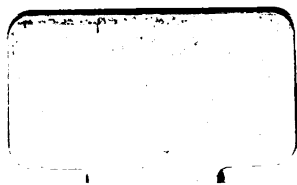
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



1

1

**This is an authorized facsimile of the original book,
and was produced in 1978 by microfilm-xerography
by University Microfilms International
Ann Arbor, Michigan, U.S.A.
London, England**

PG 3460

G3Z7

B. M. YAPUNAN, P.



КРАСНЫЙ ЦВѢТОКЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ

ВЪ ПАМЯТЬ

ВСЕВОЛОДА МИХАЙЛОВИЧА ГАРШИНА



Тиража 300 экз. (300 экземпляров)



В. М. Тарушкинъ въ гробу.





В. М. Гаршинъ въ гробу.

32070 100111

HLH

G194

K8

ОСОБНАГО СЪБРАНАГО
Д. СЕВООДА ГАРШИНА



ОДНОВЕРНО

СБОРНИКЪ

ЛОН. А. Родикъ

PROTON MAGNET

HLK

G194

K8

ОТЪ ИЗДАТЕЛЕЙ

Выпуская въ свѣтъ сборникъ «Красный Цвѣтокъ», мы находимъ необходимымъ сказать по этому поводу нѣсколько словъ.

Черезъ нѣсколько дней послѣ смерти В. М. Гаршина у насъ возникла мысль почтить его память изданіемъ литературнаго сборника. Съ этою цѣлю, черезъ посредство газетъ, мы обратились къ собратьямъ-писателямъ и ко всѣмъ вообще знавшимъ покойнаго съ просьбой присылать для сборника, какъ беллетристическія и поэтическія произведенія, такъ и воспоминанія о Гаршинѣ, письма его и проч. Призывъ нашъ не остался безъ отвѣта: то, что заключается въ сборникѣ, составляетъ лишь незначительную часть полученнаго нами матеріала.

Тѣмъ не менѣе мы считаемъ нашу цѣль неполнѣ достигнутою: далеко не всѣ силы русской литературы участвуютъ въ сборникѣ. Произошло это главнымъ образомъ потому, что явилось изданіе другого сборника—съ рѣшительнымъ намѣреніемъ его издателей довести это дѣло до конца отдѣльно отъ насъ, въ строго-замкнутомъ кружкѣ. Такимъ образомъ, случилось то, чего мы всѣми средствами старались избѣгнуть, что является некажѣпной язвой въ литературной семьѣ, — явилась рознь, и мы остались одни, при своихъ слабыхъ силахъ...

Примирившись волей-неволей съ неполнотою сборника, мы должны были покориться и другой печальной необходимости — болѣе позднему, чѣмъ намъ хотѣлось, выходу изданія въ свѣтъ.

Лицо, добровольно принявшее на себя весь матеріальный риск предприятия, въ послѣднюю минуту покинуло насъ—и мы вынуждены были бы сложить оружіе, еслибы землякъ Гаршина, А. Е. Албевъ, не явился на помощь и не припалъ на себя по исполненнаго упомянутымъ лицомъ, по отношенію къ намъ, обязательства.

Въ заключеніе, предоставляя читателямъ судить о достоинствахъ и недостаткахъ «Краснаго Цвѣтка», мы обращаемся ко всѣмъ нашимъ сотрудникамъ—къ лицамъ, доставившимъ воспоминанія о Гаршинѣ, къ собратьямъ-писателямъ, къ художникамъ И. Е. Рѣшнину, П. Е. Никитину и В. В. Маттѣ (послѣднему за безвозмездное воспроизведеніе приложеннаго къ сборнику рисунка)—съ выраженіемъ нашей глубокой, сердечной благодарности.

Чистая выручка отъ продажи книги, по напечатаніи отчета въ газетахъ, будетъ препровождена въ комитетъ общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ, для приобщенія къ наслѣду имени В. М. Гаршина.

М. Албевъ.

И. Баранцевичъ.

В. Лихачевъ.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТДѢЛЪ I

	стр.
24 марта 1888 года	3
Всеволодъ Гаршинъ и его пребываніе въ Ефимовкѣ. В. А.	10
Дебюты В. М. Гаршина. И. Павловскаго.	17
В. М. Гаршинъ на службѣ. А. Васильева.	24
Моя единственная встрѣча съ Гаршинымъ. Д. Гарина.	29
Смерть В. М. Гаршина. Г. И. Успенскаго	32
О Всеволодѣ Гаршинѣ. А. И. Эртеля	45
Двѣ встрѣчи. Н. В. Рейнгардта.	54
Сообщеніе С. А. Венгерова	60
В. М. Гаршинъ какъ писатель. Арсенія Введенскаго	65

ОТДѢЛЪ II

Стихотвореніе Я. Половскаго.	3
При посылкѣ поэмы «Брингильда» въ Кадыкюй въ Малой Азіи. А. Майкова.	4
Женихъ. Марка Басанина	5
Зарница. Гр. Голенишева-Кутузова	40
Сказки Таволгина. Ник. Михайловскаго.	41
Біаррицъ. С. Андреевскаго	60
Прологъ романа. Мих. Альбова.	63
Легенда. С. Фруга.	75

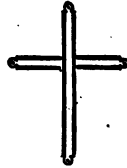
	стр.
Похороны. I. Яенинского.	77
Пастырь. Анатолия Лемана.	79
На Невѣ. К. Фофанова.	92
На пороги къ славі. Ив. Щеглова.	93
Стихотвореніе О. Червинскаго.	118
Два счастья. Дѣдова.	119
Отрывокъ изъ поэмы «Тиверій». В. Вуренина.	133
Жизнь хороша. Д. Сибиряка.	135
Andante. М. Соймонова.	144
Червоонецъ. А. Эртеля.	145
Одинъ изъ побѣжденныхъ. О. Чюминой.	155
Звѣздя. Василія Величко.	158
Прахъ. Фантастическая поэма въ прозѣ К. Баранцевича.	159
Байронъ. Д. Мережковскаго.	173
Ночь обваломъ. А. Алѣева.	175
Лири Орфея. В. С. Лихачова.	181
Стихотвореніе Н. Минскаго.	182
Изъ почтеннѣйш. домъ. Н. Лейкина.	183
Побѣжденная природа. С. Бердяева.	188
Могильныя цвѣты. М. Галуиконскаго.	189
Стихотвореніе. Константина Лѣдова.	196
Стихотвореніе А. Дитиревскаго.	196

ВСЕВОЛОДЪ МИХАЙЛОВИЧЪ

ГАРШИНЪ

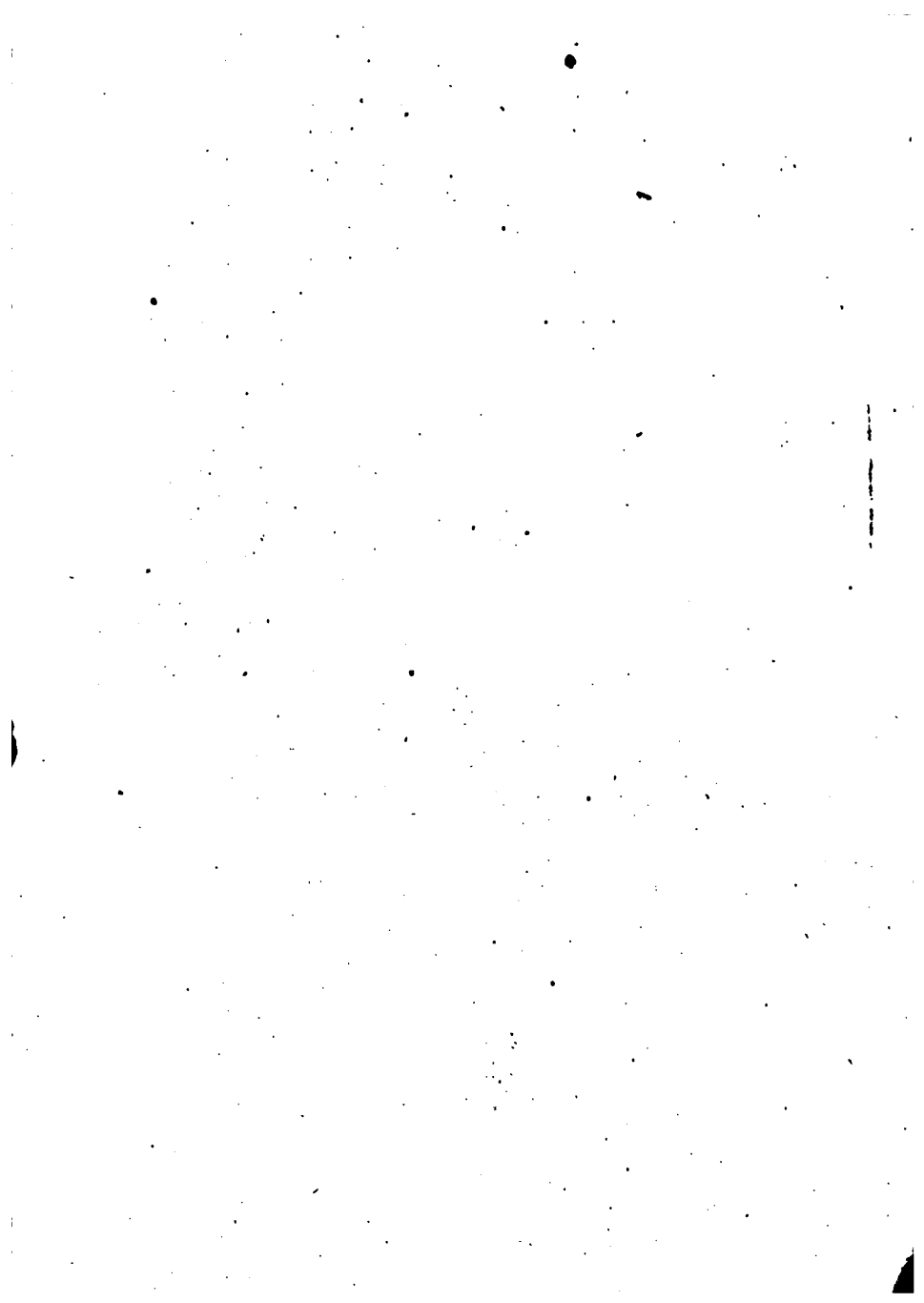
STATIONARY MAXIMUMS

STATIONARY



Всеволодъ Михайловичъ Гаршинъ скончался въ четвергъ, 24 марта 1888 года, въ 4 часа утра, въ хирургическомъ отдѣленіи глѣбницы краснаго креста, тридцати трехъ лѣтъ отъ роду.

Покойный родился 2 февраля 1855 года, екатеринославской губерніи, бахмутскаго уѣзда, въ имѣніи бабки своей А. С. Акимовой «Пріятная долина» и воспитывался въ петербургской седьмой гимназіи (нынѣ первое реальное училище). Переѣздя въ послѣдній классъ этого учебнаго заведенія, онъ впалъ въ тяжкую психическую болѣзнь, отъ которой однако черезъ нѣсколько мѣсяцевъ оправился, и въ 1874 году, окончивъ полный курсъ реального училища, поступилъ въ горный институтъ. При переходѣ въ третій курсъ, подъ впечатлѣніемъ манифеста о восточной войнѣ 1877 года, покойный бросилъ экзамены и уѣхалъ въ дѣйствующую армію. На правахъ вольноопредѣляющагося, онъ поступилъ рядовымъ въ 138 болховской пѣхотный полкъ и отъ Кишинева до Систова сдѣлалъ весь походъ пѣшкомъ, какъ это описано имъ въ «Запискахъ рядового Иванова». 11 августа того же года, въ битвѣ при Аясларѣ, Гаршинъ былъ раненъ въ ногу пулей навыметъ и отправленъ на излѣченіе въ Харьковъ, къ своимъ роднымъ. Въ реляціи объ аясларскомъ дѣлѣ было сказано, что «рядовой изъ вольноопредѣляющихся Всеволодъ Гаршинъ примѣромъ личной храбрости умелъ своихъ товарищей въ атаку и тѣмъ способствовалъ успѣху дѣла». За отличіе покойный былъ произведенъ въ офицеры, но военной службы не продол-



Надеждѣ Михайловнѣ Золотиловой, слушательницѣ медицинскихъ курсовъ, окончившей затѣмъ курсъ со званіемъ женщины-врача. Дѣтей у нихъ не было. Одновременно съ женитьбой покойный получилъ мѣсто секретаря общаго съѣзда представителей русскихъ желѣзныхъ дорогъ, которое и занималъ почти пять лѣтъ, оставивъ его лишь мѣсяца за три до своей кончины. Мѣсто это давало ему солидное матеріальное обезпеченіе.

Съ этого времени Гаршинъ написалъ уже очень немного: въ 1883 году—разсказы «Красный цѣтокъ» и «Медвѣди», въ 1885 —повѣсть «Надежда Николаевна», въ 1886—«Сказаніе о гордомъ Аггеѣ», въ 1887—разсказъ «Сигналъ» и статью о передвижной выставкѣ въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ». Работать ему мешали припадки меланхоліи, изъ весны въ весну, при полномъ сохраненіи сознанія, большею частью безъ всякой вишней причины. Съ каждымъ годомъ періодъ такого угнетеннаго состоянія дѣлался длиннѣе, и только позднюю осенью Гаршинъ освобождался отъ своего недуга, охотно появляясь въ обществѣ тѣмъ живымъ и милымъ собесѣдникомъ, какого всѣ привыкли въ немъ видѣть. Въ послѣдній разъ болѣзнь особенно затянулась; почувствовать облегченіе, покойный рѣшилъ безотлагательно ѣхать на Кавказъ, чтобы вполне оправиться, но не успѣлъ привести въ исполненіе это намѣреніе: въ девятомъ часу утра 19 марта, выйдя незамѣтно на лѣстницу своей квартиры и спустившись съ четвертаго этажа до второго, онъ упалъ въ пролетъ лѣстницы и сломалъ себѣ ногу. Полное сознаніе больного не внушало первоначально серьезныхъ опасеній, а потому къ нему было примѣнено только хирургическое лѣченіе; но на слѣдующій день, часовъ въ пять утра, онъ уснулъ и не просыпался уже до кончины.

Хоронили Гаршина 26 марта, на волковскомъ кладбищѣ.

Съ ранняго утра у воротъ лѣчебницы стала собираться толпа, скорѣе занимавшая почти половину улицы. Ровно въ девять часовъ появился бѣлый глазетовый гробъ съ останками покойнаго, весь усыпанный живыми цвѣтами. До самаго кладбища его несли на рукахъ литераторы и студенты. Печальная колесница подъ бѣлыми же багдахиномъ вся покрыта была вѣнками изъ живыхъ и искус-

ственныхъ цѣтовъ—отъ литературнаго фонда, отъ товарищескихъ писателей, отъ студентовъ горнаго института, университета, военно-медицинской академіи и технологическаго института, отъ высшихъ женскихъ курсовъ, отъ учащихся въ Петербургѣ сибиряковъ, отъ редакціи журнала «Сѣверный Вѣстникъ», отъ друзей, отъ сослуживцевъ и ин. др. Впродолженіе всего пути пѣлъ студенческій хоръ.

Къ десяти съ половиною часамъ погребальная процессія прибыла на кладбище, и гробъ былъ поставленъ на катафалкъ, посреди воскресенской церкви, заранѣе уже переполненной народомъ. Набальнированный трупъ покойнаго почти исчезалъ подъ живыми розами. Вѣнокъ «отъ товарищескихъ писателей» изъ алыхъ розъ и краснаго мака прикрѣпленъ былъ къ изголовью гроба; остальные лежали у подножія катафалка. Около вырытой могилы, близъ литераторскихъ моетковъ, всѣ памятники, кресты, деревья, заборы и крыши заняты были непомѣстившимися въ церкви.

Въ два часа гробъ былъ опущенъ въ могилу. Застучали комья мерзлой глины о крышку гроба и раздался неудержимый плачъ. Плакали не только родные и друзья Гаршина,—плакали многіе изъ публики, женщины и мужчины.

Начались рѣчи и стихотворенія, которыя мы и приводимъ здѣсь полностью, въ послѣдовательномъ порядкѣ.

Рѣчь проф. Сергеевича.

«Смерть унесла отъ насъ не только любимаго человѣка, но и поэта; смерть его отзовется въ сердцахъ каждого, кому дороги интересы русскаго слова. Мы хоронимъ сегодня наши надежды, мы хоронимъ надежды русской литературы. Недолго жилъ Всеволодъ Гаршинъ, немного онъ написалъ, но все, что вышло изъ-подъ его пера, отмѣчено печатью высокаго дарованія. Надежды всѣхъ, его читавшихъ, были не призракомъ: молодому поэту надо было только жить, чувствовать и обогащаться жизненнымъ опытомъ, чтобы продолжать творить художественныя произведенія, съ которыхъ онъ началъ... Но жизнь-то и не далась Гаршину. Мы видѣли, какъ онъ тяжело страдалъ отъ гнета, но новоду душев-

наго недуга: онъ не могъ побороть внутренней болѣзни, которая губила его творческія силы; онъ изнемогалъ въ страшной борьбѣ съ самимъ собой и... пересталъ жить. Только адѣсь, въ этомъ пріютѣ смерти, найдетъ онъ тотъ покой, въ которомъ отказала ему жизнь. Къ нашему горю, этотъ вѣчный покой отвоевалъ онъ себѣ слишкомъ преждевременно... Миръ праху твоему, дорогой страдалецъ!»

Речь 1. Баранцевича.

«Всеволодъ Гаршинъ умеръ. Его тѣло опущено въ могилу; но память о немъ будетъ жить долго: написанное имъ будетъ читаться и волновать, потому-что онъ писалъ правду,—не ту повседневную, обыденную правду, которую мы видимъ вокругъ себя, а ту, о которой Левъ Толстой сказалъ, что «надо писать не то, что должно быть, а правду царствія Божія, которое близится, но котораго еще нѣтъ». Гаршинъ былъ послѣднимъ художественнымъ выразителемъ того общественнаго движенія, которое возникло нѣсколько раньше насъ, его сверстниковъ, и конецъ котораго Гаршинъ достойно воспѣлъ словами своего героя. Всеволодъ Гаршинъ не могъ жить за свой страхъ, онъ не могъ примириться съ узкимъ, улиточнымъ счастьемъ, которымъ довольствуются многіе,—его сердце жаждало общаго счастья. Во время недавней встрѣчи онъ говорилъ: «Тѣломъ я здоровъ, но еслибы вы знали, что у меня въ душѣ»... Кто могъ знать его страданія? Можетъ-быть онъ, какъ тотъ больной, искалъ «красный цвѣтокъ», чтобы пресѣчь зло міра,—могила не дала отвѣта. Тайну мученій Гаршинъ унесъ съ собой—и если съ этой тайной онъ унесъ хотя частицу страданій міра, то да будетъ на многіе годы памятно его имя».

Речь 2. Ясинская.

«Товарищи! Мы хоронимъ нашего лучшаго друга и нашу славу. Уста нѣмѣютъ передъ громадностью утраты. Послѣдній разъ собрались мы у дорогого праха. Горе намъ!.. Пусть тѣмъ

его вѣстать надъ нами и вдохновлять на правду и красоту.
Вѣчная память Всеволоду Гаршину.»

Стихотвореніе 1. Минскаго.

Ты грустно прожилъ жизнь. Больная совѣсть вѣла
Тебя отпугала глупатаемъ своимъ;
Въ дни злосбы ты любилъ людей и человека
И жаждалъ вѣровать, безвѣріемъ томилъ.
Но слишкомъ былъ глубокъ родникъ твоей печали:
Ты немногъ душой, правдивѣйшій изъ насъ,—
И струны порвались, рыданья отзвучали...
Въ безвременье ты жилъ, безвременно угасъ!
Я ничего не зналъ прекраснѣй и печальнѣй
Лучистыхъ глазъ твоихъ и блѣднаго чела,
Какъ будто для тебя земная жизнь была
Тоской по родинѣ недостижимо-дальней.
И творчество твое, и красота лица
Въ одну гармонию слились съ твоей судьбой,
И жребій твой похожъ, до страшнаго конца,
На грустный вымыселъ, рассказанный тобою.
И ты ушелъ отъ насъ, какъ тотъ пѣвецъ больной,
У славы отнятый ногами дуновеньемъ;
Какъ буря, смерть прошла надъ нами въ неколебимъ,
Вершиимъ всѣхъ споспѣвъ завистливой рукой.
Нѣтъ лучшихъ, кѣмъ оно гордилось и блеснуло,
Кто страстными словами ногъ отчуждѣвъ послужить:
Давно-ль угасъ Нексозъ? Теперь тебѣ не стало...
Всѣхъ насъ намъ гажено, безъ насъ намъ стыдно жить!..

Пѣнь 1. Лемана.

Господа! Мы собрались здѣсь у гроба безвременно почившаго писателя. Писателя... Да, многіе изъ собравшихся здѣсь знали Гаршина только какъ писателя, произведенія котораго—искреннія, горячія,—находили откликъ въ ихъ душахъ, ихъ сердцахъ. Поэтому нечего говорить о томъ, что совершилъ Гаршинъ, что написалъ, о чемъ думалъ, чему сочувствовалъ. Все это у каждаго передъ глазами. Но вотъ чего не знаютъ быть-можетъ нѣмцы. Не знаютъ, что Гаршинъ былъ за человѣкъ и какъ прошелъ своей короткій жизненный путь. Гаршинъ совершилъ «свою ра-

боту жизни», какъ нейногіе. Великодушный, строгій къ себѣ, снисходительный къ другимъ, непоколебимо честный, стойкій въ убѣжденияхъ, всегда готовый помочь не словомъ, а дѣломъ, онъ производилъ впечатлѣніе необыкновенно-свѣтлой, высоко-нравственной личности. Трудно передать, какъ сильно онъ могъ вліять на людей, когда хотѣлъ, благодаря именно этимъ рѣдкимъ чертамъ своего характера. Часто одно его слово вѣсило больше, чѣмъ нѣсколько длинныхъ краснорѣчивыхъ увѣреній. Говорить: «мы потеряли даровитаго молодого писателя, который могъ бы создать новыя выдающіеся произведенія». Не писателя,—благороднаго, честнаго человѣка потеряли мы, человѣка высокой духовной чистоты, неизмѣнявшаго истинѣ, правдѣ,—и вотъ это дѣйствительно великая потеря. Его нѣтъ. Пусть онъ живетъ съ нами въ нашей памяти, въ нашихъ сердцахъ! Аминь.»

Стихотвореніе г. Дрожжина.

Кончилась жизнь молодая и сильная,
Теплою любовью къ народу обильная,—
Плачь же, родимый народъ!
И помолися за душу почившаго,
Видѣть съ тобою не разъ пережившаго
Жизненный гнетъ!

Речь г. Гербунова (уполномоченнаго издательской фирмы «Посредникъ»).

«Ты никогда не былъ жрецомъ искусства ради немногихъ избранныхъ. Ты одинъ изъ первыхъ откликнулся на могучій призывъ нашего пахаря насытить изголодавшуюся народную душу,—и уже теперь толпы крестьянъ просвѣтляются свѣтомъ твоей любви и быть можетъ проникаются тѣмъ страстнымъ протестомъ противъ торжества братоубійственнаго насиія,—протестомъ, живымъ воплощеніемъ котораго была вся твоя творческая личность. Скоро народъ еще болѣе узнаетъ того, «кто былъ себѣ судья неумолимо строгій».

Къ тремъ часамъ надъ могилой Гаршина возвышался уже

холмъ сырой земли, на которомъ водруженъ былъ простой деревянный крестъ съ надписью: «Всеволодъ Михайловичъ Гаршинъ. Скончался 24 марта 1888 года».

Всеволодъ Гаршинъ и его пребываніе въ Ефимовѣ 1880—1882 г.

Я познакомился со Всеволодомъ въ мѣѣ 1857 года. Ему было два года. Это былъ забавный бутузъ, только-что начавшій болтать,—общій баловень въ семьѣ. Когда онъ начиналъ капризничать, нашъ старый лакей, Дмитрій, пугалъ его «Грицькомъ», и этотъ фантастическій Грицько приводилъ ребенка въ такой ужасъ, что, при одномъ произнесеніи страшнаго имени, онъ глоталъ слезы и утихалъ. Помню, что онъ любилъ молиться Богу и усердно номиналъ «дѣбаку» и «бакаку» (дѣдушку и бабушку). Часто онъ изображалъ святогорскаго іеродіакона и, надѣвъ на себя простыню въ видѣ мантии, съ линейкой въ рукѣ, изображавшей свѣчу, прохаживался по комнатамъ, возглашая: «Возстаните!» Позже, въ началѣ 1860 года, онъ прѣзжалъ съ матерью ко мнѣ въ Одессу, куда я только-что возвратился изъ лондонскаго плаванія на пароходѣ «Веста» (впоследствии знаменитомъ). Это былъ уже пятилѣтній мальчикъ, очень кроткій, серьезный и симпатичный, носившійся постоянно съ «Міромъ Божьимъ» Разина, который онъ оставлялъ только ради излюбленнаго имъ рисованія. У меня до сихъ поръ сохраняются мои замѣтки о плаваніи, совершенно имъ испорченныя изображеніями на каждой страницѣ «Весты». Затѣмъ я совсѣмъ потерялъ его изъ вида и о ходѣ его воспитанія и образованія зналъ только по письмамъ его матери, моей сестры.

Въ первый разъ послѣ долгаго промежутка я встрѣтилъ его въ Харьковѣ возвратившимся съ войны раненымъ унтеромъ. Я съ любовнымъ вниманіемъ осматривалъ его, какъ героя и автора «Четы-

рехъ дней», сдѣлавшихъ на меня глубокое и грустное впечатлѣніе. Мы очень съ нимъ подружались и вели продолжительныя бесѣды, преимущественно о ботаникѣ, въ которой онъ былъ очень силенъ; но вообще мнѣ грустно было его видѣть: блуждающіе, какіе-то тревожные глаза, лихорадочная торопливость разговора, внезапные припадки раздражительности при малѣйшемъ противорѣчій—все это явно показывало, что малый нехорошъ.

Пропускаю тяжелый періодъ пребыванія его на «Сабуровой дачѣ», гдѣ я навѣщалъ его во время моихъ прїѣздовъ въ Харьковъ. Я не могъ безъ слезъ видѣть его въ этой ужасной обстановкѣ, которая, къ счастью, продолжалась недолго.

Зимой 1880 года, возвращаясь изъ Петербурга чрезъ Харьковъ, я нашелъ Всеволода въ ужасномъ положеніи: у него былъ столбнякъ, прерываемый иногда только безпричинными слезами; вызвать его на разговоръ, даже мнѣ, которому онъ показывалъ столько дружбы, не удавалось. Тогда, въ виду особыхъ причинъ, о которыхъ здѣсь считаю лишнимъ распространяться, у меня родилась мысль увезти его къ себѣ за 600 верстъ и поставить въ совершенно другую обстановку и другія условія жизни, устранить отъ него все то многое, что въ Харьковѣ никакимъ образомъ не могло способствовать улучшенію его бѣдственнаго положенія. Получивъ согласіе сестры и Евгенія *), я предложилъ Всеволоду погостить у меня въ Ефимовкѣ, пока не надобѣтъ, на что онъ отвѣчалъ: «Вы вѣдь знаете, дядя, что я не имѣю ни воли, ни желаній; если вы находите нужнымъ взять меня, я поѣду, если нѣтъ,—мнѣ все равно». Я объяснилъ ему, что нахожу нужнымъ, и увезъ. Мы вдвоемъ занимали цѣлый вагонъ, и я съ радостью увидѣлъ, что, по мѣрѣ удаленія отъ Харькова, расположеніе духа больного мѣняется; онъ, по моему предложенію, съ любопытствомъ принялся рыться въ моемъ чемоданѣ, гдѣ находились разныя механическія игрушки, купленные мною дѣтямъ, и не могъ не засмѣяться при видѣ медвѣды, ходившаго съ ремонъ

*) Брата покойнаго.

по вагону; особенно же его зашла очень сильная крысоловка, и онъ сталъ выражать капризное раздраженіе по случаю невозможности примѣнить ее сейчасъ-же къ дѣлу, — потому, придавивъ себѣ весьма сильно палецъ, самъ разсѣлся надъ своимъ ребячествомъ. Эта крысоловка впоследствии оказала мнѣ важную услугу, такъ какъ она въ продолженіе двухъ недѣль занимала его; онъ съ увлеченіемъ принялся пистрелять крысъ, которыхъ было множество въ амбарахъ. Заведенъ былъ журналъ, въ которомъ ежедневно отмѣчалось число казенныхъ животныхъ, съ особой графой примѣчаній: «съ крысами тихо», «крысы въ угнетеніи», «твердое настроеніе» и проч. Кончилось тѣмъ, что ловушка безслѣдно исчезла, и мы пришли къ предположенію, что въ нее попался хорекъ, который и утащилъ ее на себѣ въ свою невѣдомую нору.

Не смотря, однако, на видимую рѣзкую переменъ, почти сразу обнаружившуюся въ моемъ дорогомъ больномъ, первое время его пребыванія у меня было очень тяжелое: иногда, среди живого и веселаго разговора, онъ вдругъ задумывался и обводилъ всѣхъ страннымъ, блуждающимъ взоромъ; не проходило почти ночи, чтобъ онъ не сдѣлалъ тревоги внезапными, громкими рыданіями, которыя прекращались очень трудно. Такое положеніе продолжалось недѣли три. Тѣмъ временемъ я понемногу начиналъ вводить его въ систему задуманнаго мною леченія, которая заключалась въ слѣдующемъ: полное изолпрованіе отъ всего заефимовскаго міра, кромѣ матери, братьевъ и В. А. Фассека, къ которому онъ всегда относился съ самой нѣжной дружбой; постоянное, хоть и молчаливое сообщество кого-нибудь изъ насъ; какъ можно больше движенія и физическаго труда и никакихъ литературныхъ занятій, кромѣ любимаго имъ писанія писемъ на родину своимъ рабочимъ. Впрочемъ, впоследствии я уступилъ его желанію заняться переводомъ на русскій языкъ повѣсти «Colomba», найденной имъ въ библиотекѣ моей, междустатьи журнала «La revue des revues» 40-хъ годовъ; этотъ трудъ онъ объяснилъ желаніемъ усовершенствоваться во французскомъ языкѣ, да и не видѣлъ въ такомъ занятіи ничего

противорѣчившаго моему плану, такъ какъ это было чисто механическое дѣло. Не знаю, что случилось съ этой повѣстью — бруны же я оставилъ себѣ на память.

День у насъ начинался обыкновенно катаньемъ на конькахъ до 8 часовъ утра, не смотря ни на какую погоду, въ этомъ отношеніи Всеволодъ достигъ огромныхъ успѣховъ: ему нипочемъ было обѣгать къ святотропецкому маяку, въ 5 верстахъ, и обратно въ 40 минутъ. Послѣ чая онъ приходилъ ко мнѣ въ камеру и наблюдалъ бытовые сцены, записывая въ то-же время протоколы свидѣтельскихъ показаній. Передъ обѣдомъ опять катанье на конькахъ, потомъ возня съ дѣтьми, которыхъ онъ очень любилъ, переводъ, чтеніе газетъ и журналовъ и, наконецъ, вечернія партія въ шахматы, къ которой онъ приступалъ съ неизмѣннымъ предложеніемъ: «не хотите ли меня когтить?» (выраженіе Тургенева); кромѣ того, одинъ часъ всегда посвящался шкету съ большой бабушкой. Почта приходила по понедѣльникамъ и пятницамъ и ожидалась съ любопытствомъ; мы получали: «Русскій Вѣстникъ», «Голосъ», «Старину», «Вѣстникъ Европы», «Ниву», «Огонекъ» и одну мѣстную газету; кромѣ того, Всеволоду присылались изъ Харькова «Отечественныя Записки» и изъ Петербурга «Русское Богатство» и «Устонъ»; впрочемъ, зачитываться я ему не давалъ, и какъ только онъ кончалъ своихъ любимыхъ Щедрина и Г. И. Успенскаго — я книги пряталъ.

Съ восторгомъ я видѣлъ, какъ мой Всеволодъ возвращался къ жизни не по днямъ, а по часамъ; къ веснѣ онъ былъ уже неузнаваемъ: земляной цвѣтъ лица уступилъ мѣсто прекрасному здоровому румянцу, аппетитъ и сонъ — отличные, внезапная задумчивость и рыданія давно исчезли; явился настоящій Всеволодъ, съ его чудесной душой, мягкимъ, покладистымъ характеромъ и добродушнымъ юморомъ — словомъ, драгоценнѣйшій сожитель. Теперь онъ самымъ спокойнымъ образомъ и до мельчайшихъ подробностей рассказывалъ мнѣ самые тяжелые эпизоды изъ своей несчастной жизни — Сабурову дачу, глѣбину Фрея и проч.

Наступала весна 1881 года. Въ концѣ февраля я долженъ былъ

ѣхать въ Египетъ и оставаться тамъ до конца апрѣля. Это время было тяжкимъ испытаніемъ для Всеволода; безъ меня насъ постигло горе, семейное—смерть моей матери и народное—смерть Гесудара. Признаюсь, я, наслаждаясь прелестями береговъ Нила, часто задумывался о моемъ пациентѣ, тѣмъ болѣе, что и изъ писемъ его видно было, что онъ крѣпко скучалъ и томился «одиночнымъ заключеніемъ»; но безконечная доброта этого человѣка и способность приурочиться къ даннымъ условіямъ сдѣлали то, что онъ вполне вошелъ въ интересы семьи, и когда я возвратился, то не нашелъ никакихъ тревожныхъ слѣдовъ его относительнаго одиночества. Какъ-то разъ, поздней весной, я, ободренный чудеснымъ ходомъ исцѣленія Всеволода, шути упрекнулъ его въ томъ, что онъ ничего не пишетъ; тутъ онъ сознался мнѣ, что состояние его души въ настоящее время совершенно неудобно для литературнаго труда, и что почти все, что онъ до сихъ поръ написалъ, являлось въ то время, когда на него «находило». Не знаю, дѣлалъ ли онъ кому-нибудь подобное признаніе, но какъ онъ былъ правъ, бѣдный! Полтора года, прожитые въ Ефимовкѣ, я считаю самымъ лучшимъ временемъ его душевнаго состоянія; между тѣмъ, за это время онъ написалъ только слабѣйшій изъ своихъ рассказовъ. Помню я, какъ онъ, конфуясь и затворяя всѣ двери, прочиталъ мнѣ этотъ рассказъ и еще болѣе сконфузился, когда увидѣлъ на моемъ лицѣ незавидное мнѣніе мое объ этомъ произведеніи. Онъ поспѣшилъ увѣрить меня, что рассказъ написанъ исключительно для дѣтей г. Герда, и что онъ никогда не будетъ напечатанъ; при этомъ онъ самъ указывалъ на разныя несообразности рассказа и прежде всего на отсутствіе мыслей. «Знаете ли, дядя», говорилъ онъ, «я написалъ этотъ вздоръ только потому, что мнѣ до ребячества нравится это звукоподражаніе: «какой скандалъ!» и выраженіе «хвостика», хотя это послѣднее и вставлено адѣсь ни къ селу, ни къ городу. «Хвостика» — слово чисто холодацкое и выражаетъ собой понятіе о тощей, забытой и запаршившейся мужицкой лошадинѣ; у меня же приведенъ глѣдко — правда, очень старый, но статный и сытый конь, и Антонъ Дроздичъ — настоящій орловскій наездникъ, который незнакомъ съ та-

кимъ выраженіемъ; но что жь дѣлать, когда оно кажется мнѣ такимъ характернымъ! Вотъ вы мнѣ какъ-то рассказывали, какъ вамъ разъ случилось на кораблѣ ночью случайно подслушать тихое мурлыканіе матроса, облокотившагося о бортъ; это была какая-то едва слышная импровизація, изъ которой вы разслышали «отдавай швартооовъ». Вотъ этотъ самый «швартовъ» не дастъ мнѣ покоя: я на немъ построилъ, въ головѣ, цѣлый романъ; суровая 25-лѣтняя морская служба, оторванность отъ родной среды, оставленная молодка-жена и ребенокъ, отправленіе въ дальнее плаваніе на нѣсколько лѣтъ, неизвѣстность будущаго, тоска по родинѣ, потомъ, какъ *piu desideria*, выходъ въ отставку, тоже своего рода «отдай швартовъ» *), возвращеніе въ семью... И я чувствую, что эта бездушная команда ляжетъ въ основаніе моего будущаго разсказа, если мнѣ суждено сдѣлаться когда-нибудь совсѣмъ здоровымъ человѣкомъ». Не суждено было сбыться надеждѣ бѣднаго малаго!

Осенью 1881 года мы предприняли капитальную работу—постройку длинной пристани на сваяхъ. Мы сдѣлали на шлюпкѣ самый тщательный промѣръ съ цѣлью найти подходящую глубину и послѣ новаго года приступили къ забивкѣ свай. Я не переставалъ радоваться при видѣ горячаго участія, съ которымъ Всеволодъ относился къ этому дѣлу; онъ почти неотлучно находился на работѣ и каждый день долженъ былъ давать на водку рабочимъ, которые въ своей неизмѣнной «дубинушкѣ» импровизовали въ честь его дифирамбы въ родѣ того, что «Всеволодъ Михалычъ, нашъ милый панычъ, дастъ намъ на могорычъ» и т. п. Особенную дружбу онъ питалъ къ старику коперщику, извѣстному подъ названіемъ «дяди», главная обязанность котораго была слѣдить за вертикальнымъ направленіемъ свай, пока ее вбиваютъ. Всеволодъ часто прибѣгалъ въ домъ полюбоваться изъ окна оптической несообразностью, вслѣдствіе которой каза-

*) Швартовомъ называется канатъ, который судно прикрепляется къ нему или крѣпимъ къ неподвижному предмету. Отдать швартовъ—значитъ освободить судно, и команда: «отдай швартовъ!»—прекращаетъ послѣднее слѣдствіе судна съ берегомъ.

лось, что чугунная баба не вбиваетъ сваю, а колотить «дядю» по головъ.

Вообще, въ эту зиму, наблюдая тщательно за Всеволодомъ, я совершенно убѣдился, что онъ находится на пути къ спасенію. Въ одинъ весенній день 1882 года мы пріѣхали въ Николаевъ по дѣламъ. Послѣ пятичасовой бѣготни по городу, я нашелъ Всеволода уже собравшимся въ обратный путь и очень сконфуженнымъ. Онъ разсказалъ мнѣ что, за полчаса передъ тѣмъ, онъ тутъ-же въ ресторанѣ пилъ кофе и усѣлся напротивъ стеклянной двери, за которой, въ швейцарской, висѣло его пальто, и прежде чѣмъ онъ выпилъ свой кофе, пальто было украдено у него подъ носомъ. Успокоивъ его и посмѣявшись надъ его расстѣянностью, я хотѣлъ выйти, чтобы распорядиться о лошадяхъ, какъ вдругъ онъ бросился ко мнѣ на шею и со слезами заговорилъ: «дядя, дядя, я чувствую, что все это прошло; никакихъ «проклятыхъ вопросовъ» нѣтъ, и вся моя горькая и несчастная жизнь съ реальнаго училища—гдѣ-то потонула». То была кульминаціонная точка. Увы! скоро послѣ этого порыва, наполнившаго мою душу гордой радостью, я началъ замѣчать, что съ каждой почтой, приносявшей Всеволоду множество объемистыхъ писемъ, онъ сталъ грустить, задумываться и заговаривать со мной о томъ, что онъ совершенно здоровъ и что невозможно далѣе продолжать *force-far-niente*. Сначала рѣчь шла о возвращеніи въ свой старый болховской полкъ, потомъ разныя другія предположенія... Напрасно я представлялъ ему блестящіе результаты полуторагодового «одночнаго заключенія» и настаивалъ на необходимости продолженія его еще на годъ и прекращенія корреспонденціи—видно, эта корреспонденція была краснорѣчивѣе моихъ доводовъ. Итъмъ онъ уѣхалъ въ Петербургъ, и больше я его не видѣлъ.

Такъ неудачно кончилась моя попытка помочь родному и любимому человѣку, а можетъ-быть и сохранить для общества крупный талантъ.

В. А.

Апрѣль 1883.

Дебюты В. М. Гаршина.

Когда, въ концѣ 1877 г., въ «Отеч. Зап.» появились «Четыре дня», я находился въ Петербургѣ. На кружокъ молодежи, среди которой я вращался тогда, этотъ маленькій рассказъ произвелъ чрезвычайно сильное впечатлѣніе. Въ Гаршинѣ сразу увидѣли писателя съ большимъ будущимъ. Причина такого успѣха лежала, конечно, отчасти въ томъ, что въ «Четырехъ дняхъ» проводилась гуманная идея, которая у насъ всегда подкупаетъ симпатіи читающей публики. Отчасти также успѣху содѣйствовало время, когда этотъ рассказъ появился,—въ самый разгаръ русско-турецкой войны. Но все это только отчасти. Главная доля была въ красотѣ формы и задушевной искренности рассказа. Было ясно, что Гаршинъ не проповѣдникъ, выбирающій белиетристическую форму для проведенія тѣхъ или другихъ идей, а художественный темпераментъ, чувствующій по-своему и потому пренебрегающій рецептами, по которымъ въ то время писались белиетристическія вещи. Этого рода писанія уже тогда опостылили людямъ съ развитымъ литературнымъ вкусомъ.

Вскорѣ послѣ появленія «Четырехъ дней» я познакомился съ нѣкоторыми изъ тогдашнихъ друзей Гаршина. Это были три товарища Гаршина по горному институту, двѣ ученицы маринской повивальной школы: одна—совсѣмъ молоденькая дѣвушка, другая—замужняя женщина съ Кавказа, и семья инженера К.

К. былъ человѣкъ зажиточный; у него часто и запросто собирались студенты и кое-кто изъ петербургскихъ литераторовъ, болѣею частью молодыхъ. Среда эта, по тогдашнему времени, была довольно оригинальна, и въ ней прежде всего пріятно поражало полное отсутствіе радикальных фразъ, бывшихъ тогда въ модѣ, и честная терпимость къ чужимъ убѣжденіямъ и вкусамъ. Никто изъ этихъ людей не «ходилъ въ народъ», не мечталъ о переворотахъ и не навязывалъ другимъ своихъ взглядовъ. Новопри-

шедшій сразу чувствовалъ себя здѣсь по себѣ: онъ могъ слушать, рассказывать, спорить, увѣренный, что ему не поставятъ въ вину того, или другого мнѣнія, коль скоро оно искренне. Всѣ здѣсь любили свое дѣло и занимались имъ усердно и въ то-же время сходились на одной общей точкѣ, которая сроднила ихъ: на любви къ литературѣ и къ искусству. Инженеръ, благодушный отецъ семейства, въ которомъ царилъ миръ и любви, усердно слѣдилъ за успѣхами инженерной науки, и въ то-же время былъ литераторомъ въ душѣ; онъ даже былъ собственникомъ толстаго литературнаго журнала, который впрочемъ выходилъ разъ въ годъ. Одинъ изъ студентовъ горнаго института—Кв., отлично работавшій по предметамъ своей специальности, съ упорнымъ увлеченіемъ разрабатывалъ сдѣланное имъ открытіе, что интегралы и дифференциалы можно излагать популярно, безъ формулъ, такъ что ихъ можетъ понять всякій, непрощедшій даже курса элементарной математики. Эта мысль засѣла гвоздемъ въ головѣ молодого хохла; онъ обучалъ интеграламъ своихъ знакомыхъ барышень и даже людей, которыхъ видѣлъ въ первый разъ. Въ то же время онъ занимался физиологіей, писалъ статьи противъ спиритизма и переписывался поэтому съ проф. Менделѣвымъ. И всего курьезнѣе, что спиритизмъ, интегралы, физиологія,—все это составляло въ головѣ Кв. одно стройное цѣлое. Другой товарищъ Кв. съ увлеченіемъ говорилъ о своихъ ученыхъ экскурсіяхъ, о горныхъ заводахъ, которые посѣтилъ и имѣетъ посѣтить, объ удивительныхъ машинахъ, которыя свидѣтельствуя о геніальности человѣческаго ума и призваны осчастливить родъ людской. И все это всерьезъ, безъ малѣйшей фразы. Двѣ барыни - акушерки не могли говорить хладнокровно объ операціяхъ, родильницахъ и медицинскихъ событіяхъ той клиники, гдѣ онѣ учились. Третья дѣвушка, статная блондинка, живая, остроумная и большая хохотунья, страстно любила театръ и съ талантомъ играла на любительскихъ спектакляхъ. Наконецъ, жена инженера занималась только своими home и дѣтьми.

И вотъ, несмотря на это разнообразіе въ занятіяхъ, всѣ

были очень дружны между собою и искренно уважали другъ друга. Не говоря громкихъ словъ объ искусствѣ, всѣ любили его. Въ академіи художествъ были тогда выставлены картины, предназначенныя для отправки въ Парижъ на всемірную выставку. И вся компанія бѣгала туда, рассматривала, восторгалась, обсуждала.

Въ этой-то средѣ Гаршинъ былъ центромъ, всеобщимъ любимцемъ и баловнемъ. Повторяли его мнѣнія, рассказывали подробности изъ его жизни, говорили объ его планахъ и работахъ, интересовались его здоровьемъ. Во всѣхъ этихъ отзывахъ и заботахъ видна была чисто родственная нѣжность и незапятнанность въ любви. Это было не поклоненіе, а именно уваженіе и любовь. Въ семьѣ инженера, какъ я сказалъ уже, бывали другіе, даже очень опытные литераторы; но къ нимъ не было той привязанности, которая замѣчалась по отношенію къ Гаршину. Получалось впечатлѣніе, какъ будто эти извѣстные литераторы не сдѣлали того, что слѣдуетъ, а Гаршинъ-де сдѣлаетъ. А что такое было тогда Гаршинъ? 22-лѣтній юноша!

Въ то время Гаршина не было въ Петербургѣ; онъ находился, кажется, въ Харьковѣ у своей матери. Однажды утромъ, въ началѣ февраля 1878 г., въ комнату мою вошелъ, похрамывая, прилично одѣтый молодой человѣкъ, въ зипунѣ пальто и въ маленькой барашковой шалочкѣ. Больше десяти лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, а я вижу его передъ собою точно живымъ. Помню, меня поразила глубокая грусть, разлитая во всѣхъ чертахъ этого тонкаго, матоваго лица, обрамленнаго легкимъ темнорусымъ пушкомъ. Особенно печальны были его большіе глаза, въ которыхъ читались безконечная доброта и честность. Лѣвая бровь съ легкимъ переломомъ въ серединѣ придавала ему такое выраженіе, будто онъ давно и постоянно страдаетъ, точно потерялъ любимого человѣка и не можетъ этого забыть.

Голосъ онъ имѣлъ тихій и пріятный. Говорилъ онъ спокойно, безъ жестовъ, и тѣмъ большее впечатлѣніе производила его простая, искренняя рѣчь. Чувствовалось, что его слова были вѣрнымъ отраженіемъ того, что онъ думалъ, безъ преувеличенія, но

и безъ смягченія. Трудно выразить, какъ это качество привлекало къ нему, располагало къ доверію. Послѣ нѣсколькихъ минутъ разговора казалось, что вы всегда были съ нимъ знакомы, и что онъ также знаетъ васъ и всѣ ваши дѣла. Съ Гаршиннымъ можно было говорить сразу *есерьезъ*, отбросивши въ сторону банальныя фразы, которыми обыкновенно сопровождается первое знакомство.

Помню, я не могъ удержаться, чтобы не высказать своего восторга по поводу «Четырехъ дней». Онъ принялъ эти выраженія безъ притворной скромности, за которой у авторовъ скрывается большое самонравіе, — но и безо всякаго интереса. Это нетрудно понять, когда знаешь, что каждый разъ, когда Гаршинъ писалъ новую вещь, онъ переживалъ ее точно боги́знь, — до такой степени авторъ сливался въ немъ съ человѣкомъ. Дама-акушерка, о которой я упомянулъ выше, рассказывала мнѣ по этому поводу слѣдующій эпизодъ, относящійся къ «Присоединенію». Гаршинъ пришелъ къ ней однажды, когда она готовилась къ экзамену. Какъ товарищу, котораго достаточно уважаешь, чтобы не стѣсняться съ нимъ, она сказала ему, что занята и не можетъ съ нимъ болтать. — Ничего, работайте, я напишу, отвѣтилъ Гаршинъ. Дача продолжала заниматься, а Гаршинъ, вынувши записную книжку, сталъ что-то записывать. Прошло нѣкоторое время; г-жа Д., углубленная въ занятіе, была вдругъ пробуждена рыданіями. Плакалъ Гаршинъ, описывая страданія «Надежды Николаевны»...

Онъ, какъ видите, ниша, не сочинялъ, не забавлялся, а присутствовалъ при страданіяхъ, которыя считалъ реальными. А Гаршинъ, при его обнаженныхъ нервахъ, не могъ видѣть чужихъ страданій, чтобы не страдать самому. Каждый человѣкъ, страдающій или страдавшій, былъ въ его глазахъ окруженъ ореоломъ. У меня на квартирѣ произошелъ однажды между Гаршиннымъ и однимъ моимъ знакомымъ споръ, который рельефно показывалъ сущность натуры Гаршина. Это былъ единственный разъ втеченіе моего короткаго знакомства съ нимъ, когда я видѣлъ его возбужденнымъ и почти раздраженнымъ.

Знакомый мой былъ юноша очень радикальныхъ убѣждений и, какъ таковой, отчаянный принципіальдъ. Недостатокъ опыта и непосредственнаго чувства заполнялся у него холоднымъ размышленіемъ. Хотя онъ и воображалъ себя «свободнымъ мыслителемъ», но жилъ фразой, въ которую вѣрилъ, какъ добрый христіанинъ въ евангеліе. Поступки свои и чужіе онъ всегда свѣрилъ съ этой фразой: если выходило согласно, онъ считалъ этотъ поступокъ хорошимъ, возвышеннымъ, а нѣтъ—подлымъ.

Въ присутствіи этого-то юноши Гаршинъ, отвѣчая на мой вопросъ, сказалъ, что собирается вновь на войну.

— Что, гонять? спросилъ юноша.

— Нѣтъ, не гонять, самъ иду.

— Зачѣмъ?

Гаршинъ былъ удивленъ этимъ неожиданнымъ вопросомъ.

— Какъ, зачѣмъ? Тамъ русскій ужикъ, о которомъ вы сейчасъ говорили, борется и страдаетъ. Я хочу идти къ нему на подмогу.

— Ну, это пустяки. Неговоря уже о томъ, что вы противъ войны, само по себѣ безнравственно помогать одерживать побѣды, которыми воспользуются, чтобы...

И юноша принялся излагать свои радикальныя воззрѣнія, бывшія выводомъ изъ фразы, составлявшей его credo.

По мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, Гаршинъ приходилъ все въ большее и большее негодованіе. Наконецъ, онъ не выдержалъ, вскочилъ и въ волненіи захромалъ по комнатѣ.

— Нѣтъ, позвольте... позвольте... Вы стало-быть находите безнравственнымъ, что я буду жить жизнью русскаго солдата и помогать ему въ борьбѣ, гдѣ каждый человѣкъ полезенъ? Неужели будетъ болѣе нравственно сидѣть здѣсь, сложа руки, тогда какъ этотъ солдатъ будетъ умирать за насъ!.. Извините, я этого не могу допустить...

Споръ этотъ продолжался долго, причемъ юноша разстался съ Гаршинимъ, считая его человѣкомъ съ отсталыми убѣжденіями: Гаршинъ же ушелъ взволнованный и печальный.

Какъ человѣкъ непосредственнаго и тонкаго чувства, онъ никогда не могъ бы сойтись съ принципіальдами изъ гоголианской мо-

молодежи, никогда не могъ бы ужиться ни съ какой кружковщиной. Гаршинъ былъ прежде всего артистъ, и это видно было во всемъ. Одываясь напр. очень просто, онъ въ то-же время былъ несколько изыщенъ. Комнатка его (въ домѣ Яковлева, если не ошибаюсь) была чиста и уютна; по нѣкоторымъ мелочамъ сразу видна была его любовь къ красивому. Мнѣ бросился напр. въ глаза его альбомъ. На листахъ его были наклеены въ порядкѣ и очень красиво снятыя съ карточекъ фотографіи. Я отмѣчаю эти мелочи именно потому, что все это отличало Гаршина отъ тогдашней молодежи. Въ квартирѣ, кромѣ него, жили художники. Онъ съ ними былъ пріятель, слѣдилъ за ихъ работами, писалъ о нихъ статьи.

Некрасивое въ искусствѣ и литературѣ положительно раздражало нервы Гаршина. Помню его отзывъ объ одномъ довольно добродушномъ писателѣ, романъ котораго въ то время читался молодежью. Писатель этотъ, плодовитый по необходимости, былъ не безъ таланта, но недостатки, происходившіе отъ спѣшности его работы, онъ усиливалъ еще очень шаблонной тенденціей. Рассказывая мнѣ о своемъ знакомствѣ съ этимъ литераторомъ, Гаршинъ отзывался о немъ очень зло, точно бы это былъ его личный врагъ, сказавши междупрочимъ: — «Онъ говоритъ такъ-же тяжело и шаблонно, какъ пишетъ». Въ устахъ бесконечно-добраго Гаршина это звучало нѣсколько жестоко, но въ немъ чувствовался протестъ художника противъ пошлыхъ приѣмовъ въ литературѣ, хотя-бы и съ хорошими намѣреніями.

Любовь къ красивому, къ простотѣ и правдивости составляла въ жизни Гаршина, какъ въ его стилѣ, основныя особенности его характера. Живопись и литература интересовали его одинаково страстно. Помню, отправился онъ однажды на выставку въ академію художествъ съ нѣкоторыми изъ товарищей по горному институту, о которыхъ упомянуто выше. Остановились они передъ картиной Крамского «Христосъ въ пустынѣ», и завязался между ними горячій споръ: Гаршинъ и другой изъ пріятелей утверждали, что Христосъ выражаетъ то-то (не помню, что именно), остальные утверждали другое. Какъ рѣшить, кто правъ,

кто виновать? Рѣшили обратиться къ самому автору. Но такъ какъ никто изъ компаніи его не зналъ лично, то ему отправилъ письмо съ изложеніемъ спора. Отвѣтъ не замедлилъ явиться. Но, увы! Крамской откровенно сознался, что самъ не знаетъ, кто изъ нихъ правъ. Онъ представлялъ себѣ Христа такимъ, какъ онъ изображенъ на его полотнѣ, и только.

Однажды вечеромъ я зашелъ къ одному изъ студентовъ гор. инст., тому самому, который такъ увлекался горной наукой. Въ комнатѣ былъ полумракъ, небольшая керосиновая лампа бросала изъ-подъ картоннаго абажура желтой свѣтъ на столъ, за которымъ Гаршинъ, въ солдатскомъ мундирѣ, читалъ вслухъ какую-то книжку. При входѣ моемъ студенты (ихъ было трое), лежавшіе на кровати и на диванѣ, встрепенулись. Тутъ я замѣтилъ, что они были заспаны.

-- Что это, вы спали?

— Былъ грѣхъ. Читалъ намъ Всеволодъ «Натана Мудраго», да показалось скучновато, и мы «подъ говоръ словъ его» вздремнули, отвѣтилъ хозяинъ комнаты, добродушно засмѣявшись. И всѣ последовали его примѣру.

Согласитесь однако, что молодежь, собирающаяся зимою 1878 г. для совмѣстнаго чтенія «Натана Мудраго», хотя-бы и засыпающая надъ нимъ, нисколько не была похожа на остальную молодежь тогдашняго времени.

Гаршинъ любилъ рассказывать о своихъ военныхъ впечатлѣніяхъ. Иногда ему случалось подсмѣиваться надъ начальствомъ. Но тутъ честная натура его обнаруживалась во всей своей красотѣ. Онъ не опускалъ никогда ни малѣйшей черточки, которая могла представить того или другого военнаго дѣятеля въ выгодномъ свѣтѣ. Въ его правдивыхъ разсказахъ, чуждыхъ малѣйшей тѣни шовинизма, чувствовалась серьезность и торжественность дѣла, за которое русское войско проливало свою кровь. Въ особенности его занималъ русскій солдатъ. Въ одно изъ моихъ первыхъ свиданій съ Гаршинымъ я спросилъ его, надъ чѣмъ онъ работаетъ.—Я пишу мои военныя впечатлѣнія, отвѣтилъ онъ: — мнѣ бы хотѣлось представить военный походъ съ точки

вѣрнія солдатской шкуры. Но это очень трудно, не по моимъ силамъ.

Гаршинъ говорилъ о «Зап. рядового Иванова», которыя онъ напечаталъ только года два спустя.

Въ мартѣ 1878 г. мнѣ пришлось уѣхать изъ Петербурга; съ тѣхъ поръ я съ Гаршинимъ не встрѣчался. Въ Парижѣ я имѣлъ о немъ порядкомъ вѣсти отъ И. С. Тургенева. Гаршинъ былъ одинъ изъ немногихъ молодыхъ писателей, которыхъ И. С. искренно любилъ и отъ которыхъ ждалъ многого.

— Вотъ это писатель, сказалъ онъ однажды, говоря о Гаршинѣ,—но другимъ чета.

— Да, но онъ черезчуръ нервнъ, возразилъ присутствовавшій при томъ одинъ молодой человѣкъ.

— А, не говорите! У него слогъ исполнѣ мастерской; а нервность—это пустяки, пройдетъ. Вѣдь онъ совсѣмъ еще молодой. Если онъ будетъ здоровъ, изъ него выйдетъ большой, очень большой человѣкъ. У него есть главное—онъ поэтъ.

М. Паловскій.

В. М. Гаршинъ на службѣ.

В. М. Гаршинъ, какъ извѣстно, былъ секретаремъ въ канцеляріи общаго сѣзда представителей русскихъ желѣзныхъ дорогъ, или, вѣрнѣе, секретаремъ заглѣдываемаго дѣлами общаго сѣзда, Ф. В. Фельдмана, съ февраля 1883 года, и во все это время, слишкомъ 4½ года, я ежедневно почти находилъ съ нимъ въ сообщеніи по нѣскольку часовъ; я же замѣчалъ его всегда и во время его болѣзни.

Я ниѣю сказать о В. М. не какъ о литераторѣ-художникѣ, какъ его называлъ,—объ этомъ, конечно, скажутъ другіе его товарищи-писатели; я скажу о немъ, какъ о человѣкѣ только,

какъ о товарищѣ-сослуживцѣ, какихъ мнѣ не случалось встрѣчать въ жизни.

В. М. поступилъ къ намъ въ 1883 г., вскоре послѣ болѣзни, слѣды которой долго оставались на его лицѣ, задумчивомъ и грустномъ. Онъ мало говорилъ, больше казался сосредоточеннымъ; но, по мѣрѣ освобожденія отъ гнетущаго состоянія, онъ становился общительнѣе и оживленнѣе; въ дѣлѣ показавъ себя работникомъ, не бѣлоручкой. Работая, не разбирая онъ дѣла, часто самъ составлялъ и переписывалъ бумаги, самъ записывалъ въ журналы и въ разсыльную книгу, надписывалъ дѣла, конверты, копировалъ, словомъ, дѣлалъ все, что и не входило въ кругъ его обязанностей.

Своимъ благороднымъ, добродушно-кроткимъ, простымъ и тихимъ обращеніемъ, В. М. приблизилъ къ себѣ всѣхъ, имѣвшихъ съ нимъ дѣло, приобрѣлъ общія симпатіи служащихъ, сталъ общимъ всѣхъ любимцемъ. Кротостью и добродушіемъ онъ доводилъ иногда до изумленія. Въ подтвержденіе послѣдняго я приведу здѣсь два-три факта.

Разъ посланный за полученіемъ денегъ на почту по одной повѣсткѣ получилъ и сдалъ ему деньги сполна, а по другой отдалъ только пакетъ съ препроводительной бумагой, извинившись, что вложенныя деньги издержалъ на свои потребности, и В. М., по добротѣ своей, не только не донесъ объ этомъ кому слѣдовало, не въ состояніи былъ сдѣлать ему даже легкаго замѣчанія за это; вложилъ недостававшія деньги изъ своихъ средствъ и только сожалѣлъ о поступившемъ такъ.

Въ другой разъ пришлось мнѣ быть свидѣтелемъ дерзкаго оскорбленія его лицомъ почти-что постороннимъ, безъ малѣйшаго со стороны В. М. повода, отъ котораго онъ отошелъ безропотно и плакалъ; а на другой день самъ же себя винилъ, что оскорбился, говоря, что можетъ-быть и самъ онъ виноватъ, что съ нимъ такъ поступили.

Казалось, что В. М. ничто не интересовало въ жизни, не привлекало къ себѣ, онъ видимо здѣсь жилъ не для себя. Къ этому заключенію я прихожу въ виду его-же словъ.

По объявленному общимъ съѣдомъ конкурсу на приспособленіе къ перевозкѣ хлѣба въ сыпную, В. М., какъ участнику въ одномъ изъ премированныхъ проектовъ, пришлось получить часть преміи рублей въ 800. На замѣчаніе объ этомъ неожиданномъ сюрпризѣ онъ мнѣ сказалъ: «Да, Надежда Михайловна (жена) пожалуй будетъ довольна; что же касается меня, то для меня что 800 рублей, что 800,000 рублей, что 8 рублей—безразлично. Я дѣлю довольныхъ на три категоріи: довольныхъ высокимъ положеніемъ въ свѣтѣ, довольныхъ богатствомъ, роскошью, довольныхъ симпатією женщинъ. Для меня ничего этого не существуетъ».

Но такъ индифферентно онъ относился только къ самому себѣ. По отношенію же къ другимъ онъ не обнаруживалъ апатіи. Въ обществѣ онъ болѣлъ за всѣхъ. Чужая радость радовала и его, чужое горе — было его горе, хотя онъ и не выражалъ этого вслухъ; особенно въ горѣ общественномъ онъ былъ участникомъ отзывчивымъ, горячимъ.

Я никогда не забуду, какъ однажды, принесъ вырѣзку изъ какой-то газеты о воспрещеніи празднованія юбилеевъ, В. М. глубоко былъ опечаленъ, что этимъ распоряженіемъ затемняется память народа о свѣтломъ днѣ освобожденія его отъ рабства, о его волѣ, дарованной Царемъ-Освободителемъ (передъ которымъ благоговѣлъ покойный),—какъ близко къ сердцу принялъ онъ и извѣстный циркуляръ объ ограниченіи пріема непривилегированныхъ дѣтей въ гимназіи.

Казалось, раньше М. В. былъ человѣкомъ нуждавшимся, хотя онъ никогда не говорилъ объ этомъ. До насъ онъ служилъ у кого-то изъ купцовъ адъютантомъ гостиннаго двора, кажется Лигарата, получая по 50 руб. въ мѣсяцъ и занимаясь отъ 9 часовъ утра до 9 часовъ вечера. Только съ поступленіемъ въ канцелярію общаго съѣзда его матеріальное состояніе улучшилось, и то благодаря глубокому вниманію къ его положенію, такого же какъ онъ, великодушнаго и добраго человѣка.

Насколько пріятно было находиться со В. М. въ его здоровомъ состояніи, настолько-же невыносимо тяжело было видѣть

его угнетеннымъ болѣзною, доводившей его до крайняго изнеможенія. Обезсиленный потерей аппетита и бессонницей, онъ едва двигалъ ногами, ходилъ шатаясь изъ стороны въ сторону. Продолжая бороться съ недугомъ, онъ хотѣлъ заставить себя работать, хотѣлъ переломить себя, и напрягалъ къ тому всѣ силы. Однако, эти усилія были напрасны, онъ ничего не могъ ни сообразить, ни написать,—по цѣлымъ часамъ сидѣлъ за столомъ, облокотясь на руки и заливаясь слезами; или же бессознательно тыкалъ перомъ въ подложку. Его честная натура не могла выносить, чтобъ не работая получать содержаніе, чтобы за него дѣлали другіе, и поэтому онъ оставался неутѣшнымъ и мрачнымъ, несмотря на всѣ старанія разубѣдить его и успокоить. Случалось, онъ сидѣлъ такъ до тѣхъ поръ, пока всѣ расходились, и когда я, опасаясь оставлять его одного въ такомъ положеніи, подходилъ къ нему съ намѣреніемъ сколько-нибудь развлечь, то онъ рыдая хватался за сердце, клалъ мнѣ на плечи руки и голову, просилъ, умолялъ Богомъ хоть чѣмъ-нибудь помочь ему, метался по комнатѣ, не зная куда дѣваться. Онъ говорилъ: «Если бы не жена, которую я такъ люблю, то я давно бы порѣшился со собой». И этому легко вѣрилось...

Болѣзненное состояніе повторялось со В. М., во время нахождения его у насъ (съ 1883 г.), періодически изъ года въ годъ, мѣсяца по четыре, при полномъ сохраненіи сознанія, а въ прошломъ 1887 году его душевная болѣзнь началась съ первыхъ чиселъ іюля (онъ пересталъ заниматься съ 10-го іюля) и не покидала его, какъ извѣстно, до самой смерти. Особенно онъ плохъ былъ осенью прошлаго года, когда вернулся съ дачи. Мрачное настроеніе его пугало всѣхъ, кто его зналъ. Онъ говорилъ, что не спитъ часто по цѣлымъ суткамъ; что во время этой бессонницы его преслѣдуетъ мысль о самоубійствѣ, и что онъ не нѣсколько разъ въ ночь подходитъ къ стоящему въ квартирѣ—гдѣ онъ жилъ временно—шкафу съ оружіемъ, намѣреваясь достать оттуда или кинжалъ или револьверъ, и если не воспользовался нимъ, то лишь потому только, что не въ силахъ былъ заломать запертый шкафъ.

Правда, въ зимніе мѣсяцы онъ выглядѣлъ свѣжѣе нѣсколько, но постоянно при этомъ жаловался на тяжесть въ головѣ и на ослабленіе памяти. О послѣднемъ онъ говорилъ такъ: «Что мнѣ прежде давалось съ прочтенія двухъ разъ, то-же самое теперь я не могу запомнить при всемъ усиліи». И это было главное изъ всѣхъ его мученій. Не разъ онъ говорилъ мнѣ: «Меня мучить одно, что я такииъ совсѣмъ останусь, буду калѣкой на всю жизнь на попеченіи жены, которой и безъ того я жизнь испортилъ. Будь я безрукимъ или безногимъ, будь я безъ глаза, но со свѣжей головой! а это развѣ жизнь?» Онъ плакалъ и глубоко надыхалъ.

Коснувшись душевныхъ страданій В. М., я не могу ни привести эпизода съ нимъ въ психіатрической клиникѣ въ Харьковѣ, рисующаго варварское обращеніе нашей прислуги въ этихъ заведеніяхъ. Я передамъ его приблизительно такъ, какъ разсказалъ мнѣ его самъ В. М. въ 1883 году. «Разъ, въ ожиданіи ванны, которую готовилъ для меня хохолъ-служитель, стоялъ я совсѣмъ раздѣтый у окна. Мнѣ вспомнилось тогда и дѣтство, проведенное среди родныхъ, въ домѣ родителей, подъ наблюденіемъ матушки, которая такъ любила насъ; представилось и одиночество въ мрачномъ углу этой больницы, освѣщенномъ однимъ окномъ—съ желѣзною рѣшеткой куда-то въ стѣну, и этотъ геркулесъ-служитель, наблюдающій за краномъ и за мной. Я думалъ... я... представьте себѣ, какимъ я былъ тогда. Вдругъ сильный ударъ въ грудь сбиваетъ меня съ ногъ, и я упалъ на полъ безъ памяти. Это было напоминаніе служителя о ваннѣ. «За что ты меня ударилъ?» говорю, опомнившись, ему, державшему меня подъ мышки: «что я тебѣ сдѣлалъ?..» Еслибы былъ предоставленъ выборъ между больницей и каторгой, то я предпочелъ бы скорѣй пойдти года на три на каторгу, чѣмъ на одинъ годъ въ больницу. И теперь иногда чувствую боль въ этомъ мѣстѣ», добавилъ В. М.

Въ послѣдній разъ мы видѣли В. М. дней за девять до катастрофы — 8-го и 9-го марта. Онъ заходилъ поговорить, рѣшившись ѣхать на Кавказъ. Казалось, онъ выглядѣлъ гораздо

лучше. Мы даже порадовались за него и выразили надежду на поправку его послѣ этой поѣздки. Повидимому онъ не раздѣлялъ нашихъ надеждъ. Онъ говорилъ: «скорѣе бы убраться до тепла», и онъ убрался, только туда, откуда никто ужъ не приходитъ.

Да, повторю еще, я не встрѣчалъ человѣка, подобнаго В. М. Не встрѣчалъ такой любящей, отзывчивой, дѣтски-незлобивой, теплой души, какъ у покойнаго. Замѣчительно, что за все время служенія его у насъ, никто не видалъ его смѣющимся. Онъ улыбался добродушно, но не смѣялся. Его чарующе-презестные глаза рѣдко блестѣли радостью, чаще они плакали, полны были горячихъ слезъ, глубокихъ думъ и скорби—о чемъ, про то вѣдать Богъ да онъ, печальникъ неутѣшний...

А. Васильевъ.

Петербургъ, 30 апрѣля 1888.

Моя единственная встрѣча съ Гаршинимъ.

...Важно, кто межъ людей
Не весь живетъ, но чьей души частица,
Покинувъ миръ, чиста, какъ голубица,
Летитъ туда, гдѣ арче и свѣтъ...

По старой русской пословицѣ, нужно пудъ соли съѣсть съ человѣкомъ, чтобы узнать, что онъ собою представляетъ. Это изреченіе, однако, относится только къ людямъ обыкновеннымъ, мирнымъ гражданамъ, съ ихъ будничными интересами и стремленіями. Напротивъ, натуры, отмѣченные самимъ Создателемъ, натуры, составляющія гордость лѣтописей міра, тѣ сразу, съ перваго слова и взгляда, притягиваютъ каждаго, какъ магнитъ, и своимъ гениемъ приковываютъ къ себѣ.

До моего знакомства со Всеволодом Михайловичем Гаршиным я не только ни разу не встрѣчался съ нимъ, но даже нигдѣ не видѣлъ его фотографіи. Пришлось мнѣ съ нимъ познакомиться въ Пушкинскомъ литературномъ кружкѣ при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Я сидѣлъ въ уборной, уже одѣтый въ костюмъ Растаковского, и только-что хотѣлъ начать гримироваться, какъ вошелъ неизвѣстный мнѣ господинъ. У меня сидѣлъ тогда тоже членъ Пушкинскаго кружка М. Н. С—въ, и вошедшій попросилъ его зваться ему изъ залы поэта Минскаго. Такъ какъ въ театрѣ Л—ча не было тогда носталинныхъ представлений и аданіе не отапливалось, то я предложилъ С—ву пригласить его знакомаго въ мою уборную, хоть нѣсколько согрѣтую двумя газовыми рожками. Вошедшій самъ представился:

— Гаршинъ.

Меня всего охватило какое-то странное чувство. Хотѣлось сказать много, много, а не ограничиться шаблоннымъ «очень пріятно», но я просто растерялся. Къ моему счастью С. помогъ мнѣ выбраться изъ затрудненія, прибавивъ:

— Тотъ самый, по которомъ мы всѣ съ ума сходимъ.

— Кто же изъ читающей публики не знаетъ Всеволода Гаршина? заговорилъ я.—Да теперь ужъ и прошло то время, когда актеровъ считали невѣждами...

— О, помилуйте, я самъ люблю театръ. Да чтѣ можетъ быть выше и лучше его! Какъ я имъ увлекался! Вы знали Громова? Это былъ мой хорошій знакомый...

Голосъ Гаршина произвелъ на меня какое-то чарующее дѣйствіе, точно стройные звуки арфы; голосъ, богатый самыми глубокими и музыкальными переходами. Я не могъ удержаться, чтобы въ разговорѣ не замѣтить ему:

— Вотъ-бы съ вашимъ органомъ поступить на сцену!

Онъ не далъ мнѣ договорить.

— Голоса мало, нужно дарованіе, нужна любовь, призваніе и много, много чего нужно!—И мнѣ стало стыдно за многихъ изъ насъ, такъ легко относящихся къ сценической карьерѣ.

Кромѣ обаятельнаго голоса Гаршина, на меня произвели также неотразимое впечатлѣніе его глаза. Кто зналъ его близко, кто его любилъ—а развѣ можно было его не любить?—тотъ со мной согласится. Это былъ—если можно такъ выразиться—міровые глаза. Они рѣдко встрѣчаются въ жизни; но крайней мѣрѣ я больше ни у кого такихъ глазъ не встрѣчалъ. Они являются спутниками великой, глубокой души. Въ этомъ взорѣ столько любви, столько снисходительности, скромности! Миѣ они показались какъ-бы подернутыми слезой. Ни время, ни новыя впечатлѣнія не могутъ уничтожить дѣйствія этой искры жизни богатаго душевнаго источника въ памяти каждаго знавшаго его.

Мы разговаривали о театрѣ. Р. М. между прочимъ высказалъ мысль, что неправильно толкуютъ, будто публика требуетъ легкихъ увеселеній. Театръ долженъ давать направленіе вкусу публики. Обязанность театра не приравниваться ко временнымъ требованіямъ толпы, а развивать въ ней вкусъ эстетическій и идти по строго-намѣченному плану. Дать мѣсто драмѣ, дать мѣсто и комедіи, но изъять совершенно легкій каскадный жанръ.

— Знакомьте публику съ Шекспиромъ. Наша публика читать не любитъ, не будутъ играть Шекспира — я его забуду.

Когда я спросилъ его, отчего онъ не напишетъ чего-нибудь для сцены, онъ не сразу отвѣтилъ. Вздохнулъ, лицо его приняло какое-то угнетенное, тоскливое выраженіе; потомъ отрицательно махнулъ рукой и крѣпко сказалъ:

— Не умѣю!

Позже я узналъ отъ брата покойнаго Гаршина, что у В. М. была написана драма, которая въ чтеніи приводила всѣхъ въ восторгъ. Но онъ уничтожилъ ее, такъ сильно развита была въ немъ самокритика. А русской сценѣ приходится только жалѣть, что Гаршинъ не подарилъ ее ничѣмъ.

Я не знаю, какое впечатлѣніе производилъ Гаршинъ на людей, знавшихъ его и видѣвшихъ его часто, но на меня это

единственное свиданіе произвело глубокое впечатлѣніе, которое не изгладится никогда изъ моего сердца. Много писалось о Гарини, много еще будетъ написано, но сѣбѣ думать, что и мои скромныя строки послужатъ вѣткой для громаднаго вѣнка и славы творцу «Краснаго цвѣтка».

Д. Гаринъ.



О Всеволодѣ Гаршинѣ.

Рѣчь А. Н. ЗРТЕЛИ.

Бываютъ люди, которые съ первой-же встрѣчи овладѣваютъ вами, ярко отпечатлѣваются въ вашей памяти съ ихъ лицомъ, съ выраженіемъ ихъ взгляда, съ звукомъ ихъ голоса. Слова ихъ имѣютъ какую-то особенную способность проникать въ ваше сердце; мысли, быть-можетъ даже и несогласныя съ вашими, странно и почти неотразимо плѣняютъ васъ своею глубокою сосредоточенностью и оригинальнымъ складомъ. И когда встрѣча съ такими людьми переходитъ въ знакомство, когда знакомство достигаетъ нѣкоторой степени близости,—ихъ нравственный обликъ оставляетъ въ вашей душѣ неизгладимый слѣдъ, воспоминаніе о нихъ дѣлается неумирющимъ. Такие люди могутъ быть и злыми людьми, потому-что и зло обладаетъ иногда властью и яркостью и имѣетъ у себя на послугахъ хотя и фальшивую, тѣмъ не менѣе многихъ увлекающую красоту; но на этотъ разъ я говорю о людяхъ добрыхъ, о тѣхъ, что всюду несутъ за собою тепло и свѣтъ и правду. И, разумѣется, въ одномъ случаѣ они оставляютъ слѣдъ едва замѣтный, воспоминаніе, ограниченное тѣснымъ кругомъ друзей и знакомыхъ, а въ другомъ—и слѣдъ глуше, и память обширнѣе; это уже зависитъ отъ того, въ какой средѣ жили такіе люди, что дѣлали и какія имѣли средства, чтобы знакомить другихъ людей съ плѣнительными особенностями своей натуры. Преимущество въ этомъ случаѣ обыкновенно выпадаетъ на долю тѣхъ, которые—силою ли слова, рѣзцомъ ли, кистью или звуками—могутъ такъ сказать «перевоплощать» свою личность, распространять въ ширь и въ глубь присущее имъ вліяніе.

Однимъ изъ такихъ «плѣнительныхъ» людей несомнѣнно былъ и Всеволодъ Гаршинъ. При первомъ-же знакомствѣ васъ необыкновенно влеку къ нему. Печальный и задумчивый взглядъ его большихъ, «лучистыхъ» глазъ, дѣтская улыбка на губахъ,

то застенчивая, то ясная и добродушная, «искренний» звук голоса, — я не умю подобрать другого выражения, — что-то необыкновенно простое и милое въ движеніяхъ — все въ немъ прельщало... И за всѣмъ тѣмъ, все, что онъ ни говорилъ, все, что онъ ни думалъ, не становилось въ противорѣчіе съ его высшими особенностями, не вносило диссонанса въ эту удивительно гармоническую натуру. Трудно было найти большую скромность, большую простоту, большую искренность; въ малѣйшихъ отбѣнкахъ мысли, какъ и въ малѣйшемъ жестѣ, можно было замѣтить ту-же присущую ему мягкость и правдивость. Мягкость эта однако-же не была признакомъ безхарактерности или безпринципности. Коренясь въ органическихъ свойствахъ его натуры до такой даже степени, что выражалась въ движеніяхъ, въ манерѣ говорить, въ манерѣ обращаться съ людьми, она затѣмъ получала свое утвержденіе въ томъ особенномъ пониманіи жизни, которое выразилось въ извѣстныхъ словахъ г-жи Сталь: *«tout comprendre—tout pardonner»*. И вотъ такіа-то поистинѣ чарующія свойства своего характера и своего ума, такое-то пониманіе жизни Гаршинъ имѣлъ средства широко распространять вокругъ себя, благодаря своему литературному таланту.

Имѣлъ средства распространять, но не имѣлъ времени, чтобы во всей-то глубинѣ воспользоваться этими средствами. Онъ умеръ 33 лѣтъ... Исчезъ характеръ столь высокій, талантъ такъ много общавшій, и притомъ такъ рано, такъ насильственно и жестоко исчезъ, что тутъ, конечно, самое законное мѣсто горячимъ и сильнымъ сожалѣніямъ...

Я зналъ Гаршина съ 1879 г. Наше знакомство не было очень близкимъ; случилось, что мы не видали другъ-друга по цѣлымъ годамъ. Но, когда встрѣчались, отсутствіе большой близости не мѣшало ему относиться ко мнѣ съ трогательной довѣрчивостью, вести со мною задушевные разговоры, — черта, свойственная, мнѣ кажется, особенно хорошимъ людямъ, которые не нуждаются въ дружбѣ, чтобы имѣть возможность быть искренними и откровенными, и не ищутъ пріятелей, чтобы было на кого излить потребность любви и доброжелательства. Мы встрѣчались очень

часто до весны 1880 года, затѣмъ еще двѣ-три зимы въ Петербургѣ и, наконецъ, въ июнѣ 1884 года я говорилъ съ нимъ послѣдній разъ, простившись, какъ оказалось, навсегда. въ Козловѣ, до котораго ему случилось ѣхать вмѣстѣ со мною отъ самой Москвы. Не было между нами и постоянной переписки; за девять лѣтъ мы обмѣнялись только нѣсколькими письмами. Тѣмъ не менѣе это была до того открытая, до того *прозрачная* натура, если мнѣ будетъ позволено такъ выразиться, что узнать ее было легко и при отрывочномъ наблюденіи и такъ-же легко было испытывать ея чарующее вліяніе.

Въ 1879 г. Гаршинъ уже пользовался довольно широкой литературной извѣстностью. Его читали нарасхватъ; его любили; на него возлагали большія надежды: въ *Отчественныхъ Запискахъ* уже годъ какъ были напечатаны его «Четыре дня». Отвращеніе къ неустойчивой «поэзіи войны», смѣю думать, особенно присущее русскому народу и уже засвидѣтельствованное такимъ великимъ мастеромъ, какъ графъ Левъ Толстой, и такимъ крупнымъ художникомъ, какъ В. В. Верещагинъ, нашло новаго и оригинальнаго выразителя въ молодомъ писателѣ. Впослѣдствіи, въ «Воспоминаніяхъ рядового Иванова», онъ еще ярче и еще убѣдительнѣе, чѣмъ въ своемъ первомъ разсказѣ, развѣнчалъ эту по-истинѣ звѣрскую «поэзію», во многихъ мѣстахъ указавъ и на то, въ какихъ инстинктахъ и въ какихъ стихійныхъ состояніяхъ души она беретъ свое начало.

Это и не могло быть иначе. Напрасно тутъ нѣкоторые видятъ подражательность и заимствованіе. Все его существо являло изъ себя протестъ насилію и той фальшивой красотѣ, которая такъ часто сопровождаетъ зло. Вмѣстѣ съ тѣмъ это органическое отрицаніе зла и неправды дѣлало изъ него глубоко несчастнаго и страдающаго человѣка. Относясь ко всему норуганному и обиженному съ чувствомъ страстной и, я рѣшаюсь сказать, почти болѣзненной жалости, съ жгучей болью воспринимая впечатлѣнія отъ злыхъ и жестокихъ дѣлъ, онъ не могъ успокаивать эти впечатлѣнія и эту жалость взрывами злобы и негодованія, или чувствомъ удовлетворяемой мести, ибо ни на «варылы»,

ни на «чувство мести» не былъ способенъ. Вдумываясь въ причины зла, онъ приходилъ только къ тому, что «месть» не излѣчитъ его, злоба не обезоружитъ, и жестокія впечатлѣнія глубоко, незаживающими ранами, залегали въ его душѣ, служа источниками той неизъяснимой печали, которая неизмѣннымъ колоритомъ окрашиваетъ его произведенія и которая придавала его лицу столь характерное и трогательное выраженіе.

Понятно, что при такихъ условіяхъ его талантъ налагалъ на него тяжкое и мучительное бремя. Я не могу безъ трепета даже мысленно прослѣдить тѣ душевныя истязанія, которыя онъ несомнѣнно долженъ былъ испытывать, когда оживлялъ и пересматривалъ свои впечатлѣнія, чтобы написать такія вещи, какъ «Четыре дня», «Воспоминанія рядового Иванова», «Красный цвѣтокъ», «Надежда Николаевна»! Обстоятельства же, какъ впрочемъ, слагались такъ, что по преимуществу тѣ, а не нынѣшніе впечатлѣнія давала ему жизнь. Въ самую цвѣтущую и жизнерадостную пору жизни онъ познакомился съ ужасами самаго дикаго и безсмысленнаго дѣла, которое только свойственно людямъ; затѣмъ, до самой смерти, съ незначительными перерывами жилъ въ Петербургѣ. Я не могу, конечно, сказать, что преобладающій тонъ петербургской жизни въ свою очередь напоминаетъ что-либо дикое и безсмысленное... во всякомъ случаѣ это горнило всякихъ новостей, событій, слуховъ,—мало радостныхъ, если припомнить годы, въ которые жилъ тамъ Гаршинъ,—день ото дня, годъ отъ года; вливало въ него свой ядъ, не давая взамѣнъ почти никакого удовольствія, никакихъ надеждъ.

Вспоминаю одно изъ такихъ «нерадостныхъ» событій... Это было въ началѣ 1880 года, въ первые дни назначенія графа Лорисъ-Меликова. Всеволодъ Михайловичъ все время страшно волновался по поводу «событія», измѣнился до неузнаваемости, часто плакалъ и, наконецъ, обратился съ умоляющею просьбою къ лицамъ, еще могущимъ отсрочить «событіе». Послѣ, когда все кончилось, когда, къ довершенію ужаса, ему самому, глазами своими пришлось увидѣть частичку «событія»,—онъ торопливо, съ какими-то трепетнымъ чувствомъ испуга и отчаянія, въ ка-

комъ-то нервическомъ и богѣзвенномъ безпокойствѣ покинулъ Петербургъ... Хотѣлъ посѣтить Кишиневъ и театръ бывшей войны для предполагаемой большой работы «Люди и война», прожить часть лѣта у своихъ родныхъ въ Харьковской губерніи... Еще отъ 15 апрѣля 1880 года я получилъ отъ него письмо изъ харькова, подтверждающее эти намѣренія; въ письмѣ рѣшительно не было никакихъ зловѣщихъ признаковъ, а между тѣмъ, кажется, въ концѣ того-же мѣсяца онъ уже окончательно заболѣлъ и переживалъ тотъ характерный и многозначительный процессъ душевнаго разстройства, который въслѣдствіи съ такою силой изобразилъ въ «Красномъ цвѣткѣ».

Не могу не упомянуть здѣсь, что Всеволодъ Михайловичъ, рассказывая мнѣ долго спустя о томъ состояніи, которое предшествовало его болѣзни, о тѣхъ ощущеніяхъ и мысляхъ, съ которыми онъ уѣзжалъ изъ Петербурга, о тѣхъ переменахъ мрака и свѣта, которыми волновалась его измученная и обезпокоенная душа,—съ чувствомъ живѣйшаго умиленія вспоминалъ о томъ, какъ съ дороги изъ Тулы пошелъ онъ пѣшкомъ въ Ясную Поляну къ незнакомому ему въ то время графу Л. Н. Толстому, о разговорѣ съ нимъ, длившемся всю ночь, и о томъ, что считаетъ эту ночь «лучшей и счастливѣйшей» въ своей жизни. Это, я думаю, поясняетъ нѣкоторую черточку въ характерѣ и настроеніи покойнаго писателя.

Потомъ, три года спустя, я его встрѣтилъ въ Петербургѣ опять совершенно здоровымъ и опять съ неизмѣннымъ выраженіемъ грусти и задумчивости на лицѣ. Съ внѣшней стороны его положеніе и тогда, и въ особенности послѣ, казалось совсѣмъ хорошимъ. Онъ женился на дѣвушкѣ, которую давно зналъ и любилъ, имѣлъ достаточный заработокъ и притомъ, помимо литературнаго труда, имѣлъ многочисленныхъ друзей, признанный талантъ, почитателей, однимъ словомъ — все, что такъ великолѣпно удовлетворяетъ средняго человѣка. И однако я читаю въ письмѣ его отъ 17-го іюля 1884 г.: «Вернулся въ Петербургъ, живу очень благополучно, что, какъ сами знаете, рифмуется съ словомъ «скучно». —Знавшіе Гаршина отнюдь не скажутъ, что это

только фраза, да онъ и не былъ способенъ говорить, или писать фразы. Незнавшіе его склонны объяснять такое состояніе души опять-таки болѣзью, на которую столь часто ссылаются,—потому-что если не болѣзнь, разсуждаютъ они, то чего бы еще нужно человѣку?

Но дѣло-то въ томъ, что такіе люди, какъ Гаршинъ, не живутъ въ одиночку, не радуются и не страдаютъ одинъ-на-одинъ. Имъ недостаточно того, что составляетъ мечту средняго человѣка. Подобно тому, какъ герой одного изъ его разсказовъ, Гаршинъ «не могъ жить за свой собственный страхъ и счетъ; ему непремѣнно нужно было связать себя съ общей жизнью: мучиться и радоваться, ненавидѣть и любить не ради своего я, все пожирающаго и ничего взаимъ недающаго, а ради общей людямъ правды». Онъ и связалъ себя съ этой общей жизнью, никогда однако не рѣшаясь «ненавидѣть» и постоянно отравляя «радости» «мученіемъ». Повѣрно, что такая невыгодная «связь» не далась ему даромъ... Личное благополучіе можетъ-быть заставляло его страдать тѣмъ болѣе: ужъ слишкомъ, по его мнѣнію, оно шло въ разрѣзъ съ «неблагополучіемъ», царящимъ въ мірѣ.

И подобно тому, какъ это шло въ разрѣзъ съ тѣмъ,—раздвоили и смущали его душу тѣ настроенія, которыя онъ самъ съ неподражаемой простотою и правдою изобразилъ въ лицѣ «художниковъ» — Дѣдова и Рябинина. Изъ впечатлѣній личнаго моего знакомства съ ними, изъ его произведеній, изъ многихъ его вкусовъ и склонностей для меня какъ нельзя болѣе ясно, что въ немъ самомъ жили эти Дѣдовъ и Рябининъ. Какъ первый, онъ чувствовалъ прелесть красокъ, красоту солнечнаго заката, красоту горячихъ тоновъ кумача, освѣщеннаго заходящимъ солнцемъ, мирную и свѣжую поэзію «майскаго утра», когда «чуть колыхнется вода въ прудѣ, лвы склонили на него свои вѣтви; востокъ загорается, мелкія перистыя облачка окрасились въ розовый цвѣтъ; женская фигурка идетъ съ крутаго берега съ ведромъ за водой, снувшая стаю утокъ»... И съ другой стороны, это—Рябининъ, истерзанный видомъ и воспроизведеніемъ

своего «глухаря», — человека, «сидящего, согнувшись въ комокъ, въ углу котла и подставляющаго свою грудь подъ удары молота». Чтобы уяснить всю силу противорѣчія, жившаго въ душѣ писателя, вспомните поразительное обращеніе Рябинина къ его картинѣ.

«Смотришь и не можешь оторваться, чувствуешь за эту измученную фигуру... Иногда мнѣ даже слышатся удары молота... Я отъ него сойду съ ума. Кто позвалъ тебя? Я, я самъ создалъ тебя здѣсь. Я вызвалъ тебя изъ душнаго, темнаго котла, чтобы ты ужаснулъ своимъ видомъ эту чистую, прилежанную, ненавистную толпу. Прийди, силою моей власти прикованный къ полотну, смотри съ него на эти фраки и трены, крики имъ: я — язва растущая! Ударь ихъ въ сердце, лиши ихъ сна, ставь передъ ихъ глазами призракомъ! Убей ихъ спокойствіе, какъ ты убилъ мое»...

Въ концѣ разсказа Дѣдовъ идетъ съ весьма благополучными мыслями за границу, а Рябининъ бросаетъ живопись и идетъ въ учителя, гдѣ впрочемъ, тоже «не преуспѣваетъ». Кто же изъ нихъ правъ? кто изъ нихъ «мучился и радовался, ненавидѣлъ и любилъ» ради общей людямъ правды? — Рябининъ только «мучился», Дѣдовъ — только радовался. «Радость» Дѣдова привела его къ тому, что онъ вынѣ-себя отъ того, что пансіонеръ академіи, что получилъ золотую медаль, что его расхвалилъ критикъ Л. «Муки» Рябинина разрѣшились тѣмъ, что онъ съ злобой и съ презрѣніемъ зарылъ свой большой талантъ и ушелъ на то поприще, гдѣ у него можетъ-быть и простого умѣнья не оказалось. Кто же виноватъ въ этомъ расколѣ, въ этой невозможности примиренія, въ этихъ одностороннихъ и враждебныхъ другъ другу настроеніяхъ? Мы не видимъ въ произведеніяхъ Гаршина, чтобы виноватый былъ найденъ; мы видимъ только печаль и состраданіе, тамъ разлитыя, и ощущаемъ тоскливое чувство неудовлетворенности. Такъ и въ самой душѣ писателя никогда не угасала эта печаль и никогда не замирали «проклятые вопросы», на которые жизнь не давала ему отвѣта. Вотъ по-моему еще одинъ изъ источниковъ той «скуки», на

которую онъ жаловался, несмотря на свое вѣдѣнное благополучіе.

Авторъ одного изъ некрологовъ, появившихся послѣ смерти Гаршина, называлъ его «человѣкомъ не отъ міра сего». Да, онъ дѣйствительно былъ не отъ того жестокаго, воинствующаго и борющагося за свое существованіе міра, въ которомъ ему пришлось жить и дѣйствовать. Онъ былъ отъ міра правды, добра и красоты, и вѣчная ему память среди насъ, что онъ своими произведеніями, своею чистотою и отзывчивостію, своею глубоко неувядающею жизнью лишній разъ напомнилъ намъ, что только тамъ возможно доступное человѣку счастье, гдѣ радость и горе идутъ, правильно чередуясь другъ съ другомъ, гдѣ нѣтъ ненужной жестокости, ненужной злобы и ненужнаго поруганія,—гдѣ, однимъ словомъ, поэтическое «майское утро» не возмущаетъ нравственнаго чувства своимъ дикимъ контрастомъ съ человѣкомъ «сидящимъ, согнувшись въ комокъ, въ углу котла и подставляющимъ свою грудь подъ удары молота».

Я сказалъ уже вначалѣ, что преждевременная смерть Гаршина—законный и убѣдительный поводъ для самыхъ горячихъ и глубокихъ сожалѣній. И однако есть соображеніе, заставляющее насъ сосредоточиться не на этихъ сожалѣніяхъ, а на другой сторонѣ дѣла. Я хочу сказать, что намъ не дано спорить съ тѣмъ, что люди умираютъ, что «нѣтъ Патрокла», а «живъ презрительный Терситъ», что «земля есть и въ землю отыдоша». Передъ фактомъ смерти все-таки въ концѣ-концовъ приходится преклониться, ибо онъ фактъ... Не въ молитвенномъ смыслѣ преклониться, а въ самомъ обыкновенномъ, въ томъ смыслѣ, что «неизбѣжность» такъ-же неумолимо совершаетъ свой путь, какъ совершаетъ его камень, пущенный съ верху горы. Вспомните, что говоритъ «Природа» въ одномъ изъ безотраднѣйшихъ «стихотвореній въ прозѣ» Тургенева: «...Добро, разумъ, справедливость—это человѣческія слова. Я не вѣдаю ни добра, ни зла. Разумъ нѣтъ закона—я что такое справедливость? Я даю человѣку жизни—я ее отниму и дамъ другимъ, червямъ или людямъ... нѣтъ все равно». И вотъ мы видимъ, что, точно осу-

ществуя эту логику «неизбѣжности», человѣкъ, оттого-что у него закружилась голова—или, по другой версіи, оттого-что у него уже начиналась душевная болѣзнь,—упалъ съ высоты четвертаго этажа, мозгъ его вслѣдствіе этого паденія наводнился кровью, кости переломались, мускулы разорвались—и все это по неизбѣжнѣйшимъ законамъ «необходимости»,—въ организмѣ совершился такой-то и такой-то неизбѣжный процессъ, и затѣмъ—сердце перестало биться. Какое отсутствіе произвола! какъ все логично, все вытекаетъ одно изъ другого! какъ праздно и безсильно звучать пріятномъ наши сожалѣнія и наши сѣтованія на судьбу!

А между тѣмъ та-же неумолимо послѣдовательная Природа и насъ, собравшихся почтить память Гаршина, надѣлила тѣми чувствами, во имя которыхъ мы собрались здѣсь. Мы вѣдь собрались здѣсь не потому только, что горестно кончилась жизнь одного молодого человѣка, а потому, что этотъ молодой человѣкъ былъ писатель, Всеволодъ Гаршинъ. Будемъ же логичны въ нашихъ чувствахъ. Писатель старался пробуждать ихъ—поможемъ ему въ этой благородной работѣ, внесемъ ихъ въ нашу жизнь, въ наши поступки. Пусть такъ-же, какъ и въ немъ самомъ, состраданіе вызоветъ въ насъ жалость къ людямъ, и жалость—любовь, и любовь—стремленіе къ добру и правдѣ. Послѣдуемъ этой логикѣ, столь-же убѣдительною и законною, какъ и логика смерти. Въ нашихъ слезахъ и въ нашихъ сожалѣніяхъ онъ больше не нуждается... Продлимъ же его память тѣмъ, что воспользуемся яснымъ и опредѣленнымъ въ его произведеніяхъ, постараемся угадать его намеки и наброски, выпишемъ поученіе изъ того, чѣмъ онъ мучился и жилъ. Мнѣ думается, что именно такимъ образомъ всего лучше и всего достойнѣе поминать такого человѣка. Мнѣ думается, наконецъ, что только такъ, что только такимъ путемъ, намъ, людямъ, возможно бороться со смертію и во славу грядущаго побѣждать ее.

(Чит. отъ е-го любителей Росс. словесности).

Дві зустрічі.

Воспоминаніе Н. В. Рейгардта.

Въ началѣ февраля 1866 года я прїѣхавъ въ Петербургъ, направляясь изъ о—й губерніи въ Харьковъ для поступленія въ университетъ.

Въ Петербургѣ я предполагалъ пробыть около трехъ недѣль, чтобы повидаться съ родными, друзьями и съ тѣми лицами, которыя бы могли мнѣ дать кой-какія указанія о Харьковѣ, такъ какъ я совершенно не зналъ этого города.

Отъ одного изъ своихъ хорошихъ прїятелей я имѣлъ письмо къ Екатеринѣ Степановнѣ Гаршиной, къ которой и отправился на другой день по прїѣздѣ въ столицу. Екатерина Степановна встрѣтила меня съ большимъ радушіемъ, оказала такое сердечное, совершенно родственное участіе, которое въ то время было для меня очень дорого и котораго я, конечно, никогда не забуду. Въ теченіе нѣсколькихъ дней, проведенныхъ мною въ Петербургѣ, я почти каждый день бывалъ у нея и очень подружился съ ея сыномъ Всеволодомъ, тогда 12-ти или 13-ти-лѣтнимъ гимназистомъ, хотя по возрасту мы значительно разнились другъ отъ друга и между нами не могло быть ничего общаго: я былъ взрослый молодой человекъ, а онъ — ребенокъ. Но этотъ ребенокъ показался мнѣ крайне симпатичнымъ, да и онъ, повидному, привязался ко мнѣ. Бывало, когда я приду къ Екатеринѣ Степановнѣ, то онъ, если не былъ занятъ уроками, тотчасъ подсадетъ около меня или постарается увести въ другую комнату, чтобы показать или рассказать что-нибудь интересное.

Помню, мнѣ нравились въ маленькомъ Всеволодѣ любознательность и основательное знаніе тѣхъ предметовъ, съ которыми онъ успѣлъ познакомиться. Онъ очень, кажется, любилъ естественныя науки и сильно интересовался ими. Пользуясь полною свободой, проводя часто время со взрослыми, онъ не былъ по-

хожъ на тѣхъ дѣтей, которые любятъ корчить большихъ, вышиваться въ разговоры, резонерствовать. Ничего подобнаго у него не было. Онъ былъ добрымъ, милымъ ребенкомъ и, вѣстѣ съ тѣмъ, очень умнымъ. Впрочемъ, я помню, какъ онъ однажды выѣхался въ разговоръ взрослыхъ, но это выѣхательство было необходимо и вышло само собой.

Какъ-то вечеромъ собрались у Екатерины Степановны нѣсколько знакомыхъ, между которыми были довольно извѣстныя въ интеллигентныхъ петербургскихъ кружкахъ лица. Мы съ Всеволодомъ сидѣли въ сторонѣ и о чемъ-то вполголоса трактовали. По какому-то поводу одна дама, очень образованная особа, задала вопросъ: почему такъ легко подымается якорь изъ воды, между тѣмъ какъ онъ держится такъ крѣпко на днѣ, что скорѣе лопнетъ во время бури якорная цѣпь, чѣмъ сдвинется корабль? Изъ присутствовавшихъ никто не могъ дать отвѣта; одинъ очень образованный господинъ замѣтилъ между прочимъ, что надо спросить моряка. Услышавъ это, Всеволодъ всталъ съ своего мѣста и подошелъ туда, гдѣ шелъ разговоръ о якорѣ. — «Вотъ почему его такъ легко поднять», обратился онъ къ вопрошавшей особѣ—и затѣмъ объяснилъ весьма просто и наглядно способъ подъема якоря. Любознательность дамы была вполне удовлетворена. Оказалось, что образованные люди, изучавшіе физику и много разъ, вѣроятно, видѣвшіе поднятіе якоря, не могли дать объясненіе относительно очень простаго и обыкновеннаго явленія, которое объяснилъ гимназистъ 3-го или 4-го класса.

Въ то время очень поразило описанное обстоятельство. Меня поразило не столько его знаніе, — явившееся или результатомъ самостоятельнаго наблюденія, или путемъ вопроса знающихъ лицъ, вслѣдствіе любознательности къ явленіямъ, на которыя другіе не обращаютъ никакого вниманія, — сколько умѣнье весьма просто и наглядно объяснить непонятную для многихъ вещь. Этотъ фактъ, да и многіе другіе, о которыхъ я теперь не помню, заставили меня предполагать въ то время, что изъ Всеволода Гаршина выйдетъ или замѣчательный ученый, или замѣчательный педагогъ; его любознательность, ясное представленіе о тѣхъ предло-

тахъ, которые онъ зналъ, служили, повидимому, тому ручательствомъ.

Всеволодъ Михайловичъ въ дѣтствѣ, насколько я успѣлъ заимѣтить въ короткое время, былъ вполнѣ самостоятельной натурой. Эта самостоятельность, какъ мнѣ казалось тогда, выражалась въ томъ, что на него не имѣла никакого вліянія окружающая обстановка.

Вообще дѣти, которымъ предоставлена полная свобода, являются часто вѣрнымъ отраженіемъ всего окружающаго; они повторяютъ слова, фразы, которыя приходится имъ слышать, стараются интересоваться тѣмъ, чѣмъ интересуются взрослые. Но Всеволодъ Михайловичъ представлялъ, по моему мнѣнію, въ этомъ отношеніи нѣчто особенное: онъ жилъ какъ будто въ другомъ мірѣ. Да и дѣйствительно у него былъ свой маленькій мірокъ, который заключался въ книжкахъ, рисункахъ, различныхъ вещицахъ, небольшихъ естественно-историческихъ коллекціяхъ,—кажется, если не ошибаюсь, имъ самимъ составленныхъ,—и этотъ маленький мірокъ сосредоточивалъ на себѣ все его вниманіе, всѣ его созерцательныя способности, отвлекая мысли отъ окружающихъ явленій.

Но болѣе всего меня поражала во Всеволодѣ Михайловичѣ одна чисто внѣшняя особенность, выражавшаяся по временамъ въ глубоко-меланхолическомъ взглядѣ. Когда онъ говорилъ,—въ особенности о предметѣ, который сильно интересовалъ его,—то взоръ его оживлялся, глаза горѣли тѣмъ огнемъ, который свидетельствуетъ о внутренней работѣ, объ энергіи. Но когда бесѣда прекращалась и наступало всеобщее молчаніе, то взоръ Всеволода Михайловича дѣлался вдругъ необыкновенно задумчивымъ, взглядъ приобреталъ отпечатокъ тихой меланхолии, съ выраженіемъ кротости, доброты. Подобный взглядъ мнѣ приходилось встрѣчать у людей чрезвычайно несчастныхъ, но никогда не жаловавшихся на свою судьбу, въ особенности у женщинъ, которымъ довольно часто выходитъ удѣлъ нести тяжелый крестъ жизни. У маленькаго Всеволода, мнѣ казалось, появлялся иногда

именно меланхолически-задумчивый взгляд женщины, безропотно переносящей судьбу свою...

Наступило, наконец, время покинуть Петербургъ.

Послѣдній вечеръ, который я провелъ у Екатерины Степановны Гаршиной, мнѣ памятенъ, между прочимъ, потому, что Всеволодъ почти не отходилъ отъ меня. Былъ онъ очень веселъ и очень оживленъ, много рассказывалъ. Въ этотъ вечеръ было нѣсколько хорошихъ знакомыхъ Екатерины Степановны—лицъ, съ которыми я также ранѣе успѣлъ познакомиться. Когда настала минута разставанья и я сталъ прощаться съ присутствовавшими, то невольно взглянулъ на Всеволода, стоявшаго около своей матери. Бывшая передъ этимъ веселость исчезла. Онъ печально глядѣлъ на меня своимъ обычно меланхолически-задумчивымъ взглядомъ.

Мнѣ вдругъ сдѣлалось какъ-то невыразимо грустно, точно я навсегда покидалъ близкихъ, дорогихъ мнѣ людей...

II.

Прошло много лѣтъ. Имя Всеволода Михайловича Гаршина сдѣлалось извѣстнымъ. Изъ него не вышелъ, вопреки моему предположенію, замѣчательный ученый или педагогъ,—но изъ него вышелъ замѣчательный беллетристъ, обратившій на себя вниманіе небольшими, но необыкновенно-художественными произведеніями.

Послѣ отъѣзда въ Харьковъ я не видалъ его до 1884 года и встрѣтилъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Въ началѣ іюня этого года я возвращался изъ Петербурга въ Казань. Меня просили взять съ собой одного мальчика, отправлявшагося на каникулы къ родителямъ. Я согласился. Но такъ какъ я предполагалъ провести сутки у NN, моего пріятеля, жившаго въ Л—ни, на станціи николаевской желѣзной дороги, то просилъ отправить этого мальчика на другой день послѣ моего выѣзда изъ Петербурга, съ тѣмъ расчетомъ, что я встрѣчу его

въ Л—ни и затѣмъ мы отправились вмѣстѣ съ нимъ на станцію желѣзной дороги, чтобы ѣхать въ Казань. Занявшись получениемъ билета и сдачею багажа, я просилъ NN встрѣтить моего юнаго спутника, описать его примѣты и назвать его имя (звали его Сережей М—въ). Сдѣлавъ все, что мнѣ было нужно, я пошелъ на платформу, гдѣ увидѣлъ NN идущаго въ сопровожденіи Сережи М. и другого, незнакомаго мнѣ молодого человѣка, съ черной бородой.

— Вотъ тебѣ Сережа, сказалъ, обращаясь ко мнѣ, NN,— а вотъ еще твой старый знакомый, котораго ты зналъ, когда онъ былъ такимъ, какинъ теперь Сережа.

Я глядѣлъ и не узнавалъ.

Молодой человѣкъ заскоро улыбался.

— Это Всеволодъ Михайловичъ Гаршинъ! сказалъ мой пріятель.

— Такъ это Всеволодъ! воскликнулъ я, и мы облобызались.

При разговорѣ оказалось, что мы часа два или полтора проѣдемъ вмѣстѣ, такъ какъ онъ ѣхалъ на томъ-же поѣздѣ. Часа полтора прошли незамѣтно въ разговорахъ, посвященныхъ преимущественно воспоминаніямъ о прошедшемъ.

Къ концу пути разговоръ у насъ вдругъ почему-то прекратился. Я взглянулъ на Гаршина и увидѣлъ прежнее задумчиво-меланхолическое выраженіе лица.

— Знаете ли что, Всеволодъ Михайловичъ, обратился я къ нему,—еслибы я васъ встрѣтилъ гдѣ-нибудь, то, конечно, никакъ не узналъ бы, но, глядя теперь, я вижу въ васъ прежняго Всеволода... Въ дѣтствѣ у васъ я замѣчалъ иногда меланхолическій видъ, который вы сохранили до сего времени...

— Вотъ какъ! отиѣтилъ онъ, добродушно улыбаясь.

Въ то время я не зналъ, что Всеволодъ Михайловичъ подверженъ былъ нѣкогда тяжелой психической болѣзни. Еслибы зналъ, то никогда бы не сказалъ упомянутыхъ словъ. Но они, кажется, не произвели на него никакого впечатлѣнія. Тотчасъ послѣ этого онъ обратился ко мнѣ съ слѣдующимъ вопросомъ:

— Что это такое сдѣлалось съ NN (мой 1-й пріятель)?— Онъ сталъ какой-то грустный, точно самъ не свой...

— Не знаю, отвѣтилъ я,— вѣроятно, отсутствіе дѣятельности, отсутствіе друзей, которые какъ будто совсѣмъ его оставили. Ему, мнѣ кажется, нужно общество, среди котораго онъ бы могъ разсѣяться.

— Да я и самъ думалъ объ этомъ... Вотъ їду теперь къ Г. И. и вмѣстѣ мы потомъ отправимся къ NN. Жалко, если раскиснетъ совсѣмъ человѣкъ...

Тутъ поѣздъ подошелъ къ станціи, и мы простились... Когда поѣздъ сталъ отходить,—я взглянулъ въ окошко и увидѣлъ Всеволода Михайловича, дружески кивающаго мнѣ головой; взглядъ его былъ тотъ-же, какимъ провожалъ онъ меня восемнадцать лѣтъ передъ этимъ. Мнѣ сдѣлалось опять какъ-то болѣзненно-тоскливо, какъ и тогда, но мнѣ и въ голову не приходило, что я вижу Всеволода Михайловича въ послѣдній разъ, что уже болѣе никогда не встрѣчусь съ нимъ...

Въ настоящую минуту, когда я пишу эти строки, предо мною возстаетъ изъ-за тумана далекаго прошлаго симпатичный образъ мальчика Всеволода, съ его задумчиво-меланхолическимъ взглядомъ.

Говорятъ, что глаза — зеркало души. Отражалась ли тогда въ этомъ взорѣ та поэтическая душа, которая проявилась впоследствии въ созданіи оригинальныхъ художественныхъ произведеній, или отражался зародышъ той душевной болѣзни, которая привела къ преждевременному и трагическому концу?

Какъ звать!

(«Велетскій В.»).

Сообщеніе С. А. Венгерова.

Въ концѣ 1884 г. я приступилъ къ составленію «Исторіи новѣйшей русской литературы», до сихъ поръ по разнымъ причинамъ въ свѣтъ еще не появившейся. Для нея-то Всев. Михайловичъ, по моей просьбѣ, и написалъ небольшую автобіографію, сущность которой здѣсь приводится.

С. Венгеровъ.

«Родъ Гаршиныхъ—старинный дворянскій родъ. По семейному преданію, нашъ родоначальникъ, мурза Горша или Гарша, вышелъ изъ Золотой Орды при Иванѣ III и крестился; ему или его потомкамъ были даны земли въ нынѣшней воронежской губерніи, гдѣ Гаршины благополучно дежили до нынѣшнихъ временъ и даже остались помѣщиками въ лицѣ моихъ двоюродныхъ братьевъ, изъ которыхъ я видѣлъ только одного, да и то въ дѣтствѣ. О Гаршиныхъ много сказать не могу. Дѣдъ мой Егоръ Архиповичъ былъ человѣкъ крутой, жестокой и властный: поролъ мужиковъ, пользовался правомъ рѣшае постівъ и вымалывалъ килиткамъ фруктовыхъ деревьевъ непокорныхъ однодворцевъ. Онъ судился всю жизнь съ сосѣдами изъ-за какихъ-то подтоповъ мельницы, и къ концу жизни сильно разстроилъ свое крупное состояніе, такъ что отцу моему, одному изъ четверыхъ сыновей и одиннадцати дѣтей, досталось только 70 душъ въ старобѣльскомъ уѣздѣ. Страннымъ образомъ, отецъ мой былъ совершенной противоположностью дѣду: служа въ кирасирахъ (въ глуховскомъ полку) въ николаевское время, онъ никогда не билъ солдатъ; развѣ ужъ когда очень разсердится, то ударить фуражкой. Онъ кончилъ курсъ въ 1-й московской гимназіи и пробылъ года два въ московскомъ университетѣ на юридическомъ факультетѣ; но потомъ, какъ онъ самъ говорилъ, «увлекся военной службой» и поступилъ въ кирасирскую дивизію. Квартирова съ полкомъ на Донцѣ и тада съ офицерами по помѣщикамъ, онъ познакомился съ моею матерью, Е. С., тогда еще Акимовой, и въ 1848 году женился.

«Ея отецъ, помѣщикъ бахмутскаго уѣзда екатеринославской губерніи, отставной морской офицеръ, былъ человѣкъ очень образованный и рѣдко-хорошій. Отношенія его къ крестьянамъ были такъ необыкновенны въ то время, что окрестные помѣщики прославили его опаснымъ вольнодумцемъ, а потомъ—и помѣшаннымъ. Помѣшательство его состояло, между прочимъ, въ томъ, что въ голодъ 1843 года, когда въ тѣхъ мѣстахъ чуть не полнаселенія вымерло отъ голоднаго тифа и цынги, онъ заложилъ имѣніе, занялъ денегъ и самъ привезъ «изъ Россіи» большое количество хлѣба, который и роздалъ голодавшимъ мужикамъ, своимъ и чужимъ. Къ сожалѣнію, онъ умеръ очень рано, оставивъ пятерыхъ дѣтей; старшая, моя мать, была еще дѣвочкой, но его заботы о воспитаніи ея принесли плоды и послѣ его смерти, попрежнему выписывались учителя и книги, такъ что ко времени выхода замужъ моя мать сдѣлалась хорошо образованной дѣвушкой, а по тогдашнему времени и для глухихъ мѣстъ Екатеринославской губерніи даже рѣдко образованной.

«Я родился третьимъ (въ имѣніи бабушки, въ бахмутскомъ уѣздѣ) втораго февраля 1855 года, за двѣ недѣли до смерти Николая Павловича. Какъ сквозь сонъ помню полковую обстановку, огромныхъ рыжихъ коней и огромныхъ людей въ латахъ, бѣлыхъ съ голубымъ колетахъ и волосатыхъ каскахъ. Вмѣстѣ съ полкомъ мы часто переезжали съ мѣста на мѣсто; много смутныхъ воспоминаній сохранилось въ моей памяти изъ этого времени, но рассказать я ничего не могу, боясь ошибиться въ фактахъ. Въ 1858 году отецъ, получивъ наслѣдство отъ умершаго дѣда, вышелъ въ отставку, купилъ домъ въ Старобѣльскѣ, въ 12 верстахъ отъ котораго было наше имѣніе, и мы стали жить тамъ. Во время освобожденія крестьянъ отецъ участвовалъ въ харьковскомъ комитетѣ членомъ отъ старобѣльскаго уѣзда. Я въ это время выучился читать; выучилъ меня по старой книжкѣ «Современника» (статьи не помню) нашъ домашній учитель П. В. Завадскій, впоследствии сосланный—за безпорядки въ харьковскомъ университетѣ—въ Петрозаводскъ и теперь уже давно умершій.

«Пятый годъ моей жизни былъ очень бурный: меня возмани

изъ Староб. въ Харьковъ, изъ Х. въ Одессу, оттуда въ Х. и назадъ въ Староб. (все это на почтовыхъ, зимою, лѣтомъ и осенью); нѣкоторыя сцены оставили во мнѣ неизгладимое воспоминаніе и быть-можетъ слѣды на характеръ. Преобладающее на моей физиономіи печальное выраженіе вѣроятно получило свое начало въ ту эпоху.

«Старшихъ братьевъ отправили въ Петербургъ; матушка поѣхала съ ними, а я остался съ отцомъ. Жили мы съ нимъ то въ деревнѣ, въ стени, то въ городѣ, то у одного изъ моихъ дядей въ старобѣльскомъ уѣздѣ. Никогда, кажется, я не перечиталъ такой массы книгъ, какъ въ три года жизни съ отцомъ, отъ пяти до восьмилѣтняго возраста. Кромѣ разныхъ дѣтскихъ книгъ (изъ которыхъ особенно памятенъ мнѣ превосходный «Міръ Божій» Разина), я перечиталъ все, что могъ едва понимать изъ «Современника», «Времени» и другихъ журналовъ за нѣсколько лѣтъ. Сильно на меня подѣйствовала Бичеръ-Стоу («Хижина дяди Тома» и «Жизнь негровъ»). До какой степени свободенъ былъ я въ чтеніи, можетъ показать фактъ, что я прочелъ «Соборъ парижской Богоматери» Гюго въ семь лѣтъ и, перечитавъ его въ 25, не нашелъ ничего новаго, а «Что дѣлать» читалъ по книжкамъ въ то самое время, когда Чернышевскій сидѣлъ въ крѣпости. Это раннее чтеніе было, безъ сомнѣнія, очень вредно. Тогда-же я читалъ Пушкина, Лермонтова («Герой нашей времени» остался совершенно непонятнымъ, кромѣ Бѣлы, о которой я горько плакалъ), Гоголя и Жуковского. Въ 1868 г. матушка пріѣхала за мною изъ Петербурга и увезла съ собою. 15-го августа вѣхали мы въ него послѣ путешествія изъ Старобѣльска до Москвы на перекладныхъ и отъ Москвы по желѣзной дорогѣ; помню, что Нева привезла меня въ неописанный восторгъ (мы жили на Вас. остр.), и я началъ даже съ извощника сочинять къ ней стихи съ рифмами «широка» и «глубока».

«Съ тѣхъ поръ я—петербургскій житель, хотя часто уѣзжалъ въ разные мѣста. Два лѣта провѣлъ у П. В. Завадскаго въ Петрозаводскѣ; потомъ одно на дачѣ около Петербурга; потомъ

жилъ въ Сольцѣ, исковской губ. около полугода; нѣсколько лѣтъ жывалъ по лѣтамъ въ Старобѣльскѣ, въ Николаевѣ, въ Харьковѣ, въ орловской губерніи, на Шекснѣ (въ кприлловскомъ уѣздѣ). Послѣдній мой отъѣздъ изъ Петербурга былъ очень продолжителенъ: я прожилъ около 1½ лѣтъ въ деревнѣ у одного изъ своихъ дядей, В. С. Акимова, въ херсонскомъ уѣздѣ, на берегу бугскаго лимана.

«Въ 1864 году меня отдали въ 7-ю спб. гимназію, въ 12 л. Вас. остр. Учился я вообще довольно плохо, хотя не отличался особенною лѣнностью: много времени уходило на постороннее чтеніе. Во время курса я два раза болѣлъ и разъ остался въ классѣ по лѣнности, такъ что семилѣтній курсъ для меня превратился въ десятилѣтній, что, впрочемъ, не составило для меня большой бѣды, такъ какъ я поступилъ въ гимназію 9 лѣтъ. Хорошія отмітки я получалъ только за русскія «сочиненія» и по естественнымъ наукамъ, къ которымъ я чувствовалъ сильную любовь, не умершую и до сихъ поръ, но ненашедшую себѣ приложенія. Математику искренно ненавидѣлъ, хотя трудна она мнѣ не была, и старался по возможности избѣгать занятій ею. Наша гимназія въ 1866 году была преобразована въ реальную гимназію и долго служила образцовымъ заведеніемъ для всей Россіи (теперь она 1-е реальное училище). Мнѣ рѣдко случалось видѣть воспитанниковъ, которые сохранили бы добрую память о своемъ учебномъ заведеніи; что касается до 7-й гимназіи, то она оставила во мнѣ самыя дружелюбныя воспоминанія. Къ В. Θ. Эвальду (директоръ въ мое время, директоръ и теперь) я навсегда, кажется, сохраняю хорошія чувства. Изъ учителей я съ благодарностью вспоминаю В. П. Геннинга (словесность) и М. М. Федорова (ест. исторія); послѣдній былъ превосходный человѣкъ и превосходный учитель, къ сожалѣнію, погубленный рюмочкой. Онъ умеръ нѣсколько лѣтъ тому назадъ.

«Начиная съ 4-го класса, я началъ принимать участіе (количественно, впрочемъ, весьма слабое) въ гимназической литературѣ, которая одно время у насъ пышно цвѣла. Одно изъ изданій, «Вечерняя газета», выходило еженедѣльно аккуратно втеченіе

года. Сколько помню, фельетоны мои (за подписью «Агасферъ»), пользовались успѣхомъ. Тогда-же я подъ влияніемъ «Иліады» сочинилъ поэму (гекзаметромъ) въ нѣсколько сотъ стиховъ, въ которой описывался нашъ гимназическій бытъ, преимущественно—драки.

«Будучи гимназистомъ, я только первые три года жилъ въ своей семьѣ. Затѣмъ мы съ старшими братьями жили на отдельной квартирѣ (имъ тогда было 16 и 17 лѣтъ); слѣдующій годъ прожилъ у своихъ дальнихъ родственниковъ, потомъ былъ пансіонеромъ въ гимназіи; два года жилъ въ семьѣ знакомыхъ петербургскихъ чиновниковъ и наконецъ былъ принятъ на казенный счетъ.

«Передъ концомъ курса я выдержалъ тяжелую болѣзнь, отъ которой едва спасся послѣ полугодового лѣченія. Въ это-же время застрѣлился мой второй братъ...

«Не имѣя возможности поступить въ университетъ, я думалъ сдѣлаться докторомъ. Многіе изъ моихъ товарищей (предыдущихъ выпускновъ) попали въ медицинскую академію и теперь доктора. Но какъ разъ ко времени моего окончанія курса Д—въ подалъ записку покойному государю, что вотъ, молъ, реалисты поступаютъ въ медицинскую академію, а потомъ проникаютъ изъ академіи въ университетъ. Тогда было приказано реалистамъ въ доктора не пускать. Пришлось выбирать какое-нибудь изъ техническихъ заведеній: я выбралъ то, гдѣ поменьше математики,—горный институтъ. Я поступилъ въ него въ 1874 году. Въ 1876 хотѣлъ уйти въ Сербію, но, къ счастью, меня не пустили, такъ какъ я былъ призывнаго возраста. 12-го апрѣля 1877 г. я съ товарищемъ (Афанасьевымъ) готовился къ экзамену изъ химіи; принесли манифестъ о войнѣ. Наши записки такъ и остались открытыми: мы подали прошеніе объ увольненіи изъ института и уѣхали въ Кишиневъ. Въ кампаніи я былъ до 11-го августа, когда былъ раненъ. Въ это-же время, въ походѣ, я написалъ свою первую, напечатанную въ «От. Зап.», вещь «Четыре дня». Поводомъ къ этому послужилъ дѣйствительный случай съ однимъ изъ солдатъ нашего полка (скажу кстати, что самъ я

ничего подобного никогда не испытать, такъ какъ послѣ раны былъ сейчасъ же вынесенъ изъ огня).

«Вернувшись съ войны, я былъ произведенъ въ офицеры, съ большимъ трудомъ вышелъ въ отставку (теперь опять меня зачислили въ запасъ). Нѣкоторое время (7/8) слушалъ лекціи въ университетѣ (по историко-филологическому факультету). Въ 1880 г. заболѣлъ и по этому-то случаю прожилъ долго въ деревнѣ у дяди. Въ 1882 г. вернулся въ Петербургъ, въ 1883 г. женился на Н. М. Золотиловой; въ томъ-же году поступилъ на службу секретаремъ въ желѣзнодорожный сѣздъ.»

В. М. Гаршинъ какъ писатель

(Литературная характеристика)

I

Въ литературной дѣятельности Всеволода Михайловича Гаршина сказались такія черты, которыя вызываютъ къ его личности, какъ къ писателю, высокое уваженіе со стороны людей самыхъ противоположныхъ воззрѣній. Изъ современныхъ молодыхъ русскихъ беллетристовъ ни одинъ не выступалъ на литературное поприще при такихъ исключительно-благопріятныхъ условіяхъ, какъ онъ; первое же его произведеніе — «Четыре дня» — привлекло къ себѣ общее вниманіе и современностью темы — изображеніемъ факта, характеризующаго обратную сторону войны, во время воинственныхъ увлеченій, и талантомъ автора. Гаршинъ сразу занялъ выдающееся положеніе въ литературѣ. Но это обстоятельство, открывавшее ему возможность писать, не заботясь уже о мѣстѣ и времени помѣщенія своихъ трудовъ, сдѣлало его только болѣе строгимъ къ самому

себя. В течение десятилѣтій имъ написано лишь незначительное число небольшихъ разсказовъ; но зато на каждомъ изъ нихъ лежитъ печать истиннаго вдохновенія и серьезнаго труда. Въ произведеніяхъ Гаршина, дѣйствительно, не найдется ни одной строки, которая не была бы выстрадана авторомъ, которая не была бы яркимъ отраженіемъ его душевной жизни. Въ нихъ во всѣхъ непрестанно звучитъ такая неподкупная и подкупающая, трогательная искренность; на явленія жизни, описываемыя имъ, авторъ смотритъ съ такимъ глубокимъ и простымъ, чуждымъ всякой преднамѣренной тенденціозности, чувствомъ, что читатель, будетъ ли онъ раздѣлять воззрѣнія автора или нѣтъ, не откажетъ ему въ своемъ уважительномъ сочувствіи, въ пониманіи благородныхъ источниковъ его чувствъ и мыслей,—его нравственныхъ страданій, правильнѣе сказать.

Въ то-же время этотъ лучшій представитель молодого литературнаго поколѣнія, такъ безвременно оставившій нашъ грѣшный міръ, слишкомъ еще современенъ намъ, его мысли и стремленія еще слишкомъ, въ положительномъ или отрицательномъ смыслѣ, близки мыслямъ и стремленіямъ русскаго интеллигентнаго общества настоящаго времени, чтобы о немъ могло возникнуть ясное и простое, безпристрастное сужденіе, одинаково чуждое враждебности, какъ и преувеличенныхъ симпатій. И съ В. М. Гаршинымъ естественно случилось то-же, что случалось со всѣми выдающимися представителями художественной литературы; есть у него неопасные враги и опасные друзья. Поклонники тенденціозности въ литературѣ находили въ его произведеніи тенденціи, которыхъ въ дѣйствительности не было, такъ какъ Гаршинъ, какъ живой и искренній, неподкупно мыслявшій человѣкъ, никогда не былъ способенъ ни сдѣлать изъ своего героя манекенъ для того, чтобы навѣсить на него газетную передовую статью или, еще хуже, страничку изъ прописи, ни подтасовать факты, чтобы изъ нихъ скомпоновала та или другая, хотя-бы и самая великодушная, мысль. Представители застарѣлыхъ традицій шестидесятихъ годовъ нападали на его «инстинктивизмъ», на его «непріятіе въ жизнь», рекомендовали ему перенѣнить свое мрачное мировоз-

зрѣніе на болѣе жизнерадостное, если не по отношенію къ настоящему, то къ надеждамъ на будущее; напротивъ, другіе находили, что Гаршина былъ преисполненъ «вѣры въ жизнь», и пр., и пр. Последнее мнѣніе, нужно сказать, настолько справедливо, насколько вѣра въ жизнь можетъ привести къ добровольному отказу отъ нея.

Мы приводимъ эти несправедливыя воззрѣнія на Гаршина (одно изъ нихъ раздѣлялъ прежде и пишущій эти строки) не съ цѣлью оспариванія ихъ, — оспаривать ихъ не представляется никакой надобности, очевидно, — а съ исключительной цѣлью указать на то, какъ отражались пристрастія времени на критическихъ воззрѣніяхъ на Гаршина. Не подлежитъ, между тѣмъ, никакому сомнѣнію, что истинно-критическое отношеніе къ писателю состоитъ не въ томъ, чтобы разсмотрѣть, подходитъ ли онъ по своимъ воззрѣніямъ къ намъ или къ нашимъ противникамъ. Оцѣнить писателя — значитъ понять его, постигнуть душевные процессы, подъ влияніемъ которыхъ онъ создавалъ свои произведенія; въ этихъ душевныхъ процессахъ автора — неумытныи судья и свидѣтель. Если авторъ намѣренно говорилъ неправду, если онъ хотѣлъ не искать истины, а поражать читателей эффектами, если онъ любовался собою... и т. д. — все это отразится въ произведеніи его и будетъ замѣчено внимательнымъ и чуткимъ читателемъ, который пойметъ, что отъ автора этого ждать нечего. Если, напротивъ, авторъ искренно и безпретенціозно отражаетъ въ своемъ произведеніи свои простыя чувства и думы, его искренность не обманетъ насъ, и мы можемъ довериться ему; мы найдемъ въ немъ сильное стремленіе къ истинѣ и, слѣдовательно, хотя маленькое и неправильное, но все-же дѣйствительное отраженіе ея. Съ этой точки зрѣнія мы и будемъ смотрѣть на произведенія покойнаго В. М. Гаршина.

II

В. М. Гаршинъ, конечно, не принадлежитъ къ тѣмъ художественнымъ дорованіямъ, которыя привлекаютъ къ себѣ склою и объективною правдою воспроизведенія жизни. Жизнь въ его произведеніяхъ не становится передъ вами прямо и свободно, а проходитъ сначала сквозь спящую призму авторскаго созерцанія и является передъ читателемъ уже окрашеною въ поразительный и яркій цвѣтъ авторскаго чувства. Гаршинъ—талантъ весьма субъективный. Существуетъ мнѣніе, нелишенное доли истины, что первый разсказъ нашего автора, т. е. «Четыре дня», есть вмѣстѣ съ тѣмъ и лучший разсказъ его; на немъ прежде всего мы и можемъ остановиться для доказательства субъективности таланта Гаршина.

Передъ нами поле недавней битвы, и на немъ раненный въ обѣ ноги человекъ. Въ первый моментъ сознанія онъ чувствуетъ, что «въ ушахъ его звонъ, и голова отяжелѣла»; «смутно понимаетъ онъ, что раненъ». А между тѣмъ этотъ человекъ съ отяжелѣвшей головой и звономъ въ ушахъ «начинаетъ припоминать» и «приходитъ къ заключенію», что «мы не разбиты». Онъ соображаетъ и разсуждаетъ: «На эту полянку намъ показывалъ нашъ маленькій батальонный. «Ребята, мы будемъ тамъ!» закричалъ онъ намъ своимъ звонкимъ голосомъ. И мы были тамъ; значитъ, мы не разбиты».... Медленно движется время, а раненный все продолжаетъ описывать свои ощущенія и даже окружающую природу. Онъ слышитъ стоны около себя, догадывается и думаетъ: «Боже мой, да гдѣ это — я самъ! Тихіе, жалобные стоны—неужели мнѣ въ самомъ дѣлѣ такъ больно? Должно-быть. Только я не понимаю этой боли, потому-что у меня въ головѣ туманъ, соннецъ»...

Невольно и неотразимо становится передъ читателемъ вопросъ: да можно, могъ ли раненный, съ туманомъ, сонцомъ въ головѣ, съ сильнымъ лихорадочнымъ состояніемъ, разсуждать такъ холодно

и логично насчетъ причинъ непониманія имъ боли, припоминать съ такой ясностью разные обстоятельства боя! А между тѣмъ, немного позже, когда зной, разлагающійся вблизи трупъ и развитіе собственной болѣзни должны были ухудшить состояніе раненнаго, «мысли, воспоминанія тѣснятся въ головѣ» его, и онъ разсуждаетъ, что «скоро конецъ, только въ газетахъ останется нѣсколько строкъ», въ которыхъ просто скажутъ: убитъ одинъ рядовой, «какъ та одна собачонка»... И цѣлая картина прошедшаго выступаетъ въ воображеніи раненнаго, картина, когда-то поразившая его, — гибель собачонки подъ колесами вагона конножелезной дороги. И раненный думаетъ: «Вы, воспоминанія, не мучьте меня! Оставьте меня! Былое счастье, настоящія муки... пусть бы остались одни мученья, пусть не мучатъ меня воспоминанія, которыми невольно заставляютъ сравнивать... Ахъ, тоска, тоска! ты хуже ранъ». По поводу убитаго имъ въ бою турка, лежащаго вблизи, нашъ раненный впадаетъ въ весьма пространныя разсужденія: «За что я его убилъ? Онъ лежитъ здѣсь мертвый, окровавленный. Зачѣмъ судьба пригнала его сюда? Быть-можетъ и у него, какъ у меня, есть старая мать. Долго она будетъ по вечерамъ сидѣть у дверей своей убогой мазлики да поглядывать на дальній сѣверъ: не идетъ ли ея ненаглядный сынъ, ея работникъ и кормилецъ». И раненный думаетъ, что онъ «не хотѣлъ этого»... «И чѣмъ виновать я, хотя я и убилъ его?» и т. д. О матери своей раненный думаетъ: «Мать моя, дорогая моя! Вырвешь ты сѣдыя косы, ударившись головою объ стѣну, проклянешь тотъ день, когда родила меня, весь міръ проклянешь»...

Довольно этихъ примѣровъ, чтобы показать основныя свойства психологической сущности разсказа. Читатель, конечно, не думаетъ, что такъ именно долженъ думать и чувствовать тяжело раненный человѣкъ. Передъ нами не валяющееся и безсознательно кричащее отъ боли мясо, передъ нами не подавленное воспаленною кровью воображеніе, создающее фантастическую картину изъ возникшаго воспоминанія о раздавленной собачонкѣ, какъ должно было бы быть въ дѣйствительности, — нѣтъ, передъ нами человѣкъ, горько и страстно, но не болѣзненно разсуждающій,

сравнивающий, определяющий, воспоминающий, человекъ повинному вопли владычествующаго, хотя авторъ во многихъ мѣстахъ и старается изобразить именно раненнаго серьезно, выпадающаго постоянно въ забывчивость и жестоко страдающаго. Словомъ: передъ нами прежде всего и болѣе всего—самъ авторъ, страдающій за раненнаго; а этотъ послѣдній смотритъ на себя со стороны (со стороны именно автора) и разсуждаетъ о страшныхъ для него послѣдствіяхъ войны, какъ совѣтъ посторонній, но чувствующій человекъ могъ бы разсуждать. И какое бы произведеніе Гаршина вы ни открыли, вы всюду встрѣтите тотъ-же тонъ, тотъ же преобладающій субъективный элементъ; передъ нами всегда на первомъ планѣ будетъ самъ авторъ съ своими грустными думами. Произведенія Гаршина суть лирическія произведенія, и безъ лиризма они не имѣли бы того смысла и значенія, которое теперь принадлежитъ имъ.

Въ лиризмѣ—и сила, и слабость Гаршина, источникъ художественныхъ достоинствъ и недостатковъ его произведеній. Были высказываемы такіа положенія, что Гаршинъ въ «Встрѣчѣ», въ лицѣ инженера Кудряшева, создалъ новый типъ. Это совершенно невѣрно. Ни инженеръ Кудряшевъ, ни художники Дѣдовъ и Рабинникъ, ни даже капитанъ Венцель («Изъ воспоминаній рядоваго Иванова»), въ которомъ, нужно думать, авторъ прямо имѣлъ намѣреніе дать типъ, неговоря уже о другихъ, не достигаютъ до значенія того, что зовется типомъ. Это лишь очерки типовъ, довольно притомъ не новыхъ, извѣстныхъ, по поводу которыхъ авторъ находитъ возможнымъ высказать свои глубокія и трогательныя воззрѣнія. Мы не хотимъ сказать, чтобы авторъ не могъ создавать живыя и характерныя лица; напротивъ, многія его фигуры, какъ выше названныя, какъ художникъ Гельфрейхъ (въ «Надеждѣ Николаевнѣ»), солдатъ дядя Житковъ, капитанъ Занкинъ и прапорщикъ Стебельковъ (въ «Воспоминаніяхъ рядоваго Иванова») и пр.—лица въ высокой степени характерныя, полныя силы и индивидуальности; но все это не то, и типовыя, повторяемъ, Гаршинъ не создавалъ,—не въ нихъ лежалъ смыслъ его художественной дѣятельности.

Это какъ будто-бы лишаетъ рассказы Гаршина извѣстнаго ореола,—но въ дѣйствительности нисколько не мѣшаетъ имъ быть глубоко прекрасными, полными идейнаго содержанія и смысла. Изображая явленія извѣстныя, знакомя васъ съ разнообразными личностей слишкомъ обыкновенныхъ, повседневныхъ, которыя неоднократно встрѣчались вамъ въ жизни, Гаршинъ умѣетъ поставить ихъ передъ вами подъ особымъ оригинальнымъ угломъ зрѣнія,—и вдругъ эти извѣстныя явленія, эти знакомыя лица выдаютъ вамъ совершенно новыя свойства, полныя значенія, которыхъ вы до того времени не замѣтили, не хотѣли или не могли замѣтить. По свойству авторскаго таланта, свойства эти—обыкновенно характера печальнаго, вызывающаго на горькія размышленія. Призмъ автора съ особенною силою оттѣняетъ эти особенности, эти характерныя черты изображаемыхъ явленій, придавая всей картинѣ колоритъ чарующій. Искренность, глубокая задумчивость автора исключаетъ самое представление о чемъ-либо лишнемъ, неумѣстномъ въ его произведеніяхъ; его душа дѣйствуетъ свободно, по естественнымъ свойственнымъ ей законамъ, авторъ ничего не выдумываетъ, ничего не «сочиняетъ», передавая только такъ-сказать конечные плоды, результаты своей душевной дѣятельности,—и все выходитъ у него на своемъ мѣстѣ, все хорошо, вездѣ вы видите душу живу, и общее впечатлѣніе получается ясное, простое, цѣлостное—художественное. Субъективность автора, которой онъ отдается свободно, не претендуя отрѣшиться отъ нея въ пользу объективной правды, платитъ ему глубиною воззрѣній, которая всегда разрушается при успѣхахъ быть не самимъ собою, достигать результатовъ, неладящихъ съ натурою автора.

Таланты, однородные съ Гаршинимъ, нерѣдко получаютъ въ обществѣ огромное вліяніе и значеніе. Такихъ-же субъективными талантами были Некрасовъ у насъ, Гейне у нѣмцевъ, Леонарди и Фосколо у итальянцевъ и т. д. Общественное вліяніе нисколько зависитъ не отъ свойства таланта преимущественно, а отъ величинъ его.

III

Въ произведеніяхъ субъективнаго таланта, возбуждающаго добрыя чувства въ читателѣ призмой, страстнымъ отношеніемъ къ изображаемымъ явленіямъ жизни, міровоззрѣніе автора получаетъ гораздо болѣе важное, болѣе первенствующее значеніе, чѣмъ въ произведеніяхъ «объективныхъ». Міровоззрѣніемъ своимъ, страстно проповѣдуемымъ, субъективный талантъ главнѣйшимъ образомъ и значителенъ, потому-что знанія жизни, жизненной опытности, онъ дать не можетъ, а можетъ только окрасить и для читателя жизненные явленія въ свойственный таланту автора цвѣтъ. Талантъ субъективный большой скажется тѣмъ, что цвѣтъ этотъ не будетъ фальшивыми очками, закрывающими истину; проникательность, свойственная таланту, защититъ отъ фальши. Талантъ субъективный незначительный будетъ носить на себѣ всѣ тѣ вериги предразсудковъ и предубѣжденій, которыми всѣхъ насъ награждаетъ такъ-называемое «время», т. е. историческія обстоятельства, которыя вліяютъ на насъ помимо нашего сознанія и воли и до критическаго отношенія къ которымъ возвыситься могутъ только самые сильные и независимые умы. Такимъ образомъ, раскрывая міровоззрѣніе субъективнаго таланта, мы тѣмъ самымъ опредѣлимъ и мѣсто его въ литературѣ, его истинное въ ней, не временное—значеніе.

Разсматриваемый съ этой точки зрѣнія, Гаршинъ, если съ надлежащимъ вниманіемъ изслѣдовать душевные процессы при созданіи имъ произведеній, окажется совершенно не тѣмъ, что хотѣтъ видѣть въ немъ представители литературныхъ партій, изъ которыхъ каждая, конечно, непрочъ причислить его къ своему кругу, искать въ немъ подтвержденія своихъ вѣрованій и стремленій. Гаршинъ рѣшительно стоитъ своими произведеніями въ сторонѣ; онъ—самъ по себѣ, независимый и свободный мыслящій человѣкъ, какъ мы сейчасъ покажемъ. И если ему угодно было при жизни становиться въ ряду тѣхъ или другихъ личностей и убежде-

ний, то онъ или условно соединялся съ ними, или подпадалъ подъ то опредѣленіе Добролюбовымъ художника, по которому «въ отвлеченныхъ разсужденіяхъ онъ, художникъ, высказываетъ понятія, разительныя противоположныя тому, что выражается въ его художественной дѣятельности».

Гаршинъ, прежде всего, не былъ сыномъ «шестидесятыхъ годовъ», подъ вліяніемъ которыхъ развивался его художественный талантъ, по крайней мѣрѣ не былъ покорнымъ сыномъ этого страннаго времени съ его характернымъ направленіемъ; скорѣе, въ свои семидесятые годы, онъ явился протестантомъ противъ нихъ, отрицателемъ ихъ. На порогѣ «шестидесятыхъ годовъ», Добролюбовъ, самъ одинъ изъ творцовъ той эпохи, подъ коверъ своей молодой, такъ рано погасшей жизни, съ сожалѣніемъ оглянулся назадъ, неласково встрѣчая грядущее. «То было — говорить онъ, по поводу сочиненій Достоевскаго, о направленіи, предшествовавшемъ его времени: — то было направленіе живое и дѣйственное, направленіе истинно-гумантическое, не сбѣтое и не разслабленное разными юридическими и экономическими сентенціями... И еслибы продолжалось это направленіе, оно, безъ сомнѣнія, было бы плодотворнѣе всѣхъ, за нимъ послѣдовавшихъ... Видно, что тогда были другіе годы, другія силы, другіе идеалы... Такъ писалъ Добролюбовъ, и въ этихъ словахъ — прекрасная отрицательная характеристика выступавшихъ тогда, рядомъ съ добрыми, и злыхъ направленій, захватившихъ собою всѣ шестидесятые и добрую половину семидесятыхъ годовъ. Понималъ наступало время разслабленія и приниженія истиннаго гуманизма разными сентенціями и тенденціями, юридическими, экономическими и политическими. Истинно-гумантическое направленіе уступало тогда ложно-гумантическимъ ученіямъ. Какъ справедливо отмѣтилъ устами слѣдователя Порфірія Достоевскій, «цитировалась фраза, что кровь оскѣжаетъ»; печальный фактъ «борьбы за существованіе» покрывался ореоломъ идеала; вообще слово «борьба» писалось и произносилось съ восторженнымъ умиленіемъ; возникло множество теорій, основанныхъ на самыхъ «послѣднихъ словахъ» науки, которыми оправдывались понятія и дѣянія, да-

леко не блистающія нравственною высотой... Впрочемъ, слишкомъ намятно то время, чтобы много нужно было говорить о немъ...

Гаршинъ ни въ какомъ случаѣ не былъ послѣдователемъ этихъ увлеченій. Еслибы онъ самъ сталъ утверждать противоположное, онъ доказалъ бы только двойственность въ себѣ художника и мыслителя, указанную Добролюбовымъ, и сочиненія его стали бы свидѣтелями противъ него. Гаршинъ принадлежитъ всею своею душою къ тому, прежнему, истинно-гуманическому направленію, которое еще не было разслаблено сентенціями и тенденціями; въ немъ недвусмысленно сказалось отрицаніе тѣхъ направленій, которыя послѣдовали за нимъ и которыя, по болѣе близкому и точному опредѣленію, должны быть названы резонерскими.

Резонеромъ Гаршинъ, какъ глубоко искренній человѣкъ и писатель, не могъ быть; онъ съ отвращеніемъ относится ко всему, что негуманно по существу, какою бы теорію ни прикрывалось это негуманное. «Книжки» Гаршина заключаютъ въ себѣ огромное число мѣстъ, которые могутъ служить доказательствомъ этого. Проницательнымъ взоромъ отыскивалъ онъ всякое безчеловѣчіе подъ всякой формой,—подъ эгидою науки и философіи, подъ сентенціями и тенденціями политическими и экономическими, и клеймилъ его, это безчеловѣчіе, съ страстнымъ негодованіемъ или съ горькою ироніей. Чтобы сдѣлать нашу мысль ясною и доказательною, мы остановимся на многихъ мысляхъ автора, которыя самъ онъ высказалъ ясно и точно, съ удивительною искренностью, смѣлостью и независимостью. Ихъ обыкновенно пропускаютъ безъ вниманія или о нихъ нахѣренно молчатъ; но въ нихъ-то и суть дѣла, рѣшающая, что такое былъ Гаршинъ, что было его направленіемъ.

Во второмъ своемъ разсказѣ, носящемъ заглавіе «Пронсещеніе», онъ выражаетъ протестъ противъ обезьянической якобы философіи, пересаживаемой на русскую почву со всѣми сорными травами, выращенными нерусскою почвой. Въ уста своей героини, такъ-называемой «потерянной женщины», непотерявшей однако совѣсти, онъ вложилъ слѣдующія слова, полныя горечи и негодованія: «Да, и у меня свой постъ! И я тоже нужна,

необходима. Недавно приходилъ ко мнѣ одинъ юноша, очень разговорчивый, и цѣлую страницу прочиталъ мнѣ наизусть изъ какой-ти книги. «Это нашъ философъ, нашъ русскій философъ», говорилъ онъ. Философъ говорилъ что-то очень туманное и для меня лестное, вродѣ того, что мы — «клапаны для общественныхъ страстей...» И слова гадкія—заключаетъ справедливо «герония»:—и философъ должно-быть скверный, а хуже всего былъ этотъ мальчишка, повторявшій эти клапаны». Вотъ вамъ первый, но уже яркій примѣръ свободнаго и независимаго отношенія Гаршина къ теоріямъ, покорявшимъ толпу. Какъ извѣстно, теорія «клапановъ», цитируемая авторомъ, дѣйствительно было одною изъ безчисленныхъ проявленій «гуманизма» шестидесятыхъ годовъ, разслабленнаго сентенціями, и авторъ не обвиняетъ заявивъ свое отвращеніе къ сухому и тупому доктринерству этой «философіи».

Хотите ли знать, насколько Гаршинъ считалъ себя обязаннымъ впасть въ людяхъ, кричащихъ о наукѣ, непреложныхъ руководителей своей жизни и мысли,—прочтите слѣдующія два мѣста. На первыхъ страницахъ «Attalea princeps» авторъ изображаетъ въ весьма критическомъ свѣтѣ высокомѣріе такъ-называемыхъ «людей науки». Бразиліанецъ, случайно пріѣхавшій изъ своей жаркой страны въ тотъ садъ, гдѣ росла пальма, назвалъ ее ея роднымъ именемъ. «Извините, крикнулъ ему изъ своей будочки директоръ, въ это время внимательно разрѣзывавшій бритвою какой-то стебелекъ:—вы ошибаетесь. Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существуетъ. Это Attalea princeps, родомъ изъ Бразиліи». — О да, сказалъ бразиліанецъ:—я вполне вѣрю вамъ, что ботаники называютъ ее Attalea, но у нея есть и родное, настоящее имя.—«Настоящее имя есть то, которое дается наукой», сухо сказалъ ботаникъ и заперъ дверь своей будочки, чтобы (прибавляетъ авторъ уже отъ себя) ему не мѣшали люди, непонимающіе даже того, что ужъ если что-нибудь сказалъ человѣкъ науки, такъ нужно молчать и слушаться...» Еще рельефнѣе отрицательное отношеніе автора нашего къ «наукѣ», если она претендуетъ вселить душу человѣка, лишить ее «родного, на-

стоящего имени», родных, настоящих живых свойств, неутишающихся в будочке, казалось в следующих размышлениях готового на самоубийство человека: «Да, тогда (в дѣтствѣ) все казалось тѣмъ, какъ оно казалось. Красное такъ и было красное, а не отражающее красные лучи. Тогда не было для впечатлѣній готовыхъ формъ—идей, въ которыя человекъ выливаетъ все ощущаемое, не заботясь о томъ, *зодна-ли форма, не дала ли она трещины...*» Тутъ нѣтъ, конечно, и тѣни отрицанія самой науки, но никакія блага, приносимыя ею, не въ состояніи закрыть отъ автора негуманныхъ явленій, совершающихся во имя ея, и онъ протестуетъ вообще противъ ея деспотизма.

Никакою теоріею и никакими представлѣніями объ общественныхъ и государственныхъ стремленіяхъ невозможно было утишить скорбь Гаришина по жертвамъ страшной войны, которой онъ былъ свидѣтелемъ. Устами одного изъ персонажей (въ разсказѣ «Трусъ») онъ категорически заявляетъ свое право на чувство скорби передъ нечеловѣческимъ дѣломъ массовыхъ убійствъ. «Можетъ-быть это необходимо,—говоритъ онъ:—я *не берусь судить, да и не могу; я не разсуждаю о войнѣ и отношусь къ ней непосредственнымъ чувствомъ, возмущаемымъ массою пролитой крови*». Воображеніе облакаетъ для него извѣстія съ войны въ реальныя формы, усугубляющія его чувство. «Я ничего не могу дѣлать и не могу ни очень думать—пишетъ герой.—Я прочиталъ о третьемъ плевиенскомъ боѣ. Выбью изъ строя двѣнадцать тысячъ однихъ русскихъ и румынъ, не считая турокъ... Двѣнадцать тысячъ... Эта цифра то носится передо мною въ видѣ знаковъ, то растягивается безконечной лентой лежащихъ рядомъ труповъ. Если ихъ положить плечо съ плечомъ, то составитъ дорога въ восемь верстъ... Что же это такое?...» Такъ говоритъ лицо, которому, однако, пришлось добровольно отдать свою жизнь за общее дѣло, выразившееся въ этой войнѣ. Само собою разумѣется, что автору хорошо знакомы и мотивы войны, и ея—конечно, горестная—неизбѣжность, и слова его нѣсутъ тотъ усвоенный смыслъ, что страшное дѣло убійства сотенъ людей, несмотря на всѣ объясняющія его обстоятельства, все-таки

остается страшнымъ дѣломъ. Гаршинъ приглашаетъ своихъ читателей не забывать именно этого положенія, понимать и помнить непрестанно, что зло есть зло.

Авторъ своими ясными мыслями не разъ выражалъ, что настоящія нравственныя представленія выше тѣхъ, которыя растворены, разбавлены условными житейскими понятіями. Въ заключеніи «Надежды Николаевны» онъ высказывается въ этомъ смыслѣ съ особенною рельефностью и категоричностью. «Меня не судили,—говоритъ герой, въ уста котораго авторъ влагасть свою мысль.—«Дѣло» прекращено: было признано, что я убилъ защищаясь. Но для *человѣческой совѣсти* нѣтъ истинныхъ законовъ, нѣтъ ученія о невмѣняемости, и я несу за свое преступленіе казнь....»

Свободно, вдумчиво и независимо стоялъ Гаршинъ въ своихъ отношеніяхъ и къ литературѣ, и въ своихъ разсказахъ оставилъ также свидѣтельство объ этомъ. Герою разсказа «Надежда Николаевна» читаютъ, больному, новый романъ мистрисъ Гей: «Она думала, что это не такъ», напечатанный въ «Вѣстникѣ Европы». И вотъ, иногда, въ тѣхъ мѣстахъ романа, гдѣ, по замыслу г-жи Гей, нужно было бы смѣяться, горькія слезы душатъ ему горло, и это не потому только, что онъ мало слушаетъ томительное повѣствованіе, а потому, что авторъ грубже смотрѣлъ въ смыслъ явленій, и то, что вызывало у другихъ смѣхъ, вызывалось для него горькими слезами.

IV

Приведенные примѣры отношенія Гаршина къ явленіямъ общественной жизни раскрываютъ передъ нами душевный строй художника и даютъ опредѣлннѣйшее представленіе о его литературной физиономіи. Они даютъ ключъ къ пониманію нѣкоторыхъ произведеній Гаршина, истинный смыслъ которыхъ безъ этого ускользалъ бы отъ читателя. Какъ напр. понять, что одинъ изъ первыхъ писателей дѣлой эпохи посвящаетъ свой талантъ на изображеніе (къ разсказѣ «Медвѣди») того, какъ у дычана от-

бирали, т. е. собственно заставляли их самих убивать медведей, и отдавать свое горячее чувство зрѣлищу бѣдствія, постигшаго цыганъ. Справедливо было возразить противъ мысли автора тѣмъ, что уничтоженіе цыганскаго промысла съ медвѣдями было очень мудрымъ, необходимымъ полицейскимъ средствомъ для упорядоченія общественной жизни, что цыгане злоупотребляли своими медвѣдями, ложившимися, вмѣстѣ съ своими хозяевами, лишнимъ бременемъ на народъ, долженствовавшій въ концѣ-концовъ своими трудами оплачивать ихъ пропитаніе. Повидному, не было надобности жалѣть цыганъ и медвѣдей. Но если авторъ по поводу столь огромнаго, всѣхъ касающагося дѣла войны могъ сказать вышеприведенныя слова, то тѣмъ легче ему сказать о бѣдствіи цыганъ: «можетъ-быть, это необходимо, я не берусь судить, да и не могу; я отношусь къ факту непосредственнымъ чувствомъ, возмущаемымъ массою горя, постигшаго передъ моими глазами цыганъ...» Къ простому человѣческому чувству обращается авторъ своимъ рассказомъ, приглашая не разсуждать съ юридической и полицейской точки зрѣнія о фактѣ, а просто пожалѣть бѣдныхъ людей, ставшихъ жертвою хотя-бы и разумнаго предписанія. Любопытно, между прочимъ, что чувство автора, его мысль, не ослабленная полицейской сентенціей, настолько проста и жизненна, что ее разделяетъ и тотъ самый полицейскій приставъ, на долю котораго досталась не-пріятная обязанность приводить начальственное предписаніе о медвѣдяхъ въ исполненіе.

Но въ этомъ-же рассказѣ «Медвѣди» сказывается съ полной опредѣленностью и вѣчная тема думъ Гаршина, постоянная тема его рассказовъ. Видя, какъ злое въ человѣческой природѣ получаетъ преобладаніе въ жизни, обращаетъ въ пользу своихъ стремленій и науку, и искусство, и все то доброе, чего достигло человѣче ство, Гаршину естественно было придти къ печальному выводу, что добрыя, честныя стремленія должны разбиваться о препятствія, которымъ они встрѣчаютъ въ жизни. Мало того, сами стремленія, ничтожество личныхъ усилій справедливо возбуждаютъ въ насмѣхъ художникъ подостѣріе къ ихъ прак-

ческому значенію. Понятно, какъ должно было страдать горячее сердце автора. Скорбь, усиливаемая къ тому-же первою болѣзненностью, наложила на всѣ произведенія Гаршина свою тяжелую печать, отразившись не только на лирическомъ элементѣ его трогательныхъ разсказовъ, а и на самомъ выборѣ сюжетовъ, на содержаніи.

Въ этомъ смыслѣ всѣ разсказы автора въ сущности похожи на разсказъ «Медвѣди». Повсюду, въ каждомъ изъ нихъ порознь и во всѣхъ вмѣстѣ, проходитъ все одна первенствующая мысль; автора всюду поражаетъ противорѣчіе между добрыми стремленіями и идеями людей съ одной стороны и бѣдствіями, сопровождающими эти добрыя стремленія — съ другой. Мысль эта, видоизмѣняясь, приновляясь каждый разъ къ оригинальнымъ условіямъ каждаго разсказа, остается по существу все та-же. Даже самый первый разсказъ Гаршина—«Четыре дня», понятый совершенно въ другомъ смыслѣ, не совсѣмъ составляетъ исключеніе. Припомните только, что герой—«не хотѣлъ ала никому, когда шелъ драться; мысль о томъ, что и ему придется убивать людей, какъ-то уходила отъ него, и онъ представлялъ себѣ только, какъ онъ будетъ подставлять свою грудь подъ пули»,—припомните это и сопоставьте со страшнымъ результатомъ этихъ стремленій, убійствомъ и страданіями нравственными на полѣ битвы, и вамъ станетъ яснымъ, что и здѣсь мы имѣемъ дѣло все съ той-же темой, характерной для Гаршина.

А каждый дальнѣйшій разсказъ раскрываетъ эту мысль въ новыхъ формахъ и съ большею силою. Въ «Прокшествіи» передъ нами отвергнутая любовь честнаго человѣка къ падшей женщинѣ, обладающей, однако, честною душой, и въ результатѣ—смерть для одного и безконечныя мученія для другой. Въ «Трусѣ» безконечныя и мучительныя сомнѣнія въ разумности роли мыслящаго человѣка на войнѣ и, однако, — добровольное самопожертвованіе на ней. Въ «Художникахъ» одинъ, изъ любви къ искусству бросающій военную карьеру, приближается къ «тонамъ и тонкамъ», пишетъ «и рѣку и болото съ осокою, никогда не задумываясь—зачѣмъ»,—и живая жизнь уходитъ отъ него; а другой, живой че-

ловѣкъ и талантливѣйшій художникъ, приходитъ къ заключенію о безполезности искусства, бросаетъ его, чтобы идти въ народные учителя, — «но и тамъ не преуспѣваетъ» — жизнь обманываетъ и этого. Въ «Ночи» мучительно пережившій отчаяніе въ жизни и готовность къ самоубійству человѣкъ умираетъ именно въ тотъ моментъ, когда понялъ возможность и необходимость для него жить; какая ужасная насмѣшка жизни подъ человѣкомъ! Въ «Attalea princeps» пальма, стремившаяся пробиться на свѣтъ и воздухъ изъ душной теплицы, въ самый моментъ достиженія своей цѣли должна думать: только-то? и это все, изъ-за чего я томила и страдала такъ долго? И она сплывається, служа помѣхою всей оранжерей. Въ «То, чего не было» авторъ заставляетъ кучера Антона быть орудіемъ гибели цѣлой компаніи — кузнецика, ящерицы, жука и пр., только-что важно разсуждавшихъ о жизни вообще и о будущей жизни въ частности. Въ «Деньщикъ и офицеръ» — нелѣпое превращеніе работающаго мужика въ ничего недѣлающаго деньщика. Въ «Воспоминаніяхъ рядового Иванова» — капитанъ Венцель, тиранъ солдатъ по принципу и по натурѣ, плачетъ о сгибшихъ въ сраженіи подъ его предводительствомъ. О «Медвѣдяхъ» мы уже говорили. Въ «Красномъ цвѣткѣ» — высокое стремленіе принести счастье человечеству; но это стремленіе живетъ въ безумной головѣ и въ формѣ нелѣпѣйшей иллюзіи. Въ «Надеждѣ Николаевнѣ» все та же падшая женищина, что и въ «Пронисшествіи», вызывающая къ себѣ страстную любовь во всѣхъ, кто узнаетъ ее, успѣваетъ и сама полюбить; жизнь призываетъ ее къ себѣ, но въ этотъ именно моментъ она гибнетъ уже сама, вмѣстѣ съ тѣмъ, кого любить, отъ несчастнаго, несмыслинаго во-время завоевать ея любовь къ себѣ.

Мы перечислили почти всѣ произведенія автора, и во всѣхъ нихъ видимъ только страданіе, стоящій въ какомъ-то странномъ противорѣчій съ разумомъ, какъ-бы смѣющійся надъ его выводами и усиліями. Тамъ, гдѣ этотъ послѣдній является дѣятелемъ и стремится внести въ дѣятельность разумныя основы, является неожиданно страданіе, безполезное, безцѣль-

ное, которое уничтожаетъ въ насъ вѣру въ разумъ, въ его силу повести къ добру; тамъ, напротивъ, какъ въ «Встрѣчѣ», въ личности инженера Кудряшева, гдѣ страданія были справедливымъ возмездіемъ за погрѣшеніе разума и чести, — тамъ только именно и встрѣчается отсутствіе страданія.

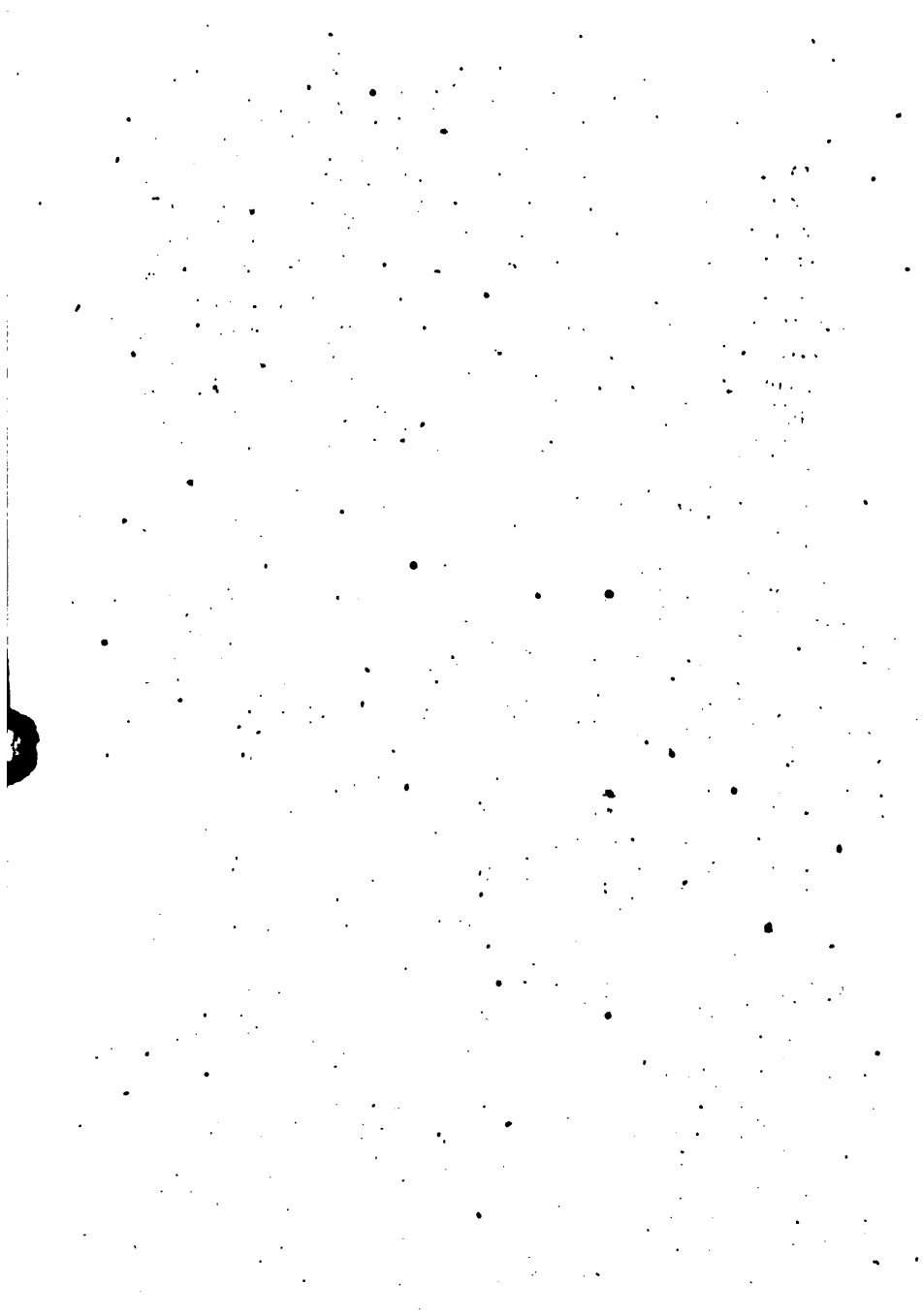
Мы видѣли выше, что нашъ авторъ послѣдовательно и справедливо не мирится съ господствовавшими негуманными теченіями, прикрывавшимися наукою, съ страшными выводами яко-бы общественной философіи и т. д. Гуманнымъ идемъ и стремленіемъ его, такимъ образомъ, нигдѣ не встрѣчали удовлетворенія, отвѣта. При яркой субъективности автора, его изощренный взглядъ всюду въ жизни открывалъ «безчеловѣчіе человѣка», говоря выраженіемъ Гоголя. Это несоотвѣтствіе идеалу было тѣмъ поразительнѣе именно въ тѣхъ случаяхъ, когда его ожидать не представлялось необходимымъ; авторъ нашъ на этихъ-то случаяхъ и долженъ былъ всего болѣе останавливаться. Такъ все сложилось, чтобы создать для него умственную атмосферу, весьма опасную, въ которой онъ долженъ былъ приближаться все къ большей и большей потерѣ вѣры въ жизнь, а осуществленія идеаловъ искать тамъ, гдѣ ихъ всего меньше можно было ожидать и встрѣтить, въ средѣ такихъ несчастныхъ личностей, какъ Надежда Николаевна. Для читателей Гаршина, незараженныхъ его недовѣріемъ къ жизни, его странныя и трогательныя повѣсти говорятъ, конечно, не этими отрицательными своими свойствами, а языкомъ гуманнаго чувства, живыми и плодотворными мыслями, способными сдѣлать насъ болѣе человѣчными.

Гаршинъ представляетъ собою писателя, въ которомъ столкнулись направленія двухъ различныхъ поколѣній. По своей натурѣ онъ былъ высокій идеалистъ, какимъ были люди нашихъ сороковыхъ годовъ; но «прекраснодушія» той эпохи, того исканія въ жизни, во всѣхъ ея явленіяхъ, отраженія идеала человѣка, а вмѣстѣ съ тѣмъ презрительнаго игнорированія грази житейской, — въ немъ не было. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ онъ былъ человѣкъ нашихъ дней — реалистъ, натуралистъ, если хотите, какъ и всѣ молодые писатели наши. Но — худо ли это

или хорошо, другой вопрос — люди, смотрящие на жизнь с реалистической точки зрѣнія, не предъявляютъ ей идеалистическихъ требованій. Гаршинъ, человѣкъ нашихъ дней, не могъ избѣжать воззрѣнія на жизнь чисто реалистическаго, натуралистическаго, но требованія къ ней, какъ идеалистъ, онъ предъявлялъ высоко идеалистическія. При этомъ противорѣчія жизни идеаламъ должны были получить въ его глазахъ огромные размѣры, столь огромные, что съ ними не помирится бы никакой человѣкъ. Этины быть-можетъ и объясняются какъ личная жизнь Гаршина, такъ и мрачный характеръ его произведеній.

Арсеній Введенскій.

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
VOLUME 10
PART 1
1900



КРАСНЫЙ ЦВѢТОКЪ

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in financial matters. The text suggests that organizations should implement robust systems to track and document every aspect of their operations, from procurement to sales.

2. The second part of the document addresses the challenges of data management in a rapidly changing environment. It highlights the need for flexible and scalable solutions that can adapt to new technologies and data sources. The author argues that organizations must invest in training and development to ensure their staff are equipped to handle complex data sets and analyze them effectively.

3. The third part of the document focuses on the importance of communication and collaboration within an organization. It stresses that clear communication channels and a culture of openness are vital for the success of any project or initiative. The text encourages leaders to foster a sense of team spirit and encourage their employees to share ideas and feedback freely.

4. The fourth part of the document discusses the role of technology in modern business operations. It explores various digital tools and platforms that can streamline processes and improve efficiency. The author notes that while technology offers many benefits, it also presents challenges, such as data security and privacy concerns, which must be carefully managed.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key points discussed and offers some final thoughts on the future of business. It concludes by emphasizing the importance of continuous learning and adaptation in a competitive market. The author encourages organizations to stay agile and open to change, as this will be crucial for long-term success.

* * *

Дѣтство нѣжное, пугливое,
 Безмятежно-шаловливое,
 Въ самый холодъ вѣшнихъ дней
 Лаской матери пригрѣтое
 И навѣки мной отпѣтое
 Въ дни безумства и страстей,
 Нынѣ всѣми позабытое,
 Подъ морщинами сокрытое
 Въ нѣдрахъ старости моей,—
 Для чего ты вновь встревожило
 Зимній сонъ мой—словно ожгло
 И повѣяло весной?
 Оттого, что вновь мнѣ слышится
 Голосокъ твой, легче-ль дышится
 Мнѣ съ поникшей головой?
 Не безъ думы, не безъ трепета,
 Слышу я наивность лепета:
 —Старче! развѣ ты—не я?
 Я съ тобой навѣки связано,
 Мной вся жизнь тебя подсказана,
 Въ ней сквозить мечта моя—
 Не напрасно вновь являюсь я,
 Твоей смерти дожидаясь я,
 Чтобъ припомнила и я
 Те, что въ дни моей безлечности
 Я забыла въ нѣдрахъ вѣчности,
 Те, что было до меня.

1888.

Я. Полонскій.

При посмліт поэмы «Бригильда» въ Надмилей въ Малой Азіи.

Моя Валкирія, дѣти
Сѣверъ и сѣверныхъ сіяній,
Теперь вѣсело залета,
Въ пору вѣсеннихъ ликоваій
Земли и моря и небеса,
На свѣтлѣй берегъ Пропонтиды,
Нашла-ль въ странѣ чужихъ чудеса?
У средной съ нею Аргоиды
Привѣтъ и ласковый прѣлѣтъ?
Или востальница юга
Сочла се: собѣ врагѣтъ,
И стали другъ протнву друга,
Движеньемъ бесотчетнымъ рукъ
Схватясь на мѣть, а та въ звукъ,
И съ вырывающей осанкой,
Предъ тѣмъ какъ конутся нѣтъ въ бой,
Духъ разжигаетъ похвальбой
И благородной перебранкой?..

2 апрѣля 1888.

А. Майковъ.

ЖЕНИХЪ

ПСИХОЛОГИЧЕСКІЙ ЭТЮДЪ

И былъ всю жизнь одинокъ.
(Изъ частнаго письма)

I.

Холодный свѣтъ сѣраго, ноябрьскаго утра слабо освѣщалъ на показъ убранный кабинетъ одного изъ лучшихъ петербургскихъ отелей, гдѣ уже нѣсколько мѣсяцевъ проживалъ Иванъ Дмитріевичъ Балангинъ. Тяжелыя штофныя драпиріи на дверяхъ и окнахъ, массивныя, аляповатыя рамы, украшавшія болѣе чѣмъ сомнительныя произведенія живописи, бронзовые часы на мраморной колоннѣ, потертый, пыльный коверъ во всю комнату, бархатная мебель, позолоченная люстра—показывали, что это помѣщеніе недешево.

На большомъ столѣ, заваленномъ бумагами, письмами, записками, медленно оплывала стеариновая свѣча, мѣшая свой свѣтъ съ проблескомъ утреннихъ сумерокъ.

Иванъ Дмитріевичъ еще не ложился, и утро неожиданно стало его одѣтымъ со вчерашняго дня. За послѣднее время это случалось съ нимъ часто, и тѣмъ не менѣе это каждый разъ непріятно удивляло его.

Мало того, онъ всякій разъ выносилъ такое впечатлѣніе, будто онъ наканунѣ началъ что-то очень важное, но не кончилъ и, пожалуй, опоздалъ, а кончить необходимо. То-же самое испытывалъ онъ и теперь—смутилъ, неопредѣленно и тѣмъ болѣе му-

чительно. Онъ ходилъ уже часа полтора изъ угла въ уголъ, все ускоряя шаги и сосредоточенно-туго глядя передъ собой.

Иванъ Дмитриевичъ былъ человекъ среднего роста, скорѣе полный, чѣмъ худой, стройный и сильный. На видъ ему можно было дать лѣтъ сорокъ, хотя ему не было и тридцати двухъ. Наружность его была одна изъ выгодныхъ съ перваго взгляда: высокій, умный лобъ, на который падали кольца темныхъ съ блескомъ волосъ; матово-блѣдное, продолговатое лицо съ нѣсколько выдающимися скулами, неправильнымъ носомъ съ под-вижными ноздрями, красиво очерченными губами и характернымъ твердымъ подбородкомъ. Большіе сѣрые глаза его, становившіеся въ иные минуты совершенно темными, были прекрасны, но взглядъ ихъ производилъ тяжелое впечатлѣніе. Опытному наблюдателю легко было подмѣтить, что особенность этихъ, такъ непріятно поражающихъ, глазъ заключалась въ томъ, что они никогда не соответствовали общему выраженію лица, были они ему и глядѣли упорно и тяжело, уставившись на предметъ, но не видя его и не стѣсняясь имъ, куда-то вдали сквозь него.

Въ иное время лицо Ивана Дмитриевича казалось гораздо моложе, какъ это свойственно очень нервнымъ, впечатлительнымъ и увлекающимся натурамъ. Самая манера держаться мѣнялась тогда у него: походка дѣлалась увѣреннѣе и спокойнѣе, исчезала привычка поводить плечами какъ-бы отъ внезапнаго ощущенія холода, голова нѣсколько закидывалась назадъ, и слегка сощуренные глаза ярлычно-самоувѣренно глядѣли впередъ.

Онъ зналъ это за собой и очень дорожилъ такими минутами, но онѣ становились все рѣже и рѣже. Онъ дѣлался такимъ только тогда, когда выходилъ на улицу, оживленную толпою. Поэтому онъ съ нѣкоторыхъ поръ носилъ улицу, не вообще улицу, а только ту, на которой много празднаго и безцѣльно снующаго люда, гдѣ можно встрѣтить знакомыхъ, слышать обычные разговоры и видѣть примелькавшіяся лица. Но, вернувшись домой, онъ весь съеживался, и та тоска, которая не покидала его цѣлый день, овладѣвала имъ окончательно и непреодолимо.

Иванъ Дмитриевичъ круто повернулъ, добди до угла, и оста-

новился. Въ немъ какъ-бы созрѣло какое-то рѣшеніе. Приблизившись къ столу, онъ началъ приводить въ порядокъ разбросанныя бумаги и письма. Онъ все перочиталъ въ эту ночь: маленькія записочки безъ подписи, авторовъ которыхъ онъ узнавалъ по запаху или цвѣту конвертовъ, дружескія посланія, записки— и передъ нимъ полно и ярко встала вся его прошлая жизнь съ такими подробностями, которыя онъ считалъ давно забытыми и которыя теперь изумили его самого.

— Надо сжечь, громко произнесъ онъ. Думать вслухъ давно стало его привычкой, какъ и разговаривать съ самимъ собой.

Онъ взялъ розовую атласную бумажку, исписанную тонкимъ женскимъ почеркомъ, и поднесъ ее къ догоравшей свѣчѣ. Бумажка затрещала и медленно затлѣла на огнѣ, образуя красивый, постепенно раздвигавшійся полукругъ. Иванъ Дмитріевичъ внимательно и задумчиво смотрѣлъ на этотъ полукругъ, который дѣлался то больше, то меньше. Вотъ онъ обратился въ сверкающее колеблющееся кольцо, потомъ въ огромное багровое пятно. Бумага почти вся сгорѣла, и огонь жегъ теперь пальцы Ивана Дмитріевича. Онъ до-адливно отдернулъ руку и выронилъ обуглившійся уголокъ. Неторопливо собралъ онъ цѣлую пачку разрозненныхъ листковъ и отнесъ ихъ къ камину. Потомъ вернулся опять къ столу и разсѣянно взглянулъ на него. На немъ еще видѣлось нѣсколько писемъ.

— И это сожгу, произнесъ онъ опять вслухъ.— Нѣтъ, всё не надо. Выберу самое хорошее и оставлю на память.

Онъ развернулъ одно письмо и прочелъ его; оно было коротко. Также скоро прочелъ онъ и второе и, наконецъ, вынулъ и сѣмша, взялся за третье. Вынимая его, онъ разорвалъ конвертъ отъ нетерпѣнія, но съ первыхъ-же строкъ не сталъ читать дальше. На лицѣ его явилось выраженіе тупой боли и злобы.

— Чтѣ же это? тихо проговорилъ онъ:— точно ихъ подмѣнили. Но вѣдь я помню-же, что съ трепетомъ получалъ ихъ, перечитывалъ по нѣскольку разъ и берегъ, берегъ до сихъ поръ. Почему же тогда они казались другими? Почему они были свѣтлѣе,

теплѣе, почему я такъ ждалъ, такъ горячо ждалъ ихъ и дорожилъ ими, какъ святыней?

Онъ съ тоской смотрѣлъ на пожелтѣвшіе, казенно-продолговатой формы конверты, съ твердо и четко написаннымъ адресомъ.

— Ивану Дмитріевичу Балангину, нѣсколько разъ тупо повторилъ онъ, приглядываясь къ почерку.

Онъ закрылъ глаза, и та, которая писала эти письма, поразительно ярко и живоенно предстала въ его воображеніи. Онъ помнилъ о ней и ночью, когда разбиралъ бумаги, но тогда его подавляли мелкія, лишнія, какъ ему казалось, воспоминанія. Теперь она одна выдѣлилась изъ всего пережитаго, неуязвимаго.

Одна она была самое нужное, самое главное, требовавшее исключительнаго вниманія. И теперь мысли о ней всецѣло поглощали его.

II.

Десять лѣтъ тому назадъ Иванъ Дмитріевичъ въ первый разъ встрѣтилъ случайно эту женщину и съ тѣхъ поръ никогда уже не могъ забыть ея. Онъ увидѣлъ ее на балу въ домѣ своихъ близкихъ родственниковъ. Она сразу не понравилась ему. Было что-то высокомерное и какъ будто враждебное во всей ея стройной фигурѣ, въ гордо поднятой головѣ, въ тонкихъ, слегка вздрагивавшихъ ноздряхъ, въ снисходительно-прихвѣливой улыбкѣ. Уже по тому, какъ вошла она, какъ, медленно оглянувъ все общество, отыскала хозяйку дома, какъ спокойно подошла къ ней и протянула маленькую сильную руку, какъ засѣдалась въ отѣтъ на любезность одного изъ кавалеровъ,—онъ заключилъ, что она чрезвычайно много о себѣ думаетъ, и съ неприязнью посмотрѣлъ на нее.

Никакъ нельзя было назвать ее красивой: слишкомъ ужъ неправильны, почти неожиданны были нѣкоторые черты ея подлиннаго, выразительнаго лица. Но все оно было такъ ярко, такъ ослепило какутри какихъ-то чуднымъ огнемъ, такъ лишено

всякой пошлости, что онъ съ удивленіемъ замѣтилъ, что его наблюденія послужили къ выгодѣ незнакомки и что кругомъ нѣтъ ни одной женщины, которая могла бы быть лучше ея, хотя многія были красивѣе ея. Особенно понравились ему ея глаза. Онъ только теперь хорошо разглядѣлъ ихъ и такъ-сказать понялъ ихъ. Большіе, темные, они смотрѣли изъ-подъ короткихъ густыхъ рѣсницъ, свѣтя лучистымъ, тихимъ блескомъ, который какъ-бы освѣщалъ то, на чемъ они останавливались. Въ выраженіи этихъ глазъ, въ томъ, какъ они раскрывались, взгляды на предметъ, и въ положеніи прямыхъ, чуть надломленныхъ посреднихъ бровей, лежало что-то до такой степени привлекательное, побѣдовосное, торжествующее и въ то-же время до того неизъяснимо-грустное, что онъ невольно залюбовался ими и тутъ-же сказалъ себѣ, что она должна быть добра и умна.

Она много и охотно танцевала, весело смѣялась и заставляла смѣяться другихъ. Въ ея манерѣ держать себя была замѣтна та привычка къ большому обществу, которою обуславливается отсутствіе робости и полное самообладаніе. Онъ узнавалъ, что она была небогатая дѣвушка, учившаяся въ одной гимназіи съ его сестрою, что она поступила теперь на курсы, очень серьезно занимается, что зовутъ ее Анна Леонтьевна и что ей двадцать лѣтъ. Въ концѣ вечера онъ былъ ей представленъ и пригласилъ ее танцевать. Она отвѣтила, что устала и что если онъ не соскучится, то она охотно поболтаетъ съ нимъ гдѣ-нибудь въ сторонѣ, издали смотря на танцующихъ. Онъ съ радостью согласился. Они сѣли на маленькій диванчикъ въ слабо-освѣщенной гостиной, гдѣ мягкіе ковры и драпьи заглушали звуки. Анна Леонтьевна тихо и не спѣша заговорила съ нимъ. Все, что она говорила, было очень обыкновенно, и онъ зналъ это, но все пріобрѣтало какое-то особенное значеніе, благодаря ея спокойному, ласкающему слухъ голосу и сіяющему, до нѣжности грустному взгляду прекрасныхъ глазъ. Онъ и самъ не замѣтилъ, какъ разговорился съ ней, какъ почувствовать желаніе раскрыть передъ нею свою душу и какъ можно скорѣе рассказать ей все. Она слушала молча, внимательно слѣдя за его

мыслью и какъ-бы боясь потерять хоть одно слово изъ того, что онъ говорилъ ей. И лицо ея, и поза, и протянутая къ нему рука—все въ ней было полно пониманія, участія и признатія. Онъ сознавалъ это всѣмъ существомъ своимъ, и душа его затрепетала отъ прилива благодарности и нѣжности. Ему вдругъ показалось, что онъ очень давно знаетъ ее и любить ее такъ, какъ сильнѣе и лучше любить нельзя. Какое-то томительное, тревожное волненіе охватило его.

— Анна Леонтьевна, робко проговорилъ онъ, чувствуя, какъ сердце его забилось скоро-скоро.— Анна Леонтьевна, пожалуйста, черезъ три года я кончу курсъ...

— Да, ну такъ что же?

— Подождите меня, не выходите до тѣхъ поръ замужъ, ужасно смутясь, почти плача, договаривалъ онъ.

Слабая улыбка показалась на губахъ Анны Леонтьевны. Потому эта улыбка сдѣлалась шире, заиграла въ углахъ рта, отразилась на щекахъ. Анна Леонтьевна неслышно засмѣялась. Но глаза ея не смѣялись. Они глядѣли серьезно, почти строго и наконецъ остановились на немъ. Ее поразило выраженіе тоскливой мольбы и робкаго смущенія на этомъ молодомъ лицѣ, и ей стало невыразимо жаль и его, и себя, и всѣхъ кругомъ.

— Къ тому времени, какъ вы кончите курсъ, все улыбалась, сказала она,—я буду ужъ стара, а вы будете еще такъ молоды, что не захотите жениться на такой старухѣ.

Онъ попробовалъ тоже улыбнуться и не могъ. Жгучее до боли чувство стыда за свою молодость, за то, что она считаетъ его мальчишкой и не можетъ серьезно относиться къ его словамъ, поднялось въ его груди. Онъ готовъ былъ зарыдать. Анна Леонтьевна угадала, что происходитъ въ немъ. Она взяла его руки и сочувственно-крѣпко пожала ихъ.

Онъ молчалъ, облитый глубокимъ волненіемъ.

Анна Леонтьевна скоро уѣхала.

Съ того времени, въ продолженіе многихъ лѣтъ онъ не зналъ о ней ничего и нигдѣ не встрѣчалъ ее. Но въ душѣ его навсегда поселился образъ этой женщины съ ласковымъ взглядомъ тем-

ныхъ, грустно-торжествующихъ глазъ и звучнымъ шопотомъ задушевнаго голоса. Иногда, засыпая, онъ вызывалъ въ своей памяти томительное, до боли сладостное ощущение ея женской ласки, полной материнской нѣжности и братскаго участія. Чувство глубокой благодарности постепенно выросло въ немъ въ страстное желаніе когда-нибудь, гдѣ-нибудь найти ее, ухватить къ ея ногамъ и сказать ей, что онъ не могъ забыть ея, что, какъ тогда, онъ любитъ ее.

III.

Но почему же такъ случилось? почему ея ласка такъ тронула его? въ чемъ была ея сила, и почему эта сила покоряла его? Онъ невольно еще дальше заглянулъ въ свое прошлое. Ему вспомнилось его дѣтство. Какъ оно далеко! Любить-ли онъ эту пору своей жизни? Должно-быть любить, хотя его дѣтство не было богато тѣми яркими и радостными впечатлѣніями, которыя съ такимъ восторгомъ и удовольствіемъ вспоминаютъ другіе. Тамъ все-таки было что-то хорошее, теплое, ясное, но неуловимое, почти не поддающееся выраженію. Почему изъ своей дѣтской жизни онъ не помнитъ ничего яркаго, рельефнаго? Все было слишкомъ обыкновенно, буднично, мутно, а главное нѣсколько мучительно.

Только одно воспоминаніе заставляетъ его сердце биться сильнѣе. Какъ хорошо помнить онъ тѣ вечера, когда онъ еще семилѣтнимъ ребенкомъ, лежа въ своей дѣтской, съ бѣлымъ пологомъ, кроваткѣ, съ нетерпѣливымъ трепетомъ ожидалъ возвращенія своей матери изъ театра или съ бала. Онъ знаетъ, что она зайдетъ къ нему. Заслышавъ шелестъ ея шелковаго платья, онъ напряженно закрывалъ глаза, между тѣмъ какъ его сердце билось, какъ птичка въ клеткѣ. Вотъ она подошла, наклоняется къ нему и тихо, нѣжно, боясь разбудить, цѣлуетъ его въ полуоткрытыя губки. Онъ не можетъ далѣе притворяться. Онъ скидываетъ ручки, крѣпко обвиваетъ ими ея шею и, задышавъ

и захлебывался от непонятного волнения и чувства горячей детской любви, лепечет въ забытых безсвязных, страстных рѣчи. Она наскоро креститъ его, шепчетъ, что она недовольна тѣмъ, что онъ такъ долго не спитъ, и онъ увѣряетъ, что заснетъ сейчасъ-же, «только не уходи, только не уходи». Онъ провожаетъ ее долгимъ, полнымъ любви, мольбы и тихаго укора, взоромъ и долго еще видитъ передъ собой ея удаляющійся образъ и слышитъ шелестъ ея платья. Онъ засыпаетъ наконецъ измученный и усталый, но счастливый и утѣшенный ея рѣдкой лаской.

— Бѣдный ребенокъ! бѣдный маленькій Ваня!

— Ахъ! да вѣдь это онъ самъ!

Она умерла рано, когда ему не было и девяти лѣтъ, но смерть ея не произвела на него сильнаго впечатлѣнія, по крайней мѣрѣ онъ не помнитъ его. Можетъ-быть онъ несовсѣмъ понялъ, что случилось. И притомъ мать всегда была для него прекрасной мечтой, и смерть не могла разрушить этой мечты. Онъ закрывалъ вечеромъ глаза и вызывалъ въ своей памяти ея образъ, который сталъ еще лучезарнѣе, еще плѣнительнѣе. Отца онъ никогда не любилъ. Ребенкомъ онъ не зналъ его, рѣдко видѣлъ и боялся его официальной, холодной наружности и того равнодушнаго, почти безразличнаго вида, съ которымъ онъ иногда ласкалъ его. Взрослымъ онъ попробовалъ сойтись съ нимъ, но это не удалось. Они не понимали другъ друга и тайнѣ чувствовали, что если поймутъ, то сдѣлаются врагами. Каждый замкнулся въ себя, ревниво охраняя свой внутреннй миръ.

Онъ росъ одиноко и сиротливо. Одиннадцать лѣтъ его отдали въ гимназію. Потянулись длинные, скучные, однообразные годы ученія. Казалось, и конца имъ не будетъ. Онъ припоминаетъ ихъ теперь, и въ его воображеніи они являются длинными, темными корридорами съ высокими, сѣрыми стѣнами и блѣднымъ просвѣтомъ впереди. Просвѣтъ этотъ—надежда, что годы эти пройдутъ когда-нибудь.

Сколько разъ приходится ему слышать, какъ люди съ восторгомъ вспоминаютъ пору ученія и жалѣютъ, что она минуетъ.

важ. Онъ не понималъ ихъ, и сожалѣніе это казалось ему страннымъ.

Онъ учился однако хорошо. Учителя говорили, что онъ очень прилеженъ, и жалѣли только, что онъ разсѣянъ. Но онъ не былъ разсѣянъ. Онъ былъ подавленъ всѣмъ, что его окружало; и всѣмъ, что его заставляло учить. Онъ понималъ и легко усваивалъ объясненія учителей, но онъ не понималъ самаго главнаго, чего-то такого, безъ чего отнимался всякій смыслъ отъ того, что было вокругъ него и въ немъ. Это непониманіе дѣлало его ко всему безучастнымъ.

Больше, чѣмъ безучастнымъ: оно дѣлало его несчастнымъ. Мысль о томъ, что онъ одинъ, совершенно одинъ, уже тогда смутно представлялась его уму. Но онъ еще многого ждалъ отъ жизни. Какъ онъ мечталъ объ университетѣ! Тамъ настоящая наука, истинное знаніе. Тамъ, наконецъ, товарищество, свои традиціи, живые интересы и еще что-то, о чемъ ему говорили всѣ учащіеся и учившіеся въ университетѣ. Но университетъ жестоко обманулъ его. Вмѣсто науки, онъ нашелъ тамъ полунауку. Съ товарищами онъ какъ-то не сходился. Университетъ оказался той-же гимназіей. Только учителя были поважнѣе и назывались профессорами, а ученики были постарше и имѣли званіе студентовъ. Потянулась та-же скучная, однообразная канитель. Какъ и въ гимназій, онъ нетерпѣливо ждалъ каждый годъ наступленія лѣта, чтобъ уѣхать въ деревню, гдѣ онъ чувствовалъ себя легко и хорошо, потому-что никто не мѣшалъ ему тамъ жить, какъ ему хотѣлось. Отецъ давалъ ему полную свободу. Лѣто онъ посвящалъ чтенію того, что ему нравилось и занимало его. Благодаря чтенію, онъ еще яснѣе началъ сознавать всю негнѣдность тѣхъ условій, которыми люди обставили свою жизнь.

Что же было нужно?

Онъ не зналъ тогда, какъ не знаетъ и теперь. Онъ зналъ только, что такъ жить нельзя, что должно быть что-то совершенно другое.

Отецъ его умеръ, когда онъ былъ на послѣднемъ курсѣ. Университетъ сдѣлался для него невыносимъ, и онъ одна не

оставилъ его. Онъ хотѣлъ бросить все и уѣхать въ изгнѣніе, оставленное ему отцомъ, но пока онъ собирался, время шло, и онъ кончилъ курсъ. Несмотря на то, что онъ всѣми силами торопился покончить съ университетомъ, онъ почувствовалъ, что ему почти жаль университетскихъ лѣтъ, потому-что теперь предстоитъ рѣшеніе, которое онъ хотѣлъ-бы отодвинуть какъ можно дальше. Онъ понималъ, что не готовъ къ нему и не сладить съ нимъ. Что же это было за рѣшеніе? Надо было рѣшить, какъ жить и чѣмъ жить.

До сихъ поръ жизнь шла «по плану», какъ говорилъ университетскій швейцаръ Карпычъ, т. е. по извѣстной программѣ, составленной кѣмъ-то, кому никакого не было дѣла до него, Ивана Дмитріевича, по которой онъ подчинился, находя, что это представляеть нѣкоторые удобства.

Теперь, въ первый разъ предоставленный самому себѣ, онъ не то, что боялся, а недоумѣвалъ. Что дѣлать? за что приняться? какъ жить? что признать за лучшее и что выбросить изъ жизни? Но пока онъ колебался и мучился всѣми этими неразрѣшенными вопросами, жизнь распорядилась за него и устроилась опять «по плану», независимо отъ него самого и въ такой формѣ, о которой онъ и не думалъ.

IV.

И по положенію, и по связямъ, и по состоянію, которое ему оставилъ отецъ, Иванъ Дмитріевичъ принадлежалъ къ тому кругу, который принято называть порядочнымъ, и къ числу тѣхъ людей, какиимъ слѣдуетъ быть. Благодаря всему этому, ему предложили мѣсто, а онъ принялъ его, какъ принялъ бы въ то время все, что бы ему ни предложили. Онъ рѣшительно не зналъ тогда, куда дѣвать себя.

Мѣсто, которое онъ занялъ, было создано именно для такихъ людей, какиимъ слѣдуетъ быть.

Оно не требовало ни особенныхъ умственныхъ способностей,

ни усидчиваго труда, и притомъ обладало еще огромнымъ преимуществомъ: на этомъ мѣстѣ можно было мало работать и много получать. Кромѣ того, у Ивана Дмитріевича, какъ у человѣка, какимъ слѣдуетъ быть, находилось въ подчиненіи нѣсколько человѣкъ, какими не слѣдуетъ быть. Они избавляли его отъ всякой работы. Впрочемъ, онъ былъ такъ наивенъ, что въ началѣ своей служебной карьеры вздумалъ было серьезно заняться дѣломъ. Но онъ скоро увидѣлъ, что дѣло это было такого сорта, что скорѣе теряло, чѣмъ выигрывало отъ серьезнаго къ нему отношенія. Тогда онъ попробовалъ исполнять возложенныя на него обязанности по возможности добросовѣстно, т. е. просиживалъ извѣстное количество часовъ и дѣлалъ самъ то, что могли за него сдѣлать другіе. Но онъ скоро замѣтилъ, что это обижаетъ его подчиненныхъ, почти пугаетъ ихъ. Тогда онъ сталъ поступать, какъ всѣ, занимавшіе подобныя должности: онъ старался какъ можно меньше времени посвящать службѣ и какъ можно больше бездѣлю, а всю работу взваливалъ на мелкихъ чиновниковъ, которые, впрочемъ, не только не обижались, но даже чему-то радовались.

У него образовался большой кругъ знакомыхъ, все такихъ же людей, какъ онъ самъ. Что за жизнь велъ онъ тогда! Онъ видитъ ее отсюда, и ему становится стыдно и гадко. И однако это пошлая, безобразная, негѣная жизнь, наполненная бездѣльемъ, кутежами, попойками, некрасивыми и скандальными исторіями, нравилась ему тогда. Нѣтъ, не нравилась. Она спасала его отъ другого, чего онъ боялся, она не давала ему думать, она такъ занимала все его время, такъ отупляла его умъ и чувства, что онъ становился другимъ человѣкомъ, забывался, и въ этомъ забвеніи было его спасеніе. Но все-таки и тогда червякъ, сосавшій его сердце, не умиралъ совсѣмъ. Онъ жилъ и втихомолку дѣлалъ свое дѣло.

Неясная, безпричинная и тѣмъ болѣе ужасная тоска и тогда посѣщала его. Онъ сдѣлался изобрѣтателемъ на способы къ развлеченію. И однако все такъ скоро надоѣдало ему. Онъ начиналъ

уставать отъ этой жизни. Онъ готовъ былъ бросить ее, и если еще не бросилъ, такъ только потому, что боялся.

Да, онъ боялся.

И вдругъ все оборвалось само собою. Во-первыхъ, онъ увидалъ ее. Это было вечеромъ. Онъ пошелъ отъ нечего дѣлать въ театръ по обыкновенію поздно, къ третьему акту. Онъ сидѣлъ въ креслахъ, разсѣянно любясь своими ногтями и изображая на лицѣ приличное пренебреженіе и равнодушную скуку. Онъ, конечно, не имѣлъ наивной, мѣщанской привычки не сводить глазъ со сцены, и потому, когда третій актъ начался, онъ все еще любовался своими ногтями, повидимому нимало не интересуясь тѣмъ, чтѣ дѣлалось на подмосткахъ. Вдругъ онъ услышалъ голосъ, который заставилъ его поднять голову. Со сцены на него глядѣли глаза. Они глядѣли на всѣхъ находившихся въ театрѣ и, казалось, видѣли всѣхъ вмѣстѣ и каждого отдѣльно. Къ этимъ глазамъ невольно приковывались взоры всѣхъ и его тоже. Гдѣ онъ видѣлъ эти глаза? чьи они? Онъ не помнилъ и нетерпѣливо ждалъ конца пьесы.

Представленіе кончилось. Онъ не пошелъ, по обыкновенію, за кулисы и ждалъ у двери, на которой стояло: «Входя постороннимъ лицамъ воспрещается».

Артисты выходили одинъ за другимъ, спѣша домой, сохраняя еще на лицахъ слѣды тѣхъ выраженій, которыя у нихъ были на сценѣ. Вотъ и она. Она не видитъ его. За нею идутъ нѣсколько человѣкъ, шумя, сѣясь, что-то громко разсказывая. Онъ бросился за ихъ веселой толпой на подѣздъ, взявъ извозчика и приказавъ ѣхать за ними. Онъ отсталъ, но видѣлъ, какъ вся компанія вошла въ дорогую гостиницу. Онъ почти сбѣжалъ туда.

— Кто дама, которая только-что пріѣхала? спросилъ онъ швейцара.

— Артистка Анна Леонтьевна Опѣгина, отѣтилъ тотъ.

Онъ сбросилъ ему на руки шинель и сказалъ:—Я ее знаю,—пошелъ по лѣстницѣ.

Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, онъ остановился.

— Въ какомъ номерѣ?

— Въ бель-этажѣ, прямо противъ лѣстницы, отдѣленіе номеръ второй.

Онъ взбѣжалъ наверхъ.

Передъ нимъ открытыя двери, изъ которыхъ несутся шумные голоса. Лакеи накрываютъ столъ. Онъ дошелъ до дверей гостиной и остановился. Ему стало досадно на себя за свою глупость. Въ какое неловкое положеніе онъ себя ставитъ! Но уже на встрѣчу ему съ дивана поднимается она, подходитъ и привѣтливо протягиваетъ ему руку.

— Здравствуйте, *женихъ!*

Послѣднее слово она говоритъ шепотомъ, только для него и говоритъ такъ, что ему сразу дѣлается понятно, что она помнитъ его такимъ, какимъ онъ былъ тогда, и дорожитъ этимъ воспоминаніемъ. Ему стало необыкновенно хорошо отъ этой мысли. Какъ эта женщина родна и близка ему! и какая она чудная красавица! Какъ это тогда онъ не замѣтилъ ея красоты? Онъ смотрѣлъ на нее и любовался ею. Она почти не измѣнилась. Только стала полнѣе, какъ будто выше, да глаза глядятъ еще грустнѣе и все та-же торжествующая улыбка. Какъ онъ любитъ и эту улыбку, и эти глаза, которые такъ похожи на его собственные. Въ цѣлый вечеръ ему не удалось поговорить съ нею наединѣ, но онъ чувствовалъ, что между нимъ и ею все время поддерживается какое-то таинственное общеніе. Мысль объ этомъ наполняла его сердце неизъяснимой радостью. Съ того дня онъ сталъ бывать у нея каждый день. Онъ приходилъ въ назначенный ею часъ, иногда немного раньше, иногда позже, и сидѣлъ, пока ему позволили. Они говорили немного, да и о чемъ стали бы они говорить другъ другу? То, что нужно было сказать, они уже сказали. По крайней мѣрѣ онъ зналъ, что она понимаетъ его, почти читаетъ въ душѣ его. Могъ-ли онъ не быть ей благодарнымъ? могъ-ли онъ не любить ея? Она одна пожалѣла его не тѣмъ обиднымъ сожалѣніемъ, къ которому онъ не могъ подать повода, и которое было бы ему невыносимо, а пожалѣла такъ-же, какъ и онъ жалѣлъ ее, чувствуя, что съ каждымъ днемъ растетъ и

укрѣпляется ихъ духовное сближеніе, и радуясь, что и она угадала въ немъ родную душу.

Рядомъ съ ней онъ становился опять тѣмъ благодарнымъ мальчикомъ, который въ первое свиданіе съ ней затрепеталъ отъ прилива невѣдомаго, неповторявшагося потомъ и не всѣмъ дающагося счастья. Черезъ двѣ недѣли она сказала ему, что убѣжаетъ въ провинцію.

Онъ почти испугался. Что будетъ съ ними?

— Я поѣду за вами.

Она подняла на него глаза, не удивляясь, а какъ-бы спрашивая о чемъ-то, и тихо промолвила:

— Зачѣмъ?

Зачѣмъ? Да развѣ онъ зналъ, зачѣмъ. Онъ хотѣлъ объяснить ей, почему ему нужно ѣхать за нею, хотѣлъ высказать что-то такое, что было необходимо для нихъ обоихъ, но взглянулъ на нее и ничего не сказалъ. Большіе, грустные глаза ласково, вѣжливо смотрѣли на него, какъ-бы умоляя о пощадѣ.

— Она несчастна! съ тоской подумалъ онъ.

Онъ остался въ Петербургѣ.

V.

Черезъ недѣлю онъ подалъ въ отставку. Онъ больше не могъ служить. Онъ разорвалъ всѣ прежнія знакомства и повелъ скромную, уединенную жизнь.

— Балаганивъ остепенился, говорили про него.

— У него разстроены дѣла, говорили другіе.

Онъ соглашался со всѣми, не находя нужнымъ возражать. Ему было не до того. Въ немъ совершалась важная внутренняя работа.

Онъ сталъ внимательно присматриваться къ людямъ, стараясь уяснить себѣ, какъ разрѣшали они тѣ вопросы, которые съ нѣкоторыхъ поръ волнуютъ и мучатъ его. Ему стало казаться, что всѣ они что-то скрываютъ и притворяются. Можетъ-быть имъ извѣстно то, отъ незнанія чего онъ такъ страдаетъ, но они не

хотятъ теперь и не захотятъ никогда подѣлиться съ нимъ. Какая ужасная мысль! Вся его жизнь стала тогда представляться ему однимъ изъ тѣхъ томительныхъ, скучныхъ и неудачныхъ дней, которые бываютъ у каждаго человѣка. Безконечно долго тянется такой день. Съ тоскливымъ нетерпѣніемъ ждешь ночи, а съ нею сна и отдохновенія.

А между тѣмъ иногда у него являлось желаніе остановить время, чтобъ рѣшить важный и необходимый для него вопросъ. Послѣ этого рѣшенія все должно было пойти по-новому. Но время летѣло съ непомѣрной быстротой, и каждый моментъ (это впечатлѣніе выросло у него въ ощущеніе) безвозвратно уносилъ съ собою частицу его жизни. Онъ зналъ, что въ этомъ рѣшеніи его спасеніе, но зналъ также и то, что никогда не найдетъ его. Онъ тогда въ первый разъ и на всю жизнь созналъ, что не только не понимаетъ, какъ и чѣмъ жить, но и не понимаетъ, зачѣмъ жить, и ужаснулся.

Онъ сталъ жалокъ самому себѣ. Тогда-же онъ понялъ, что тому преобладающему ощущенію, которое, какъ ему казалось, онъ испытывалъ всю жизнь, мучительному, унижительному, безотчетному и тѣмъ болѣе жестокому ощущенію было, наконецъ, найдено имя. Жалость къ самому себѣ. Онъ жалѣлъ себя съ перваго дня своей жизни, съ того момента, какъ впервые взглянулъ на свѣтъ и закричалъ безпомощно и рѣзко. О, конечно, онъ не могъ помнить того, какъ онъ родился, не могъ помнить и того, какъ его отняли отъ груди кормилицы, какъ у него прорѣзывались зубы, да и многого не помнилъ онъ изъ своей ранней жизни, а слѣдовательно, не могъ помнить и страданій; но онъ зналъ, что страданіе было, и эта мысль угнетала его. Впрочемъ, пока онъ еще не сознавалъ ея вполне ясно и отчетливо, пока она пряталась на днѣ души его, онъ еще ждалъ. Чего? Онъ и самъ не могъ отвѣтить на этотъ вопросъ, и это была его вторая мука, тоже безсознательная и тоже невыносимая.

Тогда-же у него явилось предчувствіе какого-то страданія недостойнаго, пустого, мелкаго—эта мысль была унижительна—и для него страшнаго.

Это предвкушение не явившейся, но уже существующей боли, было ужасно, какъ сама боль. Уйти, избавить себя отъ этой человеческой муки стало его постоянной мыслью. Онъ создалъ себѣ особый, отдѣльный міръ. Онъ сталъ жить воображеніемъ. Какія-то неясныя идеи, вѣрнѣе—обрывки идей, носились въ его головѣ, облеченныя въ смутныя, фантастическіе образы. Онъ полюбилъ ихъ. Они представляли постоянную возможность уйти изъ окружающей жизни и погрузиться въ море мечтаній.

Уйти, уйти... Но гдѣ-же исходъ? Развѣ нельзя найти себѣ какое-нибудь дѣло, полюбить его, отдать на него всѣ свои силы, создать себѣ если не жизнь, то подобіе жизни.

А деревня? Вѣдь у него есть имѣніе. Онъ поѣдетъ туда, займется хозяйствомъ, будетъ любоваться природой. Онъ любитъ и понимаетъ ее. Онъ помнить, съ какимъ восторгомъ онъ всякій разъ ѣхалъ изъ университета на лѣтнія каникулы.

Онъ уходилъ въ лѣсъ на цѣлый день совсѣмъ одинъ и никогда не скучалъ; мало того, былъ почти счастливъ. А садъ? Онъ любилъ этотъ запущенный, заросшій сѣдымъ репейникомъ и крапивой садъ, съ дорожками, густо покрытыми низкорослой, цѣпкой травой и блѣднорозовыми цвѣточками павилики, съ темными, почти непронскавшими солнца аллеями и искривленными, плохо принявшимися на черноземной почвѣ соснами. Только средняя дорожка, что шла отъ балкона, расчищалась каждую весну. Она вся была усажена кустами лиловой и бѣлой сирени, изъ-за которой смотрѣли темнелістые приземистые каштаны съ сѣрымъ стволомъ и густыми вѣтками пышныхъ, блѣдно-назовыхъ съ малиновыми усиками цвѣтовъ. А старый домъ? а рѣка? Да, все хорошо было тамъ, и надо, какъ можно скорѣе, ѣхать туда и начать жить другой жизнью.

VI.

Онъ уѣхалъ въ деревню.

Онъ горячо и съ любовью отдавался дѣлу, вставалъ съ зарей, самъ ѣздилъ въ поле, учился хозяйству и былъ такъ занятъ, что у него не оставалось времени на размышленія, некасавшіяся хозяйства и практической стороны жизни. Ему даже некогда было читать. Журналы неразрѣзанные валялись у него на столѣ. Онъ ограничивался тѣмъ, что проглядывалъ оглавленіе и тотчасъ-же отрывался по какому-нибудь дѣлу. За то, какъ внимательно провѣрялъ онъ бирки старосты, какъ аккуратно отмѣчалъ въ сельско-хозяйственномъ календарѣ все, что касалось погоды, времени сѣва, количества посѣяннаго хлѣба и урожая, на который можно было рассчитывать.

Теперь онъ смѣется, вспоминая это, а тогда онъ дѣлалъ все это совершенно серьезно, хотя по неопытности и неумѣнью нерѣдко забывалъ за пустяками то, что было поважнѣе. Впрочемъ, кромѣ неопытности, тутъ была еще другая причина. Дѣло въ томъ, что хозяйство было не необходимою и не любимыхъ занятіемъ, а только придуманнымъ средствомъ, чтобъ забыться. Это удалось ему на нѣкоторое время. Весна и часть лѣта прошли въ хлопотахъ, за которыми онъ не видалъ себя. .

Въ концѣ лѣта онъ почувствовалъ сначала усталость, а потомъ скуку. Хозяйственные заботы опротивѣли ему. Онъ тотчасъ-же и неопровержимо созналъ, что все это время онъ лгалъ самъ себя, и что впередъ ему уже не удастся обмануть себя. Самообманъ принесъ однако нѣкоторую пользу. Онъ сталъ лучше спать, больше ѣсть, состояніе его духа какъ будто сдѣлалось спокойнѣе.

Главное, надо постараться не думать о томъ и тотчасъ-же найти себѣ еще какое-нибудь дѣло. А пока онъ напишетъ ей, расскажетъ ей все, что съ нимъ было, она же пусть придумаетъ что-нибудь. Да даже, если не придумаетъ ничего, а только от-

вѣтить, уже это будетъ хорошо. Онъ написалъ ей и немедленно получилъ отвѣтъ. Письмо было коротко, холодно, не такое, какого онъ ждалъ, не это было ея письмо, и онъ обрадовался ему. Ему улыбалась мысль завести съ ней переписку, вызвать ее на откровенность и самому относиться къ ней совершенно искренно. Онъ чувствовалъ потребность раскрыть передъ кѣмъ-нибудь свою душу, а кто же, какъ не она, все пойметъ, все проститъ и можетъ-быть утѣшить. Онъ написалъ ей еще два раза; она отвѣчала. Последнее ея письмо онъ перечитывалъ по нѣскольку разъ. Она звала его въ Петербургъ, говорила, что въ концѣ августа непременно придетъ туда и хочетъ его видѣть. Это письмо пробудило въ немъ неясную надежду на какое-то счастье, на что-то хорошее и свѣтлое впереди. Въ этомъ письмѣ былъ намекъ на то, что они оба знали и раньше, но что только теперь въ первый разъ сказали себѣ. Но онъ-то почему не подумалъ объ этомъ прежде? какъ могъ онъ позволить тогда ей уѣхать безъ себя? Онъ долженъ былъ тогда-же все высказать ей. И онъ не мучился бы, не страдалъ бы такъ. Счастье было въ его рукахъ, но и въ него онъ внесъ свое обидное недоумѣніе. Онъ повѣрилъ ему только на одну минуту и въ слѣдующую уже отвернулся отъ него и тогда почувствовалъ себя еще безпріютнѣе, еще несчастнѣе. Но все еще можно поправить, все можно вернуть. Къ ней, къ ней! Чего онъ хотѣлъ отъ этой женщины? кѣмъ представлялъ онъ ее себѣ? женой, хозяйкой дома, матерью своихъ дѣтей? любовницей? Ничего подобного ему не приходило въ голову. Ему хотѣлось только одного: знать, что она близко, что онъ, когда хочетъ, можетъ прийти къ ней, видѣть ее, сѣсть у ея ногъ, положить къ ней на колѣни свою бѣдную, усталую голову и плакать, плакать до изнеможенія, до потери сознанія. Онъ отдохнетъ около нея. Онъ, какъ тогда въ Петербургѣ, будетъ по цѣлымъ днямъ сидѣть у нея и чувствовать, что радостъ бьется родное ему сердце, что на него смотрятъ ея милые, чудные глаза. Онъ самъ себѣ не умѣлъ рассказать, что звалъ и манило его къ ней. Онъ зналъ только, что около нея

жизнь, и что она любит его. Онъ тогда былъ увѣренъ въ этомъ.

Въ концѣ августа онъ полетѣлъ въ Петербургъ. Онъ пріѣхалъ счастливый, веселый, полный надеждъ. Онъ никогда не помнилъ себя такимъ. У него точно выросли крылья. Онъ справился о ней въ гостиницѣ, гдѣ она обыкновенно останавливалась. Ея не было. Вѣрно, еще не пріѣхала. Онъ подождетъ, будетъ ждать сколько угодно. Вѣдь онъ все-таки увидитъ ее. Какъ они встрѣтятся? что онъ скажетъ ей? Его восторженное настроеніе продолжалось, но и нетерпѣніе увеличивалось. Онъ написалъ ей по тому адресу, куда писалъ прежде, и не получилъ отвѣта. Имъ овладѣло безпокойство. Что съ ней? или она не хочетъ? можетъ-быть больна, уѣхала еще куда-нибудь? Онъ сталъ наводить справки. То, что онъ узналъ, было ужасно. Она умерла. Онъ сначала не повѣрилъ. Она была вся жизнь, и рядомъ съ ней не было мѣста представленію о смерти. Отчего онъ ни разу не подумалъ, что она могла умереть?

Умерла! Тулая, безсплная ярость къ чему-то бессмысленному, слѣпому и неумолимому поднялась въ немъ. Это была страшная несправедливость, которая возмущала всю его душу и съ которой онъ не могъ помириться. Развѣ онъ можетъ простить ея смерть? Тутъ не одно только горе, страданіе, — тутъ безопадный, страшный приговоръ ему самому.

Онъ остался въ Петербургѣ, не зная, зачѣмъ, но зная, что уѣхать нельзя. Онъ живетъ здѣсь вотъ ужъ три мѣсяца, безучастно относясь ко всему окружающему. Онъ не имѣетъ опредѣленныхъ привычекъ, не заботится о своихъ удобствахъ, не думаетъ о дѣлахъ. Онъ отлично сознаетъ, почему это такъ. Очень просто. Онъ еще не пришелъ къ окончательному рѣшенію, но знаетъ, что все это на-время и на короткое время. Онъ позволяетъ лакеямъ распоряжаться своей особой. Они сами назначили часъ его завтрака, обѣда, ужина. Онъ ничего не имѣетъ противъ этого. Его единственный протестъ развѣ только въ томъ, что онъ не завтракаетъ, не обѣдаетъ и не ужинаетъ. Да, у него плохой аппетитъ. И что за безпорядокъ кругомъ! Точно онъ се-

годня уѣзжаетъ. Да вѣдь онъ и вправду не-сегодня-завтра уѣдетъ. Всѣ это знаютъ. Вся прислуга знаетъ это, и на лицѣ служащаго ему официанта онъ каждый день читаетъ вопросъ: изволите ѣхать? Нѣтъ еще. Но не потому, чтобъ онъ откладывалъ. Онъ только твердо увѣренъ, что онъ тутъ ни при чемъ, что все сдѣлается само собой, не спрося его, и что ни отдавать, ни приблизить минуты онъ не можетъ.

Онъ это зналъ уже тогда, когда ему сказали, что ея нѣтъ. Онъ зналъ это и тогда, когда покупалъ себѣ револьверъ, хорошенькую любимую нитъ игрушку, и когда позднѣе онъ приобрѣлъ флаконъ съ хлороформомъ. Вотъ почему онъ не спѣшитъ. Тутъ что-то сильнѣе его. Оно всегда можетъ уничтожить его, и онъ безсиленъ помѣшать своему уничтоженію. Нужно только, чтобъ оно не застало его врасплохъ. Надо сжечь всѣ бумаги и письма. Это надо сдѣлать непременно сегодня и даже сейчасъ, потому что онъ можетъ не успѣть. Сжечь, сжечь!

VII.

Вотъ о чемъ думалъ Иванъ Дмитріевичъ въ это холодное, сѣрое ноябрьское утро. Свѣча почти вся сгорѣла, и бумага, которою она была обернута, начинала тлѣть. Иванъ Дмитріевичъ потушилъ ее. Который часъ? Богъ знаетъ. Онъ давно потерялъ счетъ времени. Да и на что ему знать время? Развѣ не все равно—вечеромъ или утромъ, днемъ или ночью ходить по комнатѣ и говорить съ самимъ собою. Онъ позвонилъ и велѣлъ затопить каминъ. Пока слуга растапливалъ его, Иванъ Дмитріевичъ перешелъ. Слуга ушелъ.

Иванъ Дмитріевичъ взялъ приготовленную нитъ пачку писемъ и бумагъ и, положивъ ее на огонь, сѣлъ на обитый ковромъ полъ тутъ-же у каминъ и, не сводя глазъ, смотрѣлъ, какъ она горѣла. Онъ смотрѣлъ на то, какъ каждый листокъ поднимался вверхъ, завертывался огненной стружкой, обливался сначала ярко-розовымъ свѣтомъ, потомъ вдругъ вспыхивалъ весь ровнымъ

желтымъ пламенемъ, отрывался и уносился въ трубу. А вслѣдъ ему уже слѣдъ другой такой-же листонокъ, а потомъ третій, четвертый и еще, еще—безъ конца. Наконецъ они всѣ сгорѣли. Огонь весело трещалъ въ каминѣ. Огненные искры поднимались отъ дровъ и, закрутившись, стремительно улетали вверхъ. Иванъ Дмитріевичъ вдругъ почувствовалъ, что у него на душѣ стало легко, почти весело. Онъ обрадовался этому чувству. Неожиданно мысли его приняли игривое направленіе. Ему захотѣлось смѣяться, шалить. На него и прежде находили такіе порывы, но это было уже давно. Тогда еще онъ кутилъ, жупровалъ здѣсь, въ Петербургѣ, поддерживалъ дружескія связи со «всѣми нашими» и увлекался Миной.

Кстати, Мина! Онъ поѣдетъ къ ней и сегодня-же. Какъ это онъ могъ совсѣмъ забыть ее, эту пикантную, веселенькую Мину, русскую, выдававшую себя за француженку и извѣстную въ ихъ кружкѣ умѣньемъ болтать самый безцеремонный, милый вздоръ, который тѣмъ болѣе возбуждалъ смѣхъ, тѣмъ былъ бессмысленнѣе. Разумѣется, онъ поѣдетъ къ ней. Она развлечетъ его. Она такая смѣшная. Припоминная анекдоты, которые ходили на ее счетъ между молодежью, онъ искренно и весело засмѣялся. Лицо его еще сохраняло веселое, лукавое, какъ-бы подмигивающее выраженіе, когда онъ сѣдлся на извозчика.

— Куда прикажете, ваше сіятельство?

Иванъ Дмитріевичъ назвалъ улицу и домъ.

Знакомый извозчикъ, который возилъ его уже нѣсколько лѣтъ, усмѣхнулся и, почтительно-фамильярно обернувшись къ нему, произнесъ:

— Давненько не изволили бывать, Иванъ Дмитріевичъ.

— Что дѣлать, братецъ,—дѣла. Не до того было, отвѣтилъ привычной фразой Балагангінъ.

Съ нѣкоторыхъ поръ онъ такъ привыкъ ссылаться на какія-то невѣдомыя ему самому дѣла, что, кажется, и самъ теперь сталъ вѣрять, что эти дѣла были дѣйствительностью, а не фикціей.

Веселое настроеніе духа продолжалось.

Воспоминанія были все пріятныя, какъ-то отдаленно стоявшія

отъ всего остального, неизбѣжна никакой связи съ тѣми тупыми, безцѣнными ощущеніями, которыя переполняли повременаго его внутренній міръ.

«Très-crâne, la potitel du galbe et du gestel» вспомнилось ему вдругъ. Эту фразу онъ слышалъ отъ француза, ужинавшаго какъ-то съ нимъ и съ Миной. Она очень понравилась ему тогда, и теперь онъ съ удовольствіемъ повторилъ её.

Du galbe, du galbe...

Что это такое galbe? Да, это вотъ что! И въ воображеніи его нарисовались густо напудренные плечи Минны, выступавшія изъ низко вырѣзаннаго корсажа, полная шея, туго перетянута таліа, соблазнительно колеблющаяся походка и пухлые бѣлые руки съ ямочками на локтяхъ, подкрашенныхъ карминомъ.

Миша давно не видала его и обрадовалась ему. Онъ пробылъ у нея цѣлый день, удивляя ее своимъ веселымъ расположеніемъ духа, болталъ съ ней всякій вздоръ и увѣрялъ, что она прелестъ, и онъ не шути влюбленъ въ нее. Вечеромъ онъ вздумалъ повести ее ужинать въ ресторанъ. Миша сидѣла на диванѣ передъ столомъ, на которомъ стояли закуски, фрукты и ликёры.

Иванъ Дмитріевичъ не садился за столъ и ходилъ по комнатѣ. Ему не хотѣлось ѣсть, и видъ стола, заставленнаго блюдами, раздражалъ его. Онъ изглянулъ на Минну, которая гнѣвно ошпыливала вѣточку винограда и пила маленькими глотками ликёръ. Лицо ея показалось ему глупымъ, грубымъ. Что-то брезгливое и злое поднялось въ его душѣ. Онъ хотѣлъ сказать ей какую-нибудь дерзость, но удержался и только замѣтилъ:

— Вы очень раскрасѣлись. Это къ вамъ нейдетъ. Вы много пьете.

— Вовсе нѣтъ. Здѣсь жарко.

Иванъ Дмитріевичъ вынулъ изъ бумажника три радужныхъ, сложилъ ихъ вѣеромъ и, водѣвъ къ Минѣ, сталъ обнаживать ей лицо и шею.

— Подарите мнѣ одну, желаніе исполнила она.

Иванъ Дмитріевичъ пощелъ плечомъ.

Миша надулъ губы.

Ему показалось, что онъ обидѣлъ ее. За что же? И потому ему совсѣмъ не нужны эти деньги, онъ знаетъ это. А ей можетъ-быть и вправду нужны. Да, наконецъ, пусть покупаетъ себѣ, что вздумается, если это ее тѣшитъ. Онъ положилъ передъ ней всѣ три бумажки. Она сначала не повѣрила; потомъ свернула ихъ въ тонкую трубочку и съ торжествомъ засунула за корсажъ.

— Вотъ теперь вы милый, сказала она.—Поѣдьте кататься. Здѣсь скучно.

— Отличная мысль. Поѣдемъ, тотчасъ-же согласился Иванъ Дмитриевичъ.

Дорогой Мина развеселилась и безъ умолку болтала. Иванъ Дмитриевичъ ея не слушалъ.

— Поѣдьте въ «Каскадъ», предложила Мина.

— Ахъ, полно, пожалуйста, съ какой стати, съ досадою возразилъ Иванъ Дмитриевичъ. Ему вдругъ неудержимо захотѣлось вернуться къ себѣ въ номеръ, сѣсть передъ пылающимъ каминъ, чувствовать себя совершенно одинокимъ—онъ любилъ это чувство полного одиночества—и думать тупо, напряженно, все объ одномъ.

— Если еще не надобно, ты можешь ѣхать, куда угодно, обернулся онъ къ Минѣ:—а я сейчасъ хочу домой.

— Ужинъ, бутылку лафита и затопить каминъ, приказалъ онъ, вернувшись къ себѣ. Когда все было исполнено, онъ заперъ номеръ, отыскавъ въ письменномъ столѣ уцѣлѣвшія отъ сожженія письма и, держа ихъ въ рукѣ, опустился по своей привычкѣ на полъ у камина. Онъ зналъ эти письма наизусть и не хотѣлъ читать ихъ и возобновлять неприятное впечатлѣнiе, полученное имъ при чтенiи ихъ сегодня утромъ. Онъ теперь понималъ, почему прежде они казались ему иными.

Прежде изъ-за строкъ этихъ писемъ онъ видѣлъ ея глаза, ея улыбку, мягкій жестъ руки, которыми она обыкновенно сопровождала свою рѣчь. Прежде рядомъ съ этими письмами являлось представлѣнiе чего-то яркаго, жизненнаго, свѣтлаго и теплаго, что животворило ихъ и дѣлало ихъ такими, какими онъ

любилъ и берегъ ихъ. А теперь онъ смотритъ на нихъ и въ воображеніи его встаетъ что-то холодное, страшное, застывшее, мертвое... Онъ издрогнулъ и бросилъ ихъ въ огонь. Онъ не смотрѣлъ, какъ они горѣли. Онъ думалъ о другомъ. Онъ думалъ о томъ, что онъ любилъ эту женщину, хотя самъ не понималъ того, какъ и за что любилъ ее. Онъ зналъ только, что съ ней все было тепло и свѣтъ, а безъ нея все—мракъ и холодъ. А она? Любила-ли его она? Нѣтъ, она не любила его, да и никого не любила эта женщина-сфинксъ съ свѣтлымъ челомъ, съ страдальческимъ выраженіемъ сіяющаго торжествомъ лица, съ затаенной грустью въ глубокихъ, блестящихъ глазахъ. А можетъ-быть и она любила его? Но все равно. Онъ только знаетъ, что безъ нея онъ не живетъ и не жилъ всѣ эти ужасные, какъ кошмаръ, мѣсяцы, и не будетъ жить, по крайней мѣрѣ не останется больше здѣсь. Надо уйти отсюда и какъ можно скорѣе, завтра-же. Но куда уйти? И вдругъ. лицо его освѣтилось надеждой, почти радостью. Онъ уѣдетъ за границу.

Какъ могла ему не прийти раньше эта мысль? Какъ могъ онъ, человѣкъ независимый, ничѣмъ несвязанный, обладающій состояніемъ, не подумать объ этомъ раньше? Кстати о состояніи. Онъ даже не знаетъ, есть ли оно у него, и какое. Все это время онъ не давалъ себѣ труда прочитывать аккуратно присылаемыя изъ мѣніи письма управляющаго. Можетъ-быть у него ничего нѣтъ. Но это, разумѣется, нисколько не мѣняетъ дѣла. Онъ твердо вѣрилъ въ то, что, при сильномъ желаніи, разстоянія и препятствія не существуютъ. Онъ не могъ себѣ представить, чтобы можно было захотѣть уѣхать и чтобы отъѣзду могло помѣшать такое ничтожное обстоятельство, какъ неимѣніе денегъ. Онъ не зналъ, что сдѣлалъ бы въ такомъ случаѣ: взялъ бы взаймы, заработалъ бы, наконецъ отправился бы пѣшкомъ. Все равно, способы сами найдутся. Нужна только воля. Воля, онъ зналъ это, у него была, и несокрушимая. Но у него, вѣроятно, найдутся и деньги. Можно заложить нѣмнѣе, если оно еще не заложено. Ахъ, да что объ этомъ думать! Это самое послѣднее. За границу, за границу! Вотъ гдѣ онъ обожится душой и сдѣлается другимъ человѣ-

комъ. Тамъ совсѣмъ другая жизнь, другіе люди. Тамъ небо, лѣсъ, рѣки, все должно быть другое. А горы? а море? Онъ никогда не видалъ ихъ. Онъ зналъ ихъ только по картинамъ, но всегда любилъ ихъ, не отдавая себѣ въ томъ отчета. Заграницу, заграницу! Иванъ Дмитріевичъ почувствовалъ, что усталъ.

Вотъ уже нѣсколько мѣсяцевъ, какъ онъ положительно ничего не дѣлаетъ и все время проводитъ, лежа на диванѣ, или сидя въ мягкомъ креслѣ, но никогда раньше не испытывалъ онъ такого болѣзненного, мучительнаго утомленія. Все тѣло его ныло, какъ разбитое, и каждое его движеніе сопровождалось ощущеніемъ ужасной усталости, почти страданія.

Каминъ тихо погасалъ. Послѣднія головки, догорая, обращались въ кучу сѣраго пепла. Пламя, отражаясь на бѣлыхъ, тюлевыхъ гардинахъ, обливало ихъ ровнымъ, нѣжно-розовымъ заревомъ.

Иванъ Дмитріевичъ поднялся съ пола, поспѣшно раздѣлся и бросился въ холодную постель. Онъ заснулъ мгновенно тѣмъ тяжелымъ сномъ, который вотъ ужъ два мѣсяца посѣщалъ его. Этотъ сонъ продолжался отъ двухъ до четырехъ часовъ и былъ такъ крѣпокъ, что ничто не могло нарушить его. Сознаніе иногда бодрствовало. Иванъ Дмитріевичъ слышалъ и понималъ все, что дѣлалось кругомъ, — слухъ становился при этомъ особенно тонокъ, — но тѣло его продолжало сохранять неподвижность. Онъ не могъ раскрыть ротъ, поднять отяжелѣвшія вѣки, переложить ногу, протянуть руку.

Каждый разъ послѣ такого сна Ивану Дмитріевичу казалось, что съ пробужденіемъ прекращался какой-то дикій, угнетающій кошмаръ. Такимъ сномъ заснулъ онъ и теперь.

VIII.

Проснувшись на другой день, Иванъ Дмитріевичъ медленно провелъ рукой по покрытому мелкими каплями холоднаго пота лбу съ прилипшими къ вискамъ влажными волосами и рѣшился,

что надо брать. Куда? Объ этомъ онъ не думалъ. Онъ сталъ одѣваться такъ, какъ обыкновенно одѣвался за послѣднее время. Быстро причесавшись, онъ бросался въ кресло, какъ-бы желая отдохнуть отъ только-что испытаннаго напряженія, пока также стремительно не начиналъ умываться, послѣ чего опять садился отдыхать.

Такимъ образомъ туалетъ его длился иногда цѣлые часы. Онъ всегда имѣлъ привычки порядочнаго человѣка и сохранялъ ихъ и теперь независимо отъ себя самого, единственно потому, что всегда такъ было, и никогда не было иначе. Но на этотъ разъ онъ видимо заботился о своей виѣшности. Онъ причесался къ лицу, выбралъ красивый галстукъ, даже надушился, чего уже давно съ нимъ не случалось.

Было уже поздно, когда Иванъ Дмитріевичъ былъ наконецъ готовъ. На улицахъ скоро зажгутъ газъ. Иванъ Дмитріевичъ оглянулся кругомъ. Въ комнатѣ стоялъ тотъ сѣрый полумракъ, который былъ такъ ненавистенъ ему. На его мутномъ фонѣ, какъ черное пятно, выдѣлялся потухшій каминъ. Нетронутый ужинъ и непочатая бутылка лафита еще стояли на столѣ. Ивану Дмитріевичу вдругъ показалось, что здѣсь и сыро, и холодно, и неуютно. Ему стало жутко. Голова его была тяжела, въ глазахъ его стоялъ какой-то туманъ. Онъ поспѣшно накиннулъ шинель и вышелъ изъ номера.

Спускаясь по лѣстницѣ, онъ замѣтилъ, что голова его сильно кружится. Что, если онъ упадетъ? Онъ принудилъ себя посмотреть внизъ и ужаснулся. Это не лѣстница. Онъ не различаетъ ступенекъ. Онъ видитъ только что-то безконечно длинное, бѣлое. Да это ледяная гора! Онъ катится по ней быстро, быстро до самаго низу, разбиваясь въдребезги. И такъ внизу уже не будетъ его, а только то, что останется отъ него: окровавленные куски мяса, раздробленные кости и цѣлыя дужи крови, его крови! Иванъ Дмитріевичъ тряхнулъ головой, чтобъ отогнать отъ себя это ужасное представленіе. Что это съ нимъ? ужъ не бредитъ-ли онъ? Нѣтъ, это все разстроженные нервы. Этотъ проклятый сонъ не осѣняетъ его, онъ только утомляетъ и уноситъ его послѣд-

нія силы. Вдругъ подавляющая мысль посѣтила его. Неужели сейчасъ будетъ то? Не можетъ быть. То всегда является внезапно, неожиданно, то поражаетъ вдругъ, какъ громъ. Нѣтъ, это голова болитъ, голова кружится. И въ то-же мгновенье мучительная, невыносимая тоска по чемъ-то невѣдомомъ, родномъ и далеко въ поднялась въ его груди и захватила дыханіе. Вся душа его устремилась въ восторженномъ порывѣ отъ земли къ небу. Огненная стрѣла упала сверху и пронизала его мозгъ. Страшный нечеловѣческій вздохъ, почти вопль вырывается изъ его груди. Этого вопля не выдерживаетъ слабое тѣло и, все сотрясаясь, неживое упадетъ на землю.

Иванъ Дмитріевичъ очнулся у себя въ номерѣ. Онъ лежалъ на диванѣ. Подъ головой у него была подушка. У стола сидѣлъ докторъ. У дверей въ той позѣ, которая выражаетъ постоянную готовность летѣть и все исполнить, стоялъ лакей. Иванъ Дмитріевичъ открылъ глаза, но тотчасъ-же опять закрылъ ихъ. Онъ закрылъ ихъ не потому, что хотѣлъ спать, и не потому, что свѣтъ зажженной свѣчи утомлялъ его, но потому, что ему хотѣлось, чтобъ его приняли за спящаго и оставили въ покоѣ.

Несводившій съ него глазъ докторъ замѣтилъ его взглядъ и наклонился къ нему.

— Ну, какъ вы себя чувствуете?

Иванъ Дмитріевичъ сообразилъ, что доктору извѣстно, что онъ не спитъ.

Онъ раскрылъ глаза.

— Благодарю. Совершенно хорошо. Голова закружилась.

Говоря это, онъ ощущалъ, какъ имъ все болѣе и болѣе овладѣваетъ знакомое ему и непріятное чувство смущенія. Оно всегда являлось у него послѣ припадковъ, и онъ никогда не могъ преодолѣть его, хотя, странное дѣло, почти любилъ свою болѣзнь и въ глубинѣ души даже гордился ею.

— Вы вѣрно хотите спать, сказалъ докторъ:—спите. Мы не будемъ вамъ мѣшать.

— Который часъ?

— Семь часовъ.

Иванъ Дмитріевичъ проспалъ два часа. Онъ давно уже не спалъ такимъ хорошимъ, крѣпкимъ и здоровымъ сномъ. Онъ чувствовалъ, что отдохнулъ и былъ бодрѣе обыкновеннаго. Правда, голова все еще была тяжела, немного ныла спина и болѣлъ затылокъ, какъ всегда послѣ припадка, но въ общемъ ему было хорошо. Чувство глубокаго, торжественнаго покоя охватило все его существо. Онъ испытывалъ то ощущеніе, которое бываетъ у выздоравливающихъ послѣ тяжелой болѣзни, когда человѣкъ еще слабъ и безпомощенъ, но силы его прибавляются постепенно и замѣтно, и все наболѣвшее тѣло отдыхаетъ въ сладкой, лѣнивой истомѣ. Иванъ Дмитріевичъ вспомнилъ, что упалъ, собирался уходить. Куда же онъ шелъ? Онъ забылъ, но онъ знаетъ, что долженъ ѣхать. Куда же это онъ хотѣлъ ѣхать? Ну, все равно. Тамъ на лѣстницѣ онъ узналъ. Только надо скорѣе. Онъ сошелъ внизъ. Предупредительный швейцаръ почтительно, но съ сознаніемъ собственной необходимости, распахнулъ передъ нимъ тяжелую дверь. Иванъ Дмитріевичъ вышелъ на подлѣздъ и вспомнилъ. Онъ зналъ теперь, куда ему нужно ѣхать.

— На московскій вокзалъ, сказалъ онъ, садясь на извозчика.

IX.

Иванъ Дмитріевичъ торопливо расхаживалъ по вокзалу. Выраженіе ожиданія, написанное на всѣхъ окружавшихъ его лицахъ, невольно сообщалось и ему. Время отъ времени онъ нетерпѣливо и тревожно поглядывалъ на двери: вотъ-вотъ она откроется, и войдетъ кто-то, кого онъ ждетъ. Но дверь открывалась и закрывалась, пропуская незнакомыхъ ему людей. Иванъ Дмитріевичъ зналъ, что ждать ему некого и что съ одной стороны даже хорошо, что онъ никого не ждетъ; тѣмъ не менѣе вся фигура его выражала стремительность и нетерпѣливое порыванье впередъ. Забывши, что многіе уже запаслись билетами, онъ подошелъ къ кассѣ второго класса и протянулъ трехрублевую бумажку.

— Билетъ.

— Куда вы хотите ѣхать? сухо осведомился кассиръ.

Иванъ Дмитріевичъ молчалъ, точно не слышалъ вопроса.

— Куда ѣдете? еще суше повторилъ тотъ.

Иванъ Дмитріевичъ съ секунду растерянно глядѣлъ на него. Онъ не помнилъ ни одной станціи по этой желѣзной дорогѣ. Вдругъ хитрая усмѣшка мелькнула у него на губахъ.

— Видите-ли, я провожаю даму, заговорилъ онъ, — и мнѣ все равно, до какой станціи. Не очень далеко, понимаете?

— Такъ возьмите билетъ до Ипатовки.

— До Ипатовки? Отлично.

Онъ взялъ билетъ и повернулся, чтобъ уйти.

— Сдачу забыли, крикнулъ ему вслѣдъ кассиръ.

Иванъ Дмитріевичъ вернулся. Неловко, торопясь и волнуясь, онъ сталъ собирать мелочь, плохо попадая дрожащими пальцами въ отдѣленія кошелька и чувствуя, что на лицѣ его выступаетъ глупая, совсѣмъ ненужная улыбка, а нижняя губа отпадаетъ и вздрагиваетъ, несмотря на его усилія придать лицу твердое и спокойное выраженіе. Кассиръ съ любопытствомъ поглядывалъ на него сквозь окошечко.

— Послушайте, вѣдь вамъ придется остаться тамъ на станціи всю ночь, сказалъ онъ: — встрѣчный поѣздъ пойдетъ только въ восемь часовъ утра.

— Это ничего, все равно, отвѣчалъ Иванъ Дмитріевичъ, между тѣмъ какъ на лицѣ его появилось просительное, робкое, почти униженное выраженіе. Онъ вышелъ на платформу. Царствовавшая здѣсь обычная суетня развлекала его.

Артильщики, вносившіе вещи, пассажиры, отыскивавшіе мѣста, кондукторы, опрашивавшіе билеты, шумъ, говоръ, толкотня — все это встряхнуло и ободрило его.

Онъ поправилъ на головѣ бобровую шапку, привычнымъ движеніемъ повелъ правымъ плечомъ къ уху воротникъ шинели и ловко вскочилъ на подножку вагона.

Ивану Дмитріевичу такъ часто приходилось ѣздить по желѣзной дорогѣ, что вагонъ всегда производилъ на него впечатлѣніе чего-то очень знакомаго. Въ вагонѣ онъ чувствовалъ себя дома. И теперь онъ выбралъ себѣ удобное мѣсто въ отдѣленіи

для некурящихъ, постарался получше расположиться и, устроившись, сталъ нетерпѣливо ждать, когда тронется поѣздъ. Послышался третій звонокъ.

— Наконецъ-то, вслухъ проговорилъ Базангинъ.

— Далеко изволите ѣхать?

Тутъ только Иванъ Дмитриевичъ замѣтилъ, что онъ не одинъ. Въ противоположномъ углу сидѣлъ человѣкъ высокаго роста, съ сѣдой бородой, въ широкой снотовой шубѣ и высокой шапкѣ, повидимому купецъ.

— До.... Иванъ Дмитриевичъ вынулъ билетъ и посмотрѣлъ на него:—до Ипатовки.

— По дѣлу изволите ѣхать, или въ нѣмнѣе?

— Въ нѣмнѣе, не задумывался, отвѣтилъ Иванъ Дмитриевичъ.

— Такъ-съ.

Купецъ помолчалъ.

— А позвольте спросить, началъ онъ опять,—вамъ сколько верстъ въ сторону?

— Близко.

— Лошадей своихъ имѣете, или на обывательскихъ?

— Свои.

Разговоръ опять прекратился.

— Скажите, пожалуйста, вдругъ спросилъ Иванъ Дмитриевичъ,—вѣдь, кажется, здѣсь недавно бросился человѣкъ подъ поѣздъ?

— Да вѣдь что же, развѣ въ нѣмнѣе время рѣдкость, словоохотливо отвѣчалъ купецъ.—А это что точно случай былъ, и ежели про то самое изволите говорить, такъ и человѣка того даже очень хорошо знаю: артельщикъ нашъ, Михайлой звать.

— Съ чего же это онъ?

— Да какъ вамъ сказать? Сомнительный былъ человѣкъ, однако ни въ чемъ не замѣченъ. Такъ, глупый былъ человѣкъ, ну, и померъ глупо.

— Почему же глупо?

— Безъ всякаго соображенія бросился онъ на весь ходу, какъ разъ значитъ между вагонами, ну, буферами всего въ нед-

кій порошок и стерлю. Чтѣ муки одной приналъ человѣкъ. Однако голова осталась.

— Живая? неожиданно для самого себя спросилъ Иванъ Дмитріевичъ, смутно чувствуя, что говорить какую-то негѣлость.

Купецъ, сощурившись, насмѣшливо посмотрѣлъ на него и залился неприятымъ, жиденькимъ смѣхомъ.

— Помилуйте, чтѣ вы это? Какъ можно, чтобъ мертвая голова была живая? Мертвая-съ, какъ есть мертвая. А только что не такъ эти дѣла дѣлаются.

— А какъ же?

— Съ расчетомъ. Безъ расчета никакъ нельзя. Чтѣ все, значить, гладко и безъ сумѣнія.

— Да вѣдь онъ умеръ?

— Это точно-съ. Только мука эта совсѣмъ лишняя. Ну, и деньги, чтѣ съ собой везъ, долженъ былъ хозяину предоставить, коли ужъ такая его мысль была. Да что, несообразительный совсѣмъ былъ человѣкъ-съ!

Иванъ Дмитріевичъ отвернулся. Приложивъ горячій лобъ къ холодному, запотѣвшему стеклу, онъ пристально вглядывался въ непривѣтную, холодную, темную ночь. Равномѣрное колыбанье вагона тихо убаюкивало его. Въ ушахъ зазвучала знакомая, давно забытая пѣсня. Чтѣ это за пѣсня? Мать-ли пѣвала ее ему, укачивая его на рукахъ своихъ, няня-ли унимала его его дѣтскія слезы? Богъ-вѣсть откуда приходятъ и куда уносятся эти звуки.

Глаза его закрылись и устремились внутрь его самого. Чтѣ это болитъ и бьется, дрожить и звенить въ самой глубинѣ его существа? То болитъ и бьется его сердце, то дрожать и звенить, накипаая, слезы. Онѣ поднимаются къ самому горлу, щекоятъ и щиплютъ внутри его, и заодно съ ними со дна души его встають какія-то давно зарытыя, схороненныя, могучія силы, и что-то молодое, свѣжее, жгучее и больное растеть въ груди и давить ее, и тѣснить, и мѣшаетъ дышать. Онъ-ли это сидитъ въ вагонѣ, или другой какой человѣкъ? Нѣтъ, это не онъ. Настоящій онъ остался тамъ, гдѣ-то назади, далеко, далеко, силь-

ный, бодрый, здоровый, радостный. Что тамъ вдали свѣтлое, яркое, ласкающее и нѣжащее, какъ солнечный лучъ? что оставилъ онъ тамъ назадъ и отчего съ любовью и грустью оглядывается онъ туда?

Молодость, молодость!

И, по необъяснимой, но вѣрной и понятной аналогіи, передъ нимъ встаетъ далекій зеленокудрый красавецъ-лѣсъ съ прилегающими къ нему желтыми полосами волнующейся ржи, съ изумрудной опушкой изъ молодыхъ съ тонкими вершинками березокъ, съ таинственнымъ мракомъ прохладной чащи, съ цѣлыми потоками горячаго, сверкающаго свѣта. Яркое солнце дрожить и смѣется сквозь вѣтви деревьевъ, серебра и золота тонкія, молоденькія, отдѣльныя вѣточки съ смолистыми блѣдными листочками, рисующимися на безоблачномъ фонѣ неба. Вотъ оно промчалось сквозь чащу, горячей, сверкающей волной хлынуло на притаившуюся въ глубинѣ лѣса, за высокими, тмурыми соснами и искривленными живописными березами, полянку и потопило ее въ цѣломъ морѣ золота. Свѣтъ заструился, замигалъ, заигралъ въ высокой цвѣтущей травѣ, на высоко-поднятыхъ блѣдно-желтыхъ верхушкахъ сухихъ былиннокъ, загорѣлся брилліантами въ темнозеленыхъ чашечкахъ трилистника, гдѣ еще не успѣла высохнуть роса, и всему придалъ и жизнь, и душу, и краски. Хочется лечь въ душистую, мягкую траву, закинуть голову и смотреть, смотреть безъ конца въ голубое, безоблачное, пыльное отъ зноя небо.

А кругомъ тихо-тихо.

Это волшебная тишина, и ничто не можетъ нарушить ее, но все дѣлаетъ ее еще болѣе торжественной: и легкій шелестъ шепчущихъ наверху листьевъ, и стрекотанье и жужжанье насекомыхъ въ травѣ, и тяжело-шуршащій полетъ шмеля, и веселое щебетанье лѣсной птички.

А кругомъ тихо-тихо.

И, благодаря этой тишинѣ, каждый звукъ получаетъ особенное значеніе и долго стоитъ и дрожить въ воздухѣ, независимо отъ другихъ звуковъ и въ то-же время сливаясь съ ними въ

одну общую и стройную гармонию. И заодно со всей природой живетъ, и дрожитъ, и бьется его сердце. Онъ прислушивается къ его ударомъ и считаетъ ихъ.

Они становятся все тише, все рѣже. Ахъ, что это дѣлается съ его сердцемъ? отчего сжимается оно? Вотъ сейчасъ что-то оборвется въ немъ, и оно въ послѣдній разъ стукнетъ и замретъ въ мучительной, безысходной, непосильной тоскѣ...

X.

— Станція Ипатовка, поѣздъ стоитъ восемь минутъ! прозвучалъ заученный, пѣвучій возгласъ кондуктора.

Иванъ Дмитріевичъ встрепенулся. Купецъ, нагруженный кулками, съ трудомъ прогѣзалъ въ узкую дверь. Иванъ Дмитріевичъ поднялся, хотѣлъ-было надѣть шинель, но раздумалъ. Онъ сложилъ ее мѣхомъ вверхъ, свернулъ комомъ и сунулъ въ уголъ дивана. Выйдя на тормазъ, онъ оглянулся. Направо была станція; тусклые фонари насмѣшливо мигали въ темнотѣ, окутанные вырывавшимися изъ дверей паромъ. Налѣво безконечно бѣлѣла, выдѣляясь изъ мрака, снѣжная целина.

Никто не увидитъ его.

Онъ сунулъ голову подъ желѣзный пруть, заправшій сходни вагона, и спрыгнулъ на снѣгъ. Онъ почувствовалъ, что сразу окунулся въ сырость, холодъ и мракъ. На одну секунду онъ было остановился въ раздумьи, но вдругъ, какъ-бы почувзвъ за собой погоню, побѣжалъ такъ быстро, какъ только несли его ноги, скользля, спотыкаясь и увязая въ рыхломъ снѣгу. Онъ бѣжалъ, пока не усталъ. Тогда онъ остановился и обернулся назадъ. Саженьяхъ въ дослти отъ него, мѣрно и тихо дыша, отдыхало чудовище. Онъ замѣтилъ чернѣвшуюся шпалу, съ которой смело снѣгъ, и опустился на нее на колѣни. Онъ вспомнилъ, что на головѣ у него шапка. Она показалась ему лишнею. Онъ снялъ ее и положилъ рядомъ. Внезапный порывъ вѣтра поднялъ его волосы. Онъ почувствовалъ, какъ вдругъ остылъ у него

виски, вся кожа стала какъ будто втягиваться внутрь, и кровь медленно потекла отъ головы къ сердцу, которое дѣлалось все шире и тяготило болѣзненно-вышшую грудь. Онъ ждалъ. Ему казалось, что передъ нимъ безконечно долгое время.

«Захочу и сейчасъ встану, и уйду», вдругъ мелькнуло у него въ головѣ: «двадцать разъ еще успѣю встать и уйти, даже когда онъ двинется». Эта мысль подѣйствовала на него успокоительно. Онъ все стоялъ на коѣняхъ, закинувъ назадъ голову, крѣпко ухвативъ руками борты разстегнутаго спортука и чувствуя, какъ постепенно холодѣть. Онъ не сводилъ глазъ съ фонарей паровоза, и въ утомленныхъ и расширенныхъ зрачкахъ его стоялъ непрерывный, яркій, мигающій свѣтъ. Огненнымъ дождемъ сыплются сверху, съ боковъ искры.

Что это за яркія точки тамъ вдали? Ихъ двѣ, и онѣ не огненного, а нѣжно-золотистаго цвѣта. Ахъ! это ея глаза ласково, любовно смотрятъ на него. Вотъ они загораются, темнѣютъ, потухаютъ и вновь вспыхиваютъ тихимъ, лучистымъ, знакомымъ ему свѣтомъ. Милые, чудные! Онъ оторвалъ отъ груди похолодѣвшія руки и въ порывѣ невыразимой любви, тоски и надежды съ мольбой протянулъ ихъ навстрѣчу этому свѣту. Но свѣтъ погасъ. Огненные искры закружились, заморгали, заплескали передъ его глазами и тоже унеслись куда-то. Со станціи донесся звукъ звонка, потомъ свистокъ кондуктора. Что-то тяжелое, грузное закричало, повезлось, охнуло... Безумный, сотрясающій душу ужасъ овладѣлъ стоявшимъ на коѣняхъ человѣкомъ.

«Встать и бѣжать!» ярко, какъ молнія, блеснуло у него въ мозгу. Но онъ не всталъ и не побѣжалъ. Онъ еще ниже опустился на коѣнки, еще крѣпче прижалъ къ груди застывшія руки и весь порегулся назадъ, какъ-бы подставляя грудь подъ неотразимый ударъ. Что это? молнія? Широкія полосы ровнаго, блѣднаго свѣта одна за другой медленно проносятся передъ его глазами. Мысли самыя неожиданныя вихремъ закружились въ его головѣ. Давно забытыя впечатлѣнія болѣзненно-ярко и живо встали въ его умѣ. Безчисленные образы, быстро смѣняя другъ друга, повеселись передъ нимъ, стали плясать, мѣшались,

путаясь, и наконецъ слились въ безформенный, бессмысленный и утомительный хаосъ.

Что онъ? гдѣ онъ? что это гремѣть, шумѣть ему навстрѣчу? У него кружится голова и шибко стучать виски. Онъ чувствуетъ, что земля дрожитъ подъ нимъ, и что-то гулко и страшно отдается кругомъ. Будто онъ съ головокружительной быстротой скользитъ на колѣняхъ внизъ, прямо навстрѣчу чему-то страшному, неизбежному, неумолимому, какъ судьба.

Онъ сдѣлалъ усиліе остановиться и не могъ. Ноги, не слушаясь его, скользили все дальше, все быстрѣе. Онъ уже не видалъ передъ собой фонарей паровоза и понималъ, что они вышли линіи его глазъ. На одно мгновеніе въ головѣ его явилось ужасное сознаніе конца, смерти. Ему показалось, что черепъ его раздвигается, а мозгъ леденѣетъ и, сжимаясь, превращается въ яркій, прозрачный шаръ, свѣтъ котораго безпощадно разоблачаетъ самые темные уголки его сознанія. И опять свѣтлыя стальные полосы понеслись у него передъ глазами. Двѣ яркія точки, потухая, сіяли вдали. Чье-то горячее дыханіе обдавало его. Широко раскрывъ отъ ужаса глаза, онъ не мигая глядѣлъ впередъ. Протянутыя руки, безсильныя оттолкнуть надвигавшуюся опасность, коченѣя, ловили воздухъ. Тяжелый, страшный вздохъ гиганта-паровоза въ послѣдній разъ потрясъ слухъ человека, окуталъ его собой, заключилъ въ горячія и влажныя объятія и безвозвратно повлекъ въ темную, бездонную пропасть.

Назадъ станція тонула во мракѣ. Преодолѣвъ препятствіе, паровозъ прибавилъ ходу и съ однообразнымъ шумомъ и лязгомъ, ровно и быстро понесся по рельсамъ, тяжело дыша и содрогаясь всѣмъ своимъ огромнымъ тѣломъ. Страшные глаза-фонари злобѣще, безучастно глядѣли впередъ, въ темную нѣгу.

Маркъ Бессанинъ.

Москва, 1898.

Литературнаго наследства А. Б.

ВАРИЦА

Въ дни дѣтства, когда я, бывало, передъ сномъ,
Встрепоженья отблескомъ далекихъ морей ночи,
Я ложу поспалъ и, стоя предъ окномъ,
Въ мерцающую даль вперялъ съ тревогой очи.
Полна казалась мнѣ грозой ночная тьма;
Но отворялась соседняя сѣтленица,
И няня старая влидала... „Что не спишь?“
Шептала мнѣ она: „не бойся—то варица.
Ни бури, ни грозы не будетъ“... И вникалъ
Я съ дѣтской вѣрою слова въ успокоенья.
—Варица! отхода ко сну, я депоталъ—
И тихія ко мнѣ сълетали совѣдѣнья.

Съ тѣхъ поръ прошли года—и много шумныхъ грозъ,
Надъ головою моею сбиралось... и много
Новогодъ и радостей въ души я перенесъ,
Тревожно проходила житейскою дорогою.
Какъ знойный лѣтній день, сверкая и гремя,
Въ убранныхъ облакахъ, клубящихся въ лазури,
Мѣлая блескъ и тѣнь, и тишину, и бурю,
Крылатыхъ праздниковъ прочтася жизнь моя;
И вечеръ наступилъ, и зарево заката
Ужъ погружается въ восточную глубину;
Дума беззащитна и сумракомъ обята;
Пора мнѣ отдохнуть, пора идти ко сну...

И вотъ въ холодной тѣнѣ надвинувшейся ночи
Я принимаю сонъ и отдыхъ—но порой
Продвигаясь вглубь мнѣ вновь сверкаютъ въ очи,
И вскидывается страсть съ надеждой и тоской.
И снова, какъ въ дѣтства дни, тревогой тѣхъ морскихъ
Дума неугасна, и кто-то въ тишинѣ
Знакомымъ слогомъ—слова старухи-няни:
„Не бойся, не тоскись“—любовно шепчетъ мнѣ.
И морская призраки, и гаснутъ въ отдаленны
Неуживыхъ, соседнихъ грозъ обманчивые огни...
—Варица! говорю я въ тихомъ утомленьи—
А гласомъ надо мной твердитъ: „успи, усни!“

Гр. А. Геленицкая-Путузова.

СКАЗКИ ТАВОЛГИНА

ГЛАВА ИЗЪ РОМАНА «КАРЬЕРА ОЛАДУШКИНА»

Когда редакція «Краснаго цвѣтка» обратилась ко мнѣ, я былъ въ большомъ затрудненіи. Единственная моя статья о Гаршинѣ была уже предоставлена другому сборнику, посвященному его памяти. Написать что-нибудь новое я не могъ по разнымъ обстоятельствамъ. А между тѣмъ мнѣ хотѣлось исполнить просьбу «Краснаго цвѣтка».

Мои воспоминанія о Гаршинѣ очень скудны, я его мало зналъ. Перебирая въ памяти наши немногочисленные встрѣчи и бесѣды, я натолкнулся на слѣдующій эпизодъ. Дѣло было года три или четыре тому назадъ. Я тогда писалъ романъ, который конечно никогда не увидитъ свѣта, да и меня уже давно пересталъ занимать. Но тогда я имъ очень увлекался. На бѣду, кромѣ моихъ обыкновенныхъ занятій, имѣющихъ мало общаго съ беллетристикой, меня стали одолевать и другія беллетристическія темы, которыя не укладывались въ рамки задуманнаго романа. Между прочимъ меня особенно мучилъ планъ сказки или полу-фантастическаго разсказа. Мнѣ казалось, да и теперь кажется, что самая тема разсказа заслуживаетъ художественной обработки, но я не питалъ никакихъ иллюзій насчетъ своихъ собственныхъ художественныхъ силъ. Съ романомъ я бы справился, такъ какъ здѣсь меня могъ выручить именно сравнительно большой размѣръ задуманной вещи: слабость той или другой главы, образа, картины могла бы испуниться другими, болѣе удачными частями произведенія. Притомъ же большое произведеніе до-

пускаетъ нѣкоторое разнообразіе приѣмовъ, я, разъ я не имѣлъ чрезвычайныхъ претензій, могло бы выйти недурно. Другое дѣло маленькій рассказъ. Онъ мнѣ представлялся сжатымъ, сильнымъ, равномерно-художественнымъ отъ первой до послѣдней строчки. Это превалило мои силы, а между тѣмъ сказка не давала мнѣ покоя, мѣшала, и надо было съ этимъ кончить. Рассказывая про эту свою бѣду одному пріятелю, я, не думая объ этомъ раньше, и только тутъ, въ теченіи разговора наведенный на эту мысль, сказалъ ему, что изъ всѣхъ нашихъ молодыхъ беллетристовъ только Гаршинъ могъ бы какъ слѣдуетъ справиться съ темой моей сказки; что къ характеру его таланта и къ складу его мысли она вполне подходитъ, и мнѣ хочется предложить эту тему ему. Пріятель рассказалъ Гаршину, и тотъ при первой-же нашей встрѣчѣ (я жилъ тогда не въ Петербургѣ) заговорилъ объ этомъ. Но меня вдругъ обуяла нелѣпо-жадная и ревнивая любовь къ своему дѣтищу, въ чемъ я тутъ-же откровенно признался покойнику. Сказку я втиснулъ въ свой романъ въ совершенно сыромъ видѣ. Эта «глава изъ романа» была потомъ напечатана въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ». Если читатель взглянетъ на нее независимо отъ моего изложенія, то согласится, и думаю, что тема сказки дѣйствительно соответствуетъ характеру таланта и складу мысли Гаршина и что я имѣю основаніе посвятить ее памяти такъ безобразно-рано умершаго молодого писателя. Её-то я и рѣшился предложить редакціи «Кр. дв.».

1 октября 1898.

Н. М.

Вдучи на Выборгскую сторону, въ меблированные комнаты г-жи Шмидъ, Марья Гавриловна не разъ улыбалась тому особенному, на посторонній взглядъ какъ будто даже глуповатой улыбкой, которая невольно играетъ на лицѣ человека, съ увѣренностью разсчитывающаго сейчасъ вотъ, черезъ какія-нибудь нѣсколько минутъ, получить нѣчто очень пріятное. Марья Гавриловна хорошо знала эти меблированные комнаты. Знала самое г-жу Шмидъ, необыкновенно суровую на видъ, но мягкую сера-

цель, высокую, худую шведку, съ жиденькими, сѣдыми волосами подъ бѣлоснѣжнымъ чепчикомъ; звала горничную Минну, милосердную чухонку съ масляными голубыми глазами, твердо увѣренную, что «минѣ риходить» значить «я пойду», и заливавшуюся смѣхомъ, когда кто-нибудь изъ русскихъ любезно догадывалъ себя языкъ для чухонскаго привѣтствія: «хювя пайвя» или «хювя юётя». Приглядѣлась Дунина и къ обычнымъ жильцамъ г-жи Шильдъ, да и они къ ней приглядѣлись: высокій и мрачный, чахоточный медицинскій студентъ изъ евреевъ, при встрѣчѣ съ нею въ корридорѣ или на лѣстницѣ, почему-то всегда сердито отворачивался, а молодой шведъ-механикъ, при такихъ-же случайныхъ встрѣчахъ, краснѣлъ до самыхъ корней своихъ красныхъ волосъ. Годовыхъ жильцовъ было впрочемъ у г-жи Шильдъ мало, но многіе или почасту наѣзжали или подолгу проживали подъ ея гостепріимнымъ кровомъ. Въ числѣ ихъ былъ и Таволгинъ, пользовавшійся особеннымъ расположеніемъ какъ суровой г-жи Шильдъ, такъ и игривой Минны. Секретъ благоволенія Минны былъ очень простъ и слагался изъ двухъ моментовъ: во-первыхъ Таволгинъ былъ, какъ говорится, небогатъ да тароватъ, а во-вторыхъ у него часто бывалъ Разстановъ, онъ-же поручикъ Соломірскій или «лютантъ», какъ его величала Минна, а этотъ «лютантъ» могъ, въ числѣ нечаянно съѣденныхъ имъ женскихъ сердецъ, считать и чухонское сердце голубоглазой Минны. Гораздо труднѣе постичь причины пристрастія къ Таволгину со стороны г-жи Шильдъ. Сама она мотивировала его сходствомъ Таволгина съ ея покойнымъ мужемъ, въ удостовѣреніе чего охотно показывала портретъ покойника, висѣвшій въ ея комнатѣ. Но стоило только взглянуть на плотныя, могучія очертанія тѣла г-на Шильдъ, на его цвѣтушую розами и безмятежнымъ выраженіемъ бритую фізіономію и потомъ перевести глаза на небольшую, сухую, нервную фигуру Таволгина, на его сѣрое лицо, нѣсколько калмыцкаго склада, съ узкими, блестящими глазами, и сѣрые-же, отъ сильной просѣды, длинные волосы и бороду, чтобы убѣдиться въ нѣмности фантазіи г-жи Шильдъ. «Просто она влюблена въ насъ», говорила бывало Маря

Гавриловна Таволгину. Но это было чисто женское и совершенно неосновательное предположение, очевидно клеветавшее на почтенныя сѣдины вдовы. Иначе она, конечно, не распространяла бы своего благоволенія на ту-же Марью Гавриловну, красавицу, частую и близкую гостью Таволгина. Г-жа Шильдъ знала, что ея любимецъ женатъ, но съ женой не живетъ. Знала она это только изъ паспорта Таволгина и все-таки очень негодовала на «эту женщину», о которой не имѣла никакого понятія. Незвѣстная жена Таволгина была уже тѣмъ виновата въ глазахъ г-жи Шильдъ, что не сумѣла оцѣнить или привязать къ себѣ такое сокровище. Однако и на солнцѣ есть пятна. Госпожа Шильдъ знала за своимъ фаворитомъ одинъ очень-очень важный недостатокъ, который былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и пунктомъ несходства его съ покойнымъ Шильдомъ. А именно: покойникъ пилъ очень много холоднаго шведскаго пунша и «тоди», изрѣдка только, при случаѣ не отказываясь отъ рюмки-другой просто коньяку. Это свидѣтельствоваю, по мнѣнію г-жи Шильдъ, о большой деликатности чувствъ и эстетической тонкости покойника. Пристрастіе же Таволгина къ коньяку, при сравнительномъ равнодушіи къ тоди и шведскому пуншу, неоднократно заставляло ее съ сокрушеніемъ покачивать сѣдой головой.

Дунина уже съ полгода не видала Таволгина и очень обрадовалась, найдя у себя вчера вечеромъ его записку. Она знала, что будетъ завтракать у него, и представляла себѣ, какъ онъ, проглотивъ рюмку водки, болѣзненно, почти страдальчески и вѣстѣ съ тѣмъ смѣшно сморщится. Она знала, что сѣдыхъ волосъ наѣтрное еще прибавилось на его головѣ за полгода, но что въ немъ все-таки неприкосновенно сохранилось нѣчто почти юношеское, что объяснялось для нея однимъ изъ его любимыхъ изреченій: «настоящаго града не имамы, но грядущаго взыскуемъ.» Знала Марья Гавриловна, что онъ встрѣтитъ ее словами «моя ласная» и затѣмъ будетъ пересыщать разговоръ множествомъ разнообразныхъ ласкательныхъ именъ. Знала, что онъ будетъ вставлять въ разговоръ коротенькіе отрывки изъ разныхъ стиховъ и что въ декламацию свою введетъ то слишкомъ выразительно-

страстный, то слишком торжественный отблеск, сдерживаемый внутреннею насмешкой над самою этою страстностью и торжественностью. Но, что главное, Дунина знала, что ей будет хорошо съ Таволгинымъ и развѣ немножко жутко. Можетъ-быть, впрочемъ, потому именно и хорошо, что немножко жутко...

Все произошло какъ по-писанному. У подъѣзда встрѣтился Марья Гавриловнѣ рыжій шведъ-механикъ и, раскланиваясь, густо покраснѣлъ. Мина весело захохотала, когда Дунина сказала ей «хювя пйивя», и потомъ серьезно прибавила: «минѣ казайтъ». Это значило, что она пойдетъ сказать Таволгину. Изъ боковой двери выглянуло худое лицо хозяйки, обрамленное бѣлоснѣжными чепчикомъ, и по-возможности привѣтливо улыбулось и закивало. Таволгинъ встрѣтилъ Дунину радостнымъ восклицаніемъ: «ясная моя!» и сталъ цѣловать ея руки.

— Ну, гдѣ шатались? рассказывайте, безпутный вы человѣкъ, спросила Дунина, удобно усаживаясь на привычномъ мѣстѣ въ углу дивана и весело оглядывая педантически, по-шведски чистенькую комнату съ внесеннымъ въ нее русскимъ «безпутнымъ человѣкомъ» непорядкомъ, и самого этого «безпутнаго человѣка» въ блузѣ, съ зачесанными назадъ длинными, сѣро-сѣдыми волосами.

— По Кавказу, mein liebes Kind, шатался все, по Кавказу... «и надъ вершинами Кавказа изгнанникъ рая пролетаетъ»... Да постоитъ, чѣмъ васъ потчевать-то?

— И закусить дайте, п чаю выпью.

— Сексу, значить? Превосходно! Это у насъ живо...

Госпожа Шильдъ очень высоко цѣнила національные скандинавскіе обычаи и очень любила, когда кто-нибудь изъ жильцовъ требовалъ у нея «сексу», то-есть холодныя закуски на скандинавскій манеръ. Скоро Мина явилась съ подносомъ, уставленнымъ маленькими тарелочками, на которыхъ лежала разная нарезанная, соленая и копченая снѣдь: ломтики колбасы, ветчины, оленины, копченая лососина, салакушкина икра, кильки, сыръ, масло. Кромѣ того, госпожа Шильдъ, сверхъ штата и ожиданія, прислала специально для «мамзели Маріа», по вѣрѣ въ осма-

менованіе приѣзда Таволгина, бутылку только-что полученной домашней мамуровки. Потомъ явился и самоваръ.

— «Какое торжество готовитьъ древній Римъ?» декламировалъ Таволгинъ, откупоривая водку и мамуровку и принимаясь вмѣстѣ съ Дуниной за завтракъ.

— Ну, такъ что же вы на Кавказъ-то дѣлали?

— Да ничего, милая человѣчица, ровно ничего. Если и были какія дѣлшки, такъ мимоходомъ.

— А хотите теперь работать? Я вамъ могу покровительство оказать, вотъ я какая важная стала!

И Дунина рассказала о своемъ знакомствѣ съ Латошниковымъ и о томъ, что онъ предлагаетъ устроить работу Таволгину.

— Ну его! Не хочу, да и не работается мнѣ теперь. А вы съ Латошниковымъ продолжайте, только знаете какъ? наоборотъ: вы диктуйте, а Латошъ этотъ самый пусть подъ вашу диктовку пишетъ.

— Зачѣмъ вы, Владиміръ Александровичъ, смѣетесь — то надо мной?

— И въ помышленія не имѣю смѣяться, моя милая дѣвушка, а истинно говорю, серьезно. Вы — умница, а Латошъ не то, чтобы глупъ, а вродѣ вотъ этой тарелки: и мелко, и положить можно что угодно, — можно вотъ колбасу, а можно и лососну... Нѣтъ, я серьезно говорю, подумайте объ этомъ, право...

— Полно вамъ! Какая я писательница. У меня, какъ — гдѣ это говорится? — и «сюжету нѣтъ».

— Сюжету нѣтъ?! Цѣны вы себѣ не знаете, оттого и сюжета нѣтъ. Поройтесь-ка у себя въ головѣ... Да и пустяковое это дѣло, сюжетъ-то. На первый разъ хоть у меня возьмите, мнѣ ихъ просто дѣвать некуда: дѣзутъ, черти, въ голову, а совсѣмъ тутъ нѣ до нихъ... Вамъ по какой части надо?

— Какъ по какой части?

— Да такъ, сюжетовъ-то? балетристическихъ, историческихъ, философскихъ?

— Вы спрашиваете, точно: вамъ чего нужно — сыру, ветчины или рыбы?

— Ну, вотъ что, ясная моя. Кончимъ завтракать, уберемъ все это къ чорту, сядемъ къ самоварчику и «стану сказывать и сказки, пѣсенку спою, ты жь дремли, закрывши глазки»... хотите?

— Дремать вовсе не хочу, а сказки слушать хочу.

— Превосходно, *chère et charmante mademoiselle!* Пожалуйста вотъ еще кусочекъ сыру, — такой сыръ самъ шведскій король только по воскресеньямъ ѣстъ... Ишь какъ плачетъ-то! Точно я, когда объ васъ думаю... А вы вотъ смѣтесъ! «А дѣва русская Гаральда презираетъ!» Сыръ плачетъ, я плачу, а она смѣтесъ. «И такъ на свѣтѣ все ведется!» Ну, теперь мамуровки рюмочку. Я-то не стану, я лучше за ваше здоровье рюмочку коньяку выпью... Теперь пожалуйста сюда, на президентское кресло, вотъ вамъ чай, заваривайте, вообще хозяйничайте.

Болтая такимъ образомъ, Таволгинъ убралъ со стола, переставляя самоваръ, досталъ изъ шкапчика начатую бутылку коньяку и блюдечко съ мелко нарезаннымъ лимономъ, выпилъ, сморщился и закусилъ кусочкомъ лимона.

Улыбка не сбѣгала съ прекраснаго лица Марьи Гавриловны, когда она слушала болтовню Таволгина и смотрѣла на его оживленную фizioномію и быстрые, нервныя движенія. Она налила чаю себѣ и ему и потомъ заявила, что готова слушать сказку.

— Вамъ въ какомъ родѣ? трагическую, комическую, волшебную, натуралистическую?

— Опять: ветчины, колбасы или рыбы?

— Нѣтъ, шутки въ сторону, моя ясная. Право, у меня хорошія темы есть, и право же вамъ надо попробовать.

— Ну, хорошо, хорошо, тамъ увидимъ.

Таволгинъ на минуту задумался, потирая себѣ лобъ своими длинными, худыми пальцами, потомъ встряхнулъ волосы, выпилъ еще рюмку и началъ:

— Ну, слушайте. «Тише! слушайте, ребята! сказка будетъ хороша!».. Называется «Три раза»... Вниманіе, Марья Гавриловна, вниманіе!... Гм... гм... Жилъ былъ... ну, скажемъ, Искъ. Молодой человекъ, учится въ адышней, въ петербургской кон-

серваториѣ, пѣвецъ. Голосъ неважный, таланта мало, учится такъ себѣ, зря, просто потому, что на эту дорогу, понимаете, понаѣлъ, а инициативы, чтобы на какую-нибудь другую выбратъ, — нѣтъ. Даже соревнованія или такъ зависти къ талантливымъ товарищамъ нѣтъ. Вообще самый заурядный малый. Пожалуй, въ видахъ этой нынѣшней психологіи, можемъ постановить, что отецъ у него запоемъ пилъ, а бабка съ матерней стороны въ сумашедшемъ домѣ сидѣла... Вы ничего не имѣете противъ? Ну, и я тоже: въ сумашедшемъ, такъ въ сумашедшемъ... Оно, собственно, совсѣмъ ненужное постановленіе, но ничему вѣдь и не мѣшаетъ, а между тѣмъ мы такой недорогой цѣной купимъ репутацію тонкаго психологическаго пониманія... Ну-съ, такъ вотъ... И видитъ разъ Иксъ сонъ... Вы въ пророческіе сны, поди, не вѣрите? Я вѣрю, потому самъ видалъ... Видитъ онъ, моя ясная, будто входитъ къ нему старичокъ: сѣденькій, морщинистый, борода трясется, но при всемъ томъ «какъ угліе глаза». Входитъ старичокъ и говоритъ: ты, говоритъ, три раза въ жизни будешь нѣтъ такъ, что всѣ ахнутъ, но только, говоритъ, три раза и на третьемъ разѣ умрешь; можешь, говоритъ, этими тремя разами распорядиться, какъ хочешь. Сказалъ это старичокъ и исчезъ, а Иксу тѣ слова въ голову запаали, да и вся фигура старика изъ ума не выходитъ... Знаете чтѣ, ясна? мы лучше вотъ какъ сдѣлаемъ: пусть въ сумашедшемъ-то домѣ не бабка сидѣла, а дѣдъ, и пусть его Иксъ помнитъ, и пусть старичокъ-то этотъ будетъ на дѣда похожъ... Этакъ еще психологичнѣе и тоньше выйдетъ... Это, впрочемъ, наплевать. Главное въ томъ, что Иксъ не можетъ старика и стариковскаго пророчества забыть. Перекинулся совсѣмъ, задумчивый ходить, все эту возможность ахово сидѣть въ себѣ носить. Ну, и старикъ нѣтъ-нѣтъ да и выскочитъ, глаза выпучить, сѣдой бородой потряхиваетъ, все будто подмигиваетъ: спой да спой!... Превосходно! Хочется Иксу попробовать новую силу, а и страшно, потому, думаетъ, если старикъ правду сказалъ, такъ потомъ всего два раза останется, а тамъ смерть... Чловѣкъ молодой, жить хочется, а между тѣмъ, по случаю старика этого, прежняя-то жизнь болотная, невидная и неслыш-

ная, какъ будто цѣну потеряла. Тутъ надо очень разработать: порываніе это и страхъ, борьбу-то всю душевную и какая отсюда тоска... Ну, а отъ тоски, сами можете понимать, тянетъ къ напитку... Насчетъ этого пункта, mein liebes Kind, могу вамъ дать особыя, спеціальныя и подробнѣйшія наставленія, когда приметесь за работу...

Таволгинъ остановился и налилъ рюмку коньяку. Дунинъ укоризненно покачала головой, но не остановила и внимательно слушала. Таволгинъ проглотилъ коньякъ, поморщился и, пережевывая на закуску кусочекъ лимона, продолжалъ:

— Превосходно!.. Выпилъ Иксъ разъ, выпилъ два раза и видитъ, что напитокъ-то не только охмѣляетъ, а и осмѣляетъ, не хуже старика подмываетъ: спой, дескать. Струсилъ, напитокъ бросилъ. И совсѣмъ-было бросилъ, да разъ такой грѣхъ случился. Пирушка у одного товарища устроилась, по случаю тамъ именинъ, что-ли. Ну, честь честью — водка, селсдка, хересь, пиво..... Тутъ можете жанровую картинку вставить: веселье это и игру самолюбій, потому у художниковъ вообще, а у художниковъ звука въ особенности, оно дьявольское. Оно и понятно — всегда на виду, передъ публикой, только имъ и ходу, что между аплодисментами и шипканьемъ. Иксъ все это видитъ и по себѣ понимаетъ, думаетъ: захоти только я!.. И не замѣтилъ онъ, милая дѣвушка, какъ въ огорченіи-то своемъ рюмочки три, четыре пропустилъ, а тамъ и задоръ взялъ. Садится, понимаете-ли, къ роялю самый что ни на есть козырной пѣвецъ изъ всей компаніи, ученикъ тоже консерваторіи, но уже, понимаете, признанная звѣзда восходящая. Поетъ онъ вещь прекраснѣйшую — сами ужъ выберите, что — голосъ у него чудеснѣйшій. Иксъ съ нимъ конкурировать и въ помыслахъ никогда не имѣлъ, да и теперь — замѣьте это, непременно замѣйте, — не въ конкуренціи дѣло, а просто сила заговорила, наружу запросилась — удалъ, задоръ, да и старикъ явственно въ углу стоитъ, «угли» свои выпучилъ... Не выдержалъ Иксъ, хватилъ еще стаканчикъ, да такъ прямо съ своего мѣста, изъ-за стола, и загорланилъ, перебилъ козырного. Что онъ запѣлъ, это опять-таки вы сами выбе-

Отдастъ II.

рите. Надо, чтобы что-нибудь простецкое, но такое, что всё ходуномъ заходили, никто даже опомниться не успѣлъ, никому даже въ голову не пришло негодовать, что какой-то тамъ Иксъ козырному мѣшаетъ.... Тишина, понимаете, сначала мертвая, а потомъ шумъ, гвалтъ: «еще! еще!» А ему безъ того удержу нѣтъ. Видить, что старикъ не солгалъ, значить всего два раза осталось, махнулъ рукой,—все равно пропадать! Стоитъ блѣдный, глаза горять, и такъ изъ него и льется пѣсня за пѣсней, да все удалъ, все порывъ беззавѣтный, безумный... Э—эхъ. Марья Гавриловна!..

Таволгинъ энергически почесалъ у себя въ затылкѣ, потомъ потеръ лобъ и протянулъ—было руку къ коньяку, но Дунина молча переставила бутылку ближе къ себѣ, и онъ покорно опустилъ руку и продолжалъ:

— Это вотъ первый разъ и есть. Но изъ него-же второй происходитъ. Какъ сдѣлалъ Иксъ передышку, просто, чтобы хоть горло-то промочить, обступили его, поздравляютъ, упрямуютъ, что до сихъ поръ свой талантъ пряталъ. А онъ, какъ ошалѣлый: гордость, счастье, ужасъ, осадокъ только-что пережитой въ пѣснѣ удали,—все это въ немъ, понимаете, переплелось и ключомъ кипитъ. Въ числѣ прочихъ подходитъ къ нему дѣвушка... ахъ-дѣвушка! Примѣты: ростъ высокій, волосы черные, брови черныя-же, густыя, глаза раскрытые, ясные...

Разсказывая эти «примѣты», Таволгинъ своими узкими и блестящими камыщными глазами прямо смотрѣлъ въ глаза Дунинѣ и потомъ замолчалъ. Дунинѣ стало неловко подъ этимъ упорнымъ, горячимъ взглядомъ. Она даже покраснѣла.

— Ну, дальше-то, сказала она, отчасти просто для того, чтобы что-нибудь сказать и тѣмъ сбросить съ себя неловкость, а отчасти потому, что въ самомъ дѣлѣ заинтересовалась разсказомъ.

— Да что дальше! Дальше начинается обыкновенная исторія, никакая во всѣхъ романахъ изложена. Съ этого самого вечера и пошло. «Онъ былъ титулярный совѣтникъ, она—генеральская дочь». То-есть онъ даже и не титулярный совѣтникъ, а она пусть въ

самомъ дѣлѣ генеральская дочь. Бываютъ такіе либеральныя генералы, такъ вотъ такого надо. Онъ, понимаете, по либерализму своему снисходитъ, допускаетъ въ свой салонъ и Икса, и другихъ, а чтобы что-нибудь, mesaillance какая-нибудь, — это ему и въ голову даже не приходитъ. Ну, а она къ Иксу тайкомъ въ номера ходитъ, вотъ какъ вы ко мнѣ... Вонъ вы смѣетесь! Конечно, не такъ, а хорошо ходитъ, настояще; такъ хорошо, что даже обыкновенно. Одна только черта несовсѣмъ обыкновенная и даже, понимаете, стариннымъ, изысканнымъ романтизмомъ отдаетъ. Дѣвушка догадывается, что у героя есть на душѣ какая-то, говоря высокимъ слономъ, роковая тайна. Она спрашиваетъ, онъ отмахивается или отшучивается, или ссылагается на нездоровье. А ей, конечно, удивительно. Впервые Иксъ поетъ и учится по-прежнему, совсѣмъ заурядно, даже пожалуй хуже прежняго, лѣнивѣе, апатичнѣе. А восторгахъ среди самаго любовнаго экстаза онъ вдругъ поблѣднѣетъ, упретъ глаза въ одну точку, и видно, что его что-то страшно мучитъ — это передъ нимъ старикъ стоитъ, поддразниваетъ шопоткомъ такимъ: «спой, игѣсь любви теперь спой!» Ну, и не выдержавъ наконецъ парень. Это дѣло надо такъ обставить, чтобы случилось опять въ обществѣ, ну, хоть у родителей ахъ-дѣвушки или у другихъ важныхъ, понимаете-ли, людей, и чтобы былъ тутъ какой-нибудь очень высокопоставленный покровитель искусствъ: высокій этакій, горбоносый человѣкъ, въ высшемъ генеральскомъ мундирѣ, шея у него даже совсѣмъ не умѣетъ гнуться, слово скажетъ — рублемъ подарить, всѣ передъ нимъ на четверенькахъ ходятъ. И Иксъ тутъ-же. Тише воды, ниже травы, разумѣется. Какъ звѣрёнокъ какой ходить среди этого великолѣпія — только и отрады глазу, что «она». Ужъ и хороша-же! Ну, только отрада отрадой, а между прочимъ и ревность, особенно къ одному, на-примѣръ, адъютанту съ аксельбантомъ или улану тамъ, «младому усачу» этакому, который все около нея шпорами брякъ-брякъ... Такъ бы его, дьявола!.. Ну, а она видитъ, что грустный онъ и злой, и ревнивый, подѣлая къ нему, «и улыбкою, словомъ ласковымъ» въ короткое время воскресла. Завела потомъ въ

маленькую гостиную за трельяжъ да тамъ съ свойственной женщинамъ дерзостью и поцѣловала! Никто однако этого не видѣлъ, кромѣ старичка одного сѣденькаго. Онъ въ углу стоялъ, огненными глазами смотрѣлъ да шептаетъ: «спой! спой!»... А великодушна она была въ этотъ вечеръ сверхъ всякой мѣры... И омолодилъ Иксъ. «Я-жь, думаетъ, вамъ, чертнѣ, покажу!» Тутъ какъ разъ, по заведенному въ генеральскомъ домѣ обычаю, концертъ начался. Ахъ-дѣвушка спѣла, другой тамъ спѣлъ, и Иксъ заявилъ, что хочетъ пѣть... Она-то было сначала струсила за него, какъ бы не осрамился, но, какъ посмотрѣла хорошенько, такъ и увидѣла, что не осрамится, потому совсѣмъ онъ такой, какъ въ тотъ вечеръ, на пирушкѣ: печать на немъ какая-то, печать гения и успѣха. Благословила... Запѣлъ онъ опять-же чтѣ хотите, только чтобы въ пѣснѣ любовь звучала, и гордость и счастье любви... Результатъ, сами можете понять, какой. Сразу Иксъ героемъ вечера сталъ. Старики изъ-за картъ вышли, дамы судачить перестали, самъ горбоносый освѣдомился, кто этотъ пѣвецъ удивительный, и выразилъ желаніе, чтобы онъ еще спѣлъ. А того и просить нечего, разошелся ужъ, опять пѣсня за пѣсней, и ничего ужъ у него передъ глазами нѣтъ, кромѣ ахъ-дѣвушки. Пропадать, такъ съ трескомъ! Пусть же она знаетъ, что у него въ душѣ цвѣтетъ!.. Обворожилъ всѣхъ. Горбоносый тутъ-же объявилъ, что устроить ему, по окончаніи курса, поѣздку въ Италію, для усовершенствованія. А конецъ-то курса совсѣмъ на носу...

— Не надобно вамъ, звѣзда моя ясная? оборвалъ себя въ этомъ мѣстѣ Таволгинъ, заглядывая прежнимъ упорнымъ и горчичнымъ взглядомъ въ опущенные глаза Маріи Гавриловны и, перегнувшись къ ней съ своего стула, излѣлъ ее за руку новыя кисти и поцѣловалъ эту руку. Лицо Дуниной было необыкновенно серьезно. Она слегка поблѣднѣла. Въ ней совершалась какая-то внутренняя работа, не исключительно со «сказкой» связанная. Она взглянула на Таволгина, потомъ опять опустила глаза и молча пожала ему руку.

— Продолжать, значить? Превосходно! Только я, Марія Га-

приюжна, рюмочку выпью, надо же мнѣ что-нибудь за работу... Слѣдовало бы съ васъ побольше гонораръ-то, ну, да ужь!.. Все равно вѣдь не получишь...

— Перестаньте шутить, серьезно и укоризненно перебила Дунина, а онъ между тѣмъ глоталъ коньякъ, морщился и жевалъ лимонъ.

— Вона! и шутить нельзя! Да что съ вами, *liebes Kind*? А серьезно, такъ серьезно... мнѣ же лучше! Ну, какое же мнѣ вознагражденіе будетъ?

— За что?

— За сказку и за... преданность. Только, чтобы серьезно!

— И серьезно не надо, возразила Дунина, слабо улыбаясь и слегка упираясь концами пальцевъ въ плечи Таволгина, какъ-бы отталкивая его наклонившуюся къ ней фигуру. Онъ откинулся на спинку своего стула и комически развелъ руками. Она засмѣялась.

— Нѣтъ, право, Владиміръ Александровичъ, кончайте вашу сказку, да я и пойду....

— Такъ какой же мнѣ расчетъ кончать-то?

— Ну будетъ, вамъ, милый.....

— Превосходно.... Я вѣдь складной, милая дѣвушка, все равно какъ перочинный ножикъ: сложите и смѣло кладите въ карманъ... Такъ на чемъ-бишь я остановился-то? Да... Ну, экзаменъ выпускной, или какъ тамъ это въ консерваторіи называется, Иксъ сдать плохо. Но коли что горбоносый покровитель искусствъ сказалъ, такъ это ужь непреложно. До такой степени непреложно, что самъ Иксъ не противится, ѣдетъ, а чего ему ѣхать, зачѣмъ? Совершенствоваться, чтобы всю жизнь заурядно пѣть, или еще одинъ разъ спѣть такъ, что всѣ ахнутъ, да и умереть? Но горбоносый велитъ, ничего не подѣлаешь. Однако у Икса и другіе мотивы есть. Во первыхъ «она», ахъ-дѣвушка, уговариваетъ ѣхать; она—высокой души и готова на разлуку, чтобы онъ, какъ ей кажется, на высоту своего генія поднялся. А вторыхъ ему двоякъ разъ думается: можетъ, вѣдь и навралъ старикъ, можетъ, это просто вадоръ, галлюцинація.... Однимъ

словомъ, поѣхалъ. Сидитъ въ Миланѣ что-ли, учится. Учитсѣ плохо, тоскуетъ, и по родинѣ просто тоскуетъ, и той тоской, что старикъ съ своимъ пророчествомъ нагоняетъ. Между прочимъ, подружился съ однимъ молодымъ французомъ, а дѣло, надо вамъ замѣтить, происходитъ во время франко-прусской войны. Гулъ по всей Европѣ идетъ... Ну, какъ-то Иксъ за бутылкой вина, понимаете, разговорился со своимъ новымъ другомъ, да и открылся: такъ и такъ, говоритъ, старичокъ сѣдѣнкій, на сумашедшаго дѣда похожъ, «какъ углѣ глаза» и все прочее. Тотъ разсѣлся. Вадоръ, говоритъ, это просто тебѣ въ самомъ дѣлѣ дѣдъ припоминается; надо тебѣ на нѣкоторое время музыку совсѣмъ бросить—оно и пройдетъ. Твое, говоритъ, горе—не горе, а вотъ у меня, говоритъ (это французъ-то), горе настоящее. Я, говоритъ, свою patrie люблю вотъ какъ: готовъ за нее животъ положить, а сѣжу вотъ здѣсь, со стыда краснѣючи, потому что теперь за Францію сражаться—значить за имперію сражаться, а я этого не могу. И развилъ онъ тутъ нашему Иксу, понимаете, политическія перспективы. А Иксъ былъ по этой части до сихъ поръ совсѣмъ пустая кишка, ein hohler Darm. Такъ какъ-то случилось, что и внутренняя, и иностранная политика мимо него шли. Ну, а тутъ французъ разогрѣлъ, потому самъ горячъ былъ. И вдругъ, милая дѣвушка, трахъ-тарарахъ! Седанъ! Der Kaiser gefangen! Vive la république! Vive le son du canon! Гарибальди легіонъ набираетъ... Словомъ сказать, французъ увлекаетъ Икса въ гарибальдѣйскій легіонъ. Совсѣмъ Иксъ забылъ и хандру свою, и старика, и пѣніе, даже ее, ахъ-дѣвѣшку, и ту, можете себѣ представить, подлецъ этакій, забылъ, а?.. Превосходно... Только въ первой-же стычкѣ, ласная моя, волонтерамъ пришлось плохо. Отрядъ, въ которомъ состоитъ Иксъ, окруженъ, нѣмцы даже стрѣлять перестали, кричатъ: «сдавайтесь!».. Замутились волонтеры: одни сдаваться хотѣтъ, въ томъ числѣ и Иксъ,—а другіе кричатъ, что, дескать, пробьемся. Особенно одинъ старикъ горячится. И богъ его знаетъ, какой онъ напѣвъ: не то мексиканецъ, не то перуманецъ, только много походитъ съ Гарибальди обломать. И почему-то особенно на Икса

накинулся. Кричитъ ему ломанымъ французскимъ языкомъ: «Ты, говоритъ, русская свинья, сибирскій медвѣдь, московская собака! Ты бы, говоритъ, и не лѣзь сюда, а сидѣлъ бы въ свой консерваторіи, да распѣвалъ! Ну, и убирайся, пой себѣ, чортовъ сынъ, пой, пой!» А у самаго глаза — какъ угліе, и сѣдая бородавка отъ злости трясется... И вдругъ съ Иксомъ что-то стряслося: поблѣднѣлъ какъ смерть, бросилъ ружье, выхватилъ саблю и затянулъ марсельезу... Да такъ заплѣлъ, что какъ только поднялась къ небу первая строка: «allons, enfants de la patrie», такъ всѣ до единого человѣка подхватили и бросились на нѣмцевъ, какъ бѣшеные... Ну, пробились, только не всѣ... Иксъ тоже не пробился: ему нѣмецъ штыкомъ брюхо пропоролъ...

Досказывая свою сказку, Таволгинъ и самъ поблѣднѣлъ, потому налилъ дрожащими руками рюмку, выпилъ и прошелся по комнатѣ. Черезъ нѣсколько секундъ онъ однако оправился и, остановившись передъ безмолвно сидѣвшей Дуинной, заговорилъ своимъ обыкновеннымъ тономъ.

— Тутъ и сказкѣ конецъ, желанная. Я тамъ былъ, медъ, пиво пилъ, по усамъ текло, въ ротъ не попало: ни отъ удали не умеръ, ни за женщину не умеръ, ни за людей не умеръ... А вѣдь больше-то, согласитесь, и не изъ-за чего умирать, не стоить. Такъ-ли я говорю, Марья Гавриловна? Да чтѣ вы, никакъ заснули?

Онъ взялъ ее обѣими руками за локти, и слегка встряхнулъ.

— Нѣтъ, не заснула, а вотъ я о чемъ думаю: отчего же вы этого не напишите?

— Сказки-то? Да я вамъ ее предлагаю написать... Вотъ и диктуйте Латошу...

— Полноте пустяки говорить. Я серьезно спрашиваю. Ну, чего вы такъ безъ толку шатаетесь, богъ-знаетъ гдѣ? чтѣ вамъ такъ нужно?

— Чтѣ мнѣ нужно? Все нужно! Понимаете, «и грозный гулъ сѣчи, и шопотъ струн, и тихія рѣчи, Маруся, твои»...

— Вы все съ главностями... Вотъ чтѣ вы мнѣ еще скажите:

отчего этотъ вотъ Иксъ первые два раза дома, въ Россіи поетъ, а третій разъ заграницей... Вотъ Рудинъ тоже у Тургенева...

Таволгинъ сѣлъ на прежнее мѣсто и задумался, потирая лобъ пальцами.

— Отчего? Представьте, mein Liebchen, мнѣ это и въ голову не приходило... Странно въ самомъ дѣлѣ... А впрочемъ, ничего тутъ страннаго нѣтъ. Понимаете, отъ собственной удали, отъ задора пьянаго у насъ можно шагнуть къ смерти, изъ любви къ женщинѣ тоже можно. Ну, и за идею тамъ, за людей... конечно можно, на всякія мацеры можно, и славно, и безславно, но непрерывно безъ музыки, безъ простору этого, безъ увѣренности, что за тобой люди кинутся. Вотъ я думаю отчего... Понимаете?

— Кажется, понимаю. Только Варвара Николаевна, я думаю, съ вами не согласилась бы.

— Да... Ей музыки не нужно. Она какъ свѣчка передъ Богомъ сгорить и даже не догорить, потому-что придетъ какой-нибудь чортъ и дунетъ, да еще и плюнетъ...

— Вы совсѣмъ не вѣрите?

— Во что?

— Да вотъ, во что Варвара Николаевна вѣритъ, Соломирскій, другіе всѣ...

— Mein Liebchen, wer darf sagen: ich glaube? Wer empfinden und sich unterwinden zu sagen: ich glaube nicht?

— Это что же значить? Вы знаете, я по-нѣмецки швахъ.

— Забылъ, какъ это по-русски стихами-то, да и по-нѣмецки, кажется, перевралъ. Понимаете: кабы настоище вѣрилъ, такъ не такъ бы и жилъ, а кабы совсѣмъ не вѣрилъ, такъ тоже иное бы было...

Оба замолчали. Таволгинъ опять сталъ тереть себѣ лобъ. Дунина перебирала пальцами висѣвшій у нея на груди шнурокъ отъ часовъ.

— А вы давно Варвару Николаевну видѣли? спросила она наконецъ.

— Мѣсяца два должно-быть.

— Ну что, какъ она?

— Да что ей дѣлается? Все такая-же. Устала какъ будто маленько: каторжная вѣдь ея жизнь.

— Скажите, вы ее очень любите?

— Очень... Только, понимаете, она не въ счетъ. Она святая, и чувство мое къ ней святое. Вотъ вѣдь она гораздо васъ лучше, а люблю-то я васъ, и чувство у меня къ вамъ, ежели по со- вѣсти говорить, грѣшное...

— Ну, будетъ, мнѣ пора, рѣшительно сказала Дунина и встала.

— Нѣтъ, этого не будетъ, возразилъ Таволгинъ, насильно усаживая ее опять въ кресло,—вы не совершите этого преступ- ления, голубка моя, огромная этакая, чернокрылая голубка... По- стойте, я вамъ только одно слово... Я не люблю, когда вы отъ меня такая уходите... Чѣмъ бы мнѣ васъ роуг la bonne bouche порадовать, повеселить... Ну, хотите, еще сказку скажу? Отлич- ная есть сказка, веселая, «Шампинионъ» называется. Хотите?

— Ну, хорошо, полчаса еще посижу. — Дунина посмотрѣла на часы.

— Превосходно!.. Рюмочку коньяку мнѣ за это... Такъ вотъ... Жилъ былъ не то, чтобы прямо шпионъ, а понимаете—шампини- онъ. Грибы такіе есть, во множествѣ растутъ тамъ, гдѣ навозъ сваливаютъ. Ну, такъ вотъ одинъ такой шампинионъ...

Но Марья Гавриловнѣ не пришлось дослушать сказку о шам- пинионѣ, потому-что въ эту минуту явилась Минна съ извѣстіемъ на чухонско-русскомъ діалектѣ, что Таволгина спрашиваетъ ка- кой-то незнакомый господинъ. При этомъ она подала Таволгину визитную карточку.

— Вонъ! Не принимать, дома нѣтъ! Скажите, что дома, да не велѣли принимать! Слышите, Минна, такъ и скажите! съ вне- запнымъ бѣшенствомъ закричалъ Таволгинъ, и когда недоумѣ- вающая Минна ушла, онъ швырнулъ карточку на полъ и, тяжело дыша и отдуваясь, заходилъ по комнатѣ. — Ахъ, дьяволъ! А? Смѣлъ ко мнѣ... До чего же это я дошелъ?.. Нѣтъ, дуракъ я, что прогналъ, надо было сюда позвать...

Дунина подошла къ нему, положила ему обѣ руки на плечи и встревоженно и ласково заговорила:

— Что съ вами, милый, что случилось?

— Да вотъ, о волкѣ поговорка, а волкъ и тутъ... Вотъ шампинионъ...

Таволгинъ поднялъ съ пола карточку и подавъ ее Дуниной. На карточкѣ подъ дворянской короной значилось: «Алексѣй Алексѣевичъ Оладушкинъ».

— Я этого человѣка знаю, сказала Марья Гавриловна и рассказала о своихъ встрѣчахъ съ Оладушкинымъ. Таволгинъ въ свою очередь, ругаясь и прикладываясь къ коньяку, передавъ ей, что слышалъ вчера отъ Андреевскаго и другихъ о мисси́н Оладушкина.

Успокаивая Таволгина, Марья Гавриловна, между прочимъ, съ чисто женскою цѣлостію ухватила за одинъ мотивъ его негодованія. Онъ былъ оскорбленъ тѣмъ, что «шампинионъ» смѣлъ явиться къ нему съ предложеніемъ участвовать въ шампинионскомъ дѣлѣ—другого объясненія для визита Оладушкина не могло быть. Дунина постаралась внушить Таволгину, что это оттого вышло, что онъ, Таволгинъ, ничего не дѣлаетъ, а только безъ толку разбѣзжалъ да коньякъ пьетъ; что его забыли; что долженъ же онъ наконецъ приняться за свое настоящее дѣло, ну, хоть сказку о «трехъ размахъ» написать. Таволгинъ обѣщалъ. Справедливость обиживаетъ однако насъ сказать, что по крайней мѣрѣ вечеромъ этого дня Таволгинъ былъ, по его собственному выраженію, глубоко пьянъ, что съ нимъ случалось довольно рѣдко, хотя пилъ онъ вообще много. Встрѣтивъ въ трактирѣ двухъ пріятелей, онъ имъ много говорилъ о «шампинионахъ» вообще и о «шампинионскомъ предпріятіи» Оладушкина въ частности. Тѣ смѣялись остротамъ и злости Таволгина. Смѣялись и тому, что онъ совершенно внезапно, безъ всякой связи съ предыдущимъ, предложилъ тостъ за здоровье «ахъ-дѣвушки». Какъ ни былъ онъ пьянъ однако, а любопытству пріятелей на счетъ подробностей объ «ахъ-дѣвушкѣ» не удовлетворилъ. «Понимаете, ахъ-дѣвушка... ну, и прекраснѣе-но», удовлетворялъ онъ несбывшімъ языкомъ, и больше отъ него ничего не добился.

Дунина въ этотъ вечеръ, укладываясь спать въ своей узенькой и низенькой комнатѣ, вспомнила Таволгина и совершенно неожиданно для себя разрыдалась. Сосѣдка по комнатамъ, молодая дѣвушка-курсистка, съ которою Марья Гавриловна была въ знакомствѣ, пришла къ ней на звукъ рыданій.

— Что съ вами, Марья Гавриловна? говорила сосѣдка, отпавшая ее водой.

— Счастья хочется! неудержимо вырвалось у Дунинной, и она спрятала свое горячее и мокрое лицо въ складки толстаго сѣраго платка, покрывавшаго грудь сосѣдки. Та была поражена. Она не ожидала отъ ровной, спокойной, замкнутой дѣвушки ни такихъ слезъ, ни такихъ словъ.

Им. Михайловскій.

БЛАРИЦЪ

(Grande plage et aspect général)

Светъ яркій день на снлажѣ знаменитомъ,
Гдѣ въ тихомъ воздухѣ могучая волна,
Зелено-синяя, какъ ашна съ малахитомъ,
Стремится къ берегу, вся нѣмой убрана.
Желѣзотъ ронный скатъ предъ польнымъ океаномъ,
Нестро усѣанный парадною толпой;
Внзв шумитъ дѣтей отрядъ передовой
И отражается на зеркалѣ песчаномъ;
Въ крылатыхъ юпочкахъ, босая до колѣнъ,
Разнятся дѣвочки съ прибрежною волною
И быстро пьются, бонсь достаться въ плѣнъ
Съ неожиданной силою бѣгущему прибою...
Иная устоитъ, одежду приподнявъ,
И на лицѣ ея—спокойная отвѣта,
И вокругъ ея ступней, ажъ чуть облобызавъ,
Журчатъ въ обратный бѣгъ пустившаяся влага...
А тамъ лазоревымъ, расклавленнымъ стекломъ
Вадываются валы, отвѣсны какъ стѣны,
И вдругъ завихрятся летучей гринвой нѣвы
И падаютъ, кнны обильнымъ жемчугомъ...
Тѣ горы влажныя, кишашія народомъ,
Позвы водѣтыхъ рукъ, червѣющихъ головъ,
Оттуда читается кликъ веселыхъ голосовъ,
Тамъ пляшутъ женщины, снлетяся хоромовомъ,
Иль, выившись на руки, съ оглядкою стоятъ:
Волна обрушится—и вдругъ ея раскатъ
Сорветъ ннч чепчики, нной разнечѣтъ носу—
И двинетъ всю толпу къ несчаинному откосу!..
И чѣмъ сердатѣй валъ—тѣмъ громче дружный смѣхъ,
Тѣмъ лица мокрая рунанѣ у всѣхъ...
Но часто въ сторонѣ, оставшаго отъ отада,
Плещна отжажнаго учить водоворотъ—
И вотъ сигнальный свистъ тревогу подаетъ:
Матросы кивнулись, но шумная гронада

Имъ воли не дается, вздымая гребни горъ,
 И съ тайной мукою слѣдить тревожный взоръ
 Чернѣющую тѣнь въ далекомъ захождѣ,
 Полуготовый трупъ, качаемой сквозной
 Неодолимою зеленою волной...
 Но баски смуглые, безстрашные въ работѣ,
 Уже перенеслись чрезъ буйные скалы
 И съ блѣдной пошею всплываютъ у скалы.
 И солнце чудное, блестящее надъ моремъ,
 Досуга не даетъ задуматься надъ горемъ:
 Горячій юный дуть побережье золотитъ,
 Сапфирный океанъ несетъ дыханье юны,
 А вѣна шумная и свѣтлая до боли
 Градами бѣлыми навстрѣчу вамъ бѣжитъ...
 Съ горы, украшенной вѣтвями вѣжной туй,
 Уже всякъ торопится на ласковый припекъ
 Всадить наемный стулъ въ уступчивый песокъ
 Принять воздушные отъ моря поцѣлуя.
 Толпа на берегъ невидимо растетъ,
 Все—стулья сѣрые да зонтики надъ ними,
 Халаты бѣлые съ тѣнями голубыми
 Подъ солнцемъ движутся, минуя весь народъ,
 И рядъ нагихъ ступней мелькаетъ откровенно;
 Но впрочемъ женщины, уныло и вдохновенно,
 И здѣсь придумали красивый башмачокъ
 Иль родъ сандаловъ, выходящей въ песокъ;
 Колпакъ соломенный съ широкими полями
 Имъ прячетъ волосы, скрываетъ полъ-лица,
 Но подъ навѣсами глубокаго чепца
 Порой вы встрѣтитесь съ волшебными глазами!
 И если этотъ взглядъ, застигнутый въ тѣни,
 Съ лѣтливой нѣгой укроется въ рѣсницы,
 Тревожитесь вдвойнѣ: испанки въ наши дни
 Здѣсь часто странствуютъ вблизи границы...
 Снизу межъ пубанкой, выываютъ продавцы
 Скороговоркою, съ рифмованною шуткой:
 «Сударыни, а здѣсь! Воспользуйтесь минутой!
 Первѣйшіе на свѣтѣ леденцы!
 Я самъ ихъ изобрѣлъ и жду отъ нихъ карьеры:
 Хранятъ отъ насморка, подагры, филоксеры!..»
 И вдругъ, укрытая въ купальный свой хитонъ,
 Какъ въ складкахъ ирамориныхъ, въ плащѣ до подбородка
 Проходитъ свѣтлая и юная красота:
 Черты столь вѣжными даритъ лишь Альбионъ.
 Всея жизни на кудряхъ воздушныхъ и алатистыхъ

И въ детскомъ чечевичъ съ поюзкой на ушнень,
 Какъ-бы рунялся передразнитимъ спомъ,
 Съ улыбкой синихъ глазъ, навивныхъ, но некротныхъ,
 Пѣвительная нѣсть направилась къ волнамъ,
 Досужихъ зрителей смутить по сторонамъ...
 И вотъ она, раскрывъ мокнущую хлябду,
 Въ пунцово курточкѣ, какъ рѣзвый мальчуганъ,
 Ужъ входитъ, прыгая, въ блестящій океанъ,
 Давъ руку плечную кузальщину Давиду...
 А эдакъ, у края волнъ, французъ ложится плечомъ,
 Собя осмысливши кѣлительнымъ нескотъ,
 И море теплое ему, какъ господину,
 И плещетъ на ноги и тихо мостъ спину;
 Онъ мутить, вѣжится; онъ счастливъ и лѣннъ...
 Но поедонъ близится, кончается приливъ.

Взойдите на гору: привольная картина!
 Необорванная лазурная равнина
 Предъ желтой выемкой покрытыхъ моремъ скалъ...
 Вѣча къ западу протянутый обвалъ,
 Вдлѣтъ фароса гигантская колонна,
 А ниже, съ выступа, межъ оселенъ скуной,
 Глядится въ океанъ, забытый и пустой,
 Дворецъ развѣнчанный Луи-Наполеона;
 Отелъ пышный и стѣламъ вострыхъ вдалѣ
 Богатый лучъ небось вокругъ повололѣтъ;
 Волной любуются скалистыя нагибы
 И, широкое синее чудесно неостранъ,
 Ложатъ отъ берега отороченныя галбы...
 Каинны вѣнны къ нимъ жостятся захнѣ —
 И вѣной вѣсено шумить его набѣга
 Въ краю вѣннательномъ сѣнѣ и вѣнн...

С. Андреевичъ.



ПРОЛОГЪ РОМАНА

На одномъ изъ васьмеестровскихъ бульварчиковъ сидѣла на скамейкѣ одинокая парочка.

Онъ былъ молодой человѣкъ, лѣтъ тридцати съ небольшимъ, въ костюмѣ, который въ наше время непременно обратилъ бы на себя вниманіе прохожихъ: «что за чудакъ ногъ, которому вздумалось нарядиться по-дѣтски?» А между тѣмъ этотъ костюмъ считался тогда моднымъ, и молодому человѣку былъ очень къ лицу. Стройный станъ его охватывался русской поддевкой тонкаго синяго сукна, съ дутыми металлическими пуговицами по борту; она была разстегнута, обнаруживая рубаху-косоворотку изъ дорогаго канауса, изъ-подъ которой видѣлись бархатные шаровары, засунутые въ высокіе закрюченные сапожки; на черныхъ кудряхъ сидѣла набекрень ямщицкая шляпа съ навиленнымъ перомъ. Этотъ костюмъ назывался «славянофильскимъ». Народъ называлъ господъ, его носящихъ, «тирольцами». Прибавлю еще, что изъ-подъ рукавовъ поддевки нашего щеголя бѣлѣлись безукоризненно-чистыя манжеты крахмальной сорочки, на рукахъ были свѣтлыя, цвѣта gris-de-perle перчатки, и онъ небрежно поигрывалъ тоненькою, элегантною тросточкой.

Онъ былъ красивый брюнетъ, смуглый и худощавый, считавшій по первому взгляду за итальянца, но форма широкаго носа и нѣсколько выдававшіяся скулы тотчасъ-же изобличали въ немъ кромѣнаго россиянина; на это указывало и само имя его: Платонъ Васильевичъ Гуслицъ. Въ манерѣ держать свою краси-

вую голову и всей посадкѣ тѣла видѣлось немало молодого задора, и, въ то-же самое время, выраженіе какой-то усталости, повременамъ выступавшее въ углахъ его чувственного пунцоваго рта, и мелкія лучеобразныя складки по сторонамъ живыхъ карихъ глазъ могли указать наблюдателю, что этотъ господинъ втеченіе своего недолгаго прошлаго успѣлъ ужъ немало извѣдать того, что у французовъ называется «жечь свѣчу съ обохъ концовъ». Чтобы тутъ-же и покончить съ внѣшней его характеристикой, дополню, что званіемъ онъ былъ дворянинъ, корнетъ въ отставкѣ, холостъ и прописанъ въ кварталѣ: «собственными средствами».

Подруга его была прехорошенькая, миниатюрная блондинка, пухленькая, съ невинными бирюзовыми глазками, къ которой очень шелъ ея простенькій, но живописный нарядъ. Она была одѣта въ красную «зуавку» — родъ блузы, свободно облегавшей ея пышный бюстъ и перетянутой широкимъ закированнымъ поясомъ. На головкѣ сидѣла соломенная «гарпальдіяка», съ краснымъ перомъ. Бурнусъ изъ свѣтлой лѣтней матеріи, отдѣланный бахромой и аграмантомъ, висѣлъ у нея на рукѣ, а въ кисти другой руки, затянутой въ дешевенькую фильдекосовую перчатку, она держала тоже дешевенькій, но отдѣланный разными финтифюшками зонтикъ, годящійся для чего угодно, только не для своего назначенія.

Изъ названій нѣкоторыхъ изъ перечисленныхъ принадлежностей туалета, самая память о которыхъ теперь ужъ утратилась, вы можете догадаться, что дѣйствіе моего разсказа относится къ началу шестидесятыхъ годовъ.

Былъ душный июньскій вечеръ. Заходящее солнце, которое втеченіе дня было нестерпимо, прощало съ василеостровскими аданіями, озаряя верхи крышъ съ бѣлыми трубами и сверкая ослѣпительной искрой на крестѣ андреевской церкви. Пахло известкой и пылью... Вдали грохотали колеса извозничьихъ дрожекъ... Гдѣ-то, далеко-далеко, завывала шарманка...

Разговоръ молодыхъ людей громко раздавался въ безвѣтряномъ воздухѣ.

Господинъ въ славянофильскомъ костюмѣ къ чему-то уговаривалъ молодую женщину, а та не сдавалась. Она сидѣла потупившись, рисуя на пескѣ бульварной аллеи концомъ своего зонтика зигзаги; и тихо твердила:

— Нѣтъ, не могу... Это нельзя...

Господинъ въ славянофильскомъ костюмѣ свирѣпо согнулъ въ кольцо свою тросточку, которая тотчасъ-же эластически распрямилась, стукнулъ ею о землю и нетерпѣливо воскликнулъ:

— Это наконецъ уже глупо, Надежда Петровна! (Онъ даже весь покраснѣлъ).

— Это еще что за новости? воскликнула блондинка, — вы съ ума сошли, милостивый государь?

— Простите, виновать, я забылся... Вашу ручку!

Надежда Петровна сидѣла надувшись, продолжая чертить зонтикомъ свои зигзаги и дѣлая видъ, что не слушаетъ.

— Ну, простите же, ради-бога! умоляющимъ голосомъ повторилъ молодой человекъ и пододвинулся ближе: — вы на меня разсердились?

— Разсердилась, еще-бы, конечно! запальчиво воскликнула блондинка: — вы уже богъ-знать что начинаете себѣ позволять! И я не понимаю, какое дава я вамъ право...

Легкое выраженіе досады и нетерпѣнія промелькнуло по лицу господина въ славянофильскомъ костюмѣ, но онъ тотчасъ-же сдержался, пододвинулся еще ближе къ блондинкѣ и, заглядывая ей въ лицо (между тѣмъ какъ та упорно отвертывалась), заговорилъ:

— Ну, чѣмъ мнѣ, чѣмъ мнѣ загладить свою вину? Хотите, я сейчасъ-же, вотъ здѣсь, на бульварѣ, передъ вами на колѣни встану?.. Я встану вотъ такъ, а вы меня прибейте... Хотите?.. Я готовъ на все! Только дайте сперва вашу ручку и позвольте напечатлѣть на ней почтительный поцѣлуй, въ знакъ моего глубокаго и чистосердечнаго раскаянія... Да ну-же, переищите гнѣвъ на милость, Надежда Петровна, и взгляните на меня своими милыми, добрыми глазками, если не хотите, чтобы вашъ преданный другъ погибъ отъ отчаянія!

Отказъ II.

Блондинка не выдержала, улыбнулась и бросила взгляд на наклонившееся къ ней красивое, смуглое лицо съ пламенными глазами, глядѣвшими на нее съ шутливою лаской... Какъ было тутъ устоять?.. Она разсмѣялась, кинула искоса взглядъ направо, нагѣво—вблизи не было никого—и протянула руку красавцу.

Тотъ схватилъ ее въ обѣ свои, откинулъ рукавъ красной зювки и напечатлѣлъ на этой пухленькой, бѣленькой ручкѣ, выше кисти, гдѣ бились синія жилки, три медленныхъ, одинъ за другимъ, поцѣлуи, въ засосъ... Затѣмъ, все не выпуская ее, началъ опять убѣдительною тономъ:

— Ну вотъ, теперь, когда миръ заключенъ, будемъ разсуждать благоразумно и хладнокровно. Почему вы не хотите ѣхать со мной къ Излеру? У васъ не можетъ быть никакой основательной причины, и все, что бы вы ни сказали противъ моего предложенія, можетъ быть объяснено однимъ только упрямствомъ... Ей-богу-же, одно только упрямство, Надежда Петровна, женское, ничѣмъ необъяснимое упрямство—поставить всегда и во всемъ на своемъ!

— Не упрямство, нѣтъ, нѣтъ! горячо перебила блондинка и даже топнула ножкой:—а только, я повторяю вамъ, не могу, не могу! И не приставайте ко мнѣ, Платонъ Васильичъ! Не могу!

— Скажите лучше, что вы не хотите—это будетъ вѣрнѣе, и тогда разговаривать нечего! Только я не понимаю, почему вамъ раньше такъ хотѣлось посмотриѣть Миннерашки?.. Вѣдь вы не разъ выражали желаніе тамъ побывать... И вотъ теперь вдругъ отказываетесь... Или уже у васъ охота отпала? Не интересно?

— Интересно, интересно, и я теперь опять вамъ скажу, что нѣтъ бы очень хотѣлось! воскликнула блондинка, и бирюзовые глазки ея засверкали,—только я имѣю много причинъ... Цѣлую массу!

— Ну, хорошо, посмотрите эту вашу цѣлую массу... Будемъ разбирать по порядку. Вонерыхъ...

Отъ загнулъ на рукѣ одинъ палецъ и вопросительно ждалъ.

— Впервыхъ, начала съ разстановкой блондинка, — я боюсь, что мнѣ неприлично...

— Неприлично? сдѣлать большіе глаза молодой человѣкъ, — это почему же вамъ неприлично, позвольте спросить?

— Тамъ бываютъ... эти вотъ... съ запинкой начала Надежда Петровна и смѣлке прибавила:—гадкія женщины!

— Какія это «гадкія женщины»? съ невиннѣйшимъ видомъ освѣдомился ея собесѣдникъ.

— Камелин, тихо сказала блондинка, и зардѣлась какъ вишня.

— Ха-ха-ха! Это прелестно!... О, какая еще вы институтка! Полноте, какъ вамъ не стыдно... Вы—замужняя женщина, и вдругъ у васъ такіе предрассудки... Ну, скажите, ради-бога, что они вамъ могутъ сдѣлать?... Да вы ихъ и не отличите отъ другихъ, увѣрю васъ! Наконецъ, вы не одна, а съ кавалеромъ...

— Тамъ пьяные бываютъ, вставила еще свое слово блондинка.

— А на улицѣ пьяныхъ вы не видали?.. Нѣтъ, вы просто очаровательны въ своей наивности, Надежда Петровна! Ну, да если, допустимъ, вы и увидите кого-нибудь подъ хмѣлькомъ,—что въ этомъ ужаснаго? Надѣюсь, вы не полагаете, что я захочу васъ подвергнуть какой-нибудь непріятности? Или можете-быть вы боитесь, что я самъ способенъ напиться?..

— Какой вздоръ! У меня этого и въ головѣ совсѣмъ не было!

— Ну, вотъ, видите: все, что вы пока выставили со своей стороны—чистый пустякъ! Согласитесь, что все это пока далеко еще не причины отказываться отъ моего предложенія...

— Ну, хорошо... положимъ... Но есть и еще...

— Что же еще?

Блондинка потупилась и, послѣ небольшого молчанія, тихо сказала:

— Я такъ плохо одѣта... Совсѣмъ не для гулянья...

— Вы плохо одѣты? воскликнулъ молодой человѣкъ.—Вы? Да вы очаровательно одѣты, Надежда Петровна!

— Полноте, вы надо мной насмѣхаетесь...

— Клянусь честью, говорю чистую правду! Вы обольсти-

тальны въ этой звуикъ! Вы способны фуроръ произвести, фуроръ, фуроръ!.. О Надежда Петровна, сколько въ васъ просто-душья!!

И наклонившись къ ней совсѣмъ близко, онъ медленно, съ разстановкой, отчеканивая каждое слово, прибавилъ глухимъ, задыхающимся шопотомъ:

— Знаете-ли вы, что вотъ теперь, въ эту минуту, какъ вы сидите и смотрите въ этой звуикъ, вы способны съ ума свести человѣка... закружить... погубить!!

Она сидѣла отвернувшись, по-прежнему потупившись въ землю, чувствуя, что ея собесѣдникъ обливаетъ ее всю своимъ восторженнымъ взоромъ, и краска смущенья, того радостнаго смущенья, которое чувствуетъ женщина, когда ею любятъ, горячимъ румянцемъ жгла ее личико и дѣлала ее еще интереснѣе.

— Такъ въ *этомъ-то* и состоятъ всѣ ваши причины, Надежда Петровна! прозвучалъ снова спокойный голосъ бронега.

— Нѣтъ, это не все... Мой мужъ... Павелъ Ивановичъ, прибавила она почему-то тотчасъ-же скороговоркой, — онъ вѣдь не знаетъ.... Я сказала прислугѣ, что вернусь черезъ часъ...

— Позвольте, перебилъ ее молодой человѣкъ, — вы сказали, что Павелъ Ивановичъ долженъ сегодня отправиться въ гости...

— Да, онъ ушелъ къ нашему экзекутору... Онъ, кажется, именниникъ. У нашего экзекутора...

— У *какого* экзекутора? усмѣхнулся молодой человѣкъ.

— Ахъ, чѣмъ вы придираетесь? Ну, онъ сослуживецъ мужа, конечно. Я разъ у него была вмѣстѣ съ Павломъ Ивановичемъ и чуть не умерла со скуки. Съ тѣхъ поръ я уже больше туда ни ногой! Представьте: мужичины въ карты играютъ, жены вдоль стѣнки сидятъ, молодежь подъ фортепьяно танцуетъ.... И ужъ молодежь только, еслибы вы видѣли! Умора да и полно! А танцуютъ такъ, что у насъ, въ институтѣ, всѣ бы въ ужасъ пришли!..

— Однако мы отдалились отъ предмета, началъ спокойно ея собесѣдникъ.—Итакъ, по разсмотрѣнн дѣла, выходитъ, что мужъ вашъ въ отсутствіи, а дома одна только кухарка... Кстат и

какъ зовутъ эту почтенную женщину? Оедосей, если не ошибусь?

— Оедосей, подтвердила Надежда Петровна и покраснѣла.

— Прекрасно-съ. Слѣдовательно, по возвращеніи вашемъ къ домашнимъ пенатамъ, васъ встрѣчаетъ Оедосей... Теперь будете слѣдить за событіями. Впервыхъ, чтѣ вы предпримете, на первыхъ порахъ, въ обществѣ этой интереснѣйшей личности?..

— Вѣлю ей поставить самоваръ и буду пить чай...

— Безподобно-съ! Затѣмъ?

— Затѣмъ что-нибудь почитаю, подожду Павла Ивановича...

— И долго вамъ придется сидѣть въ ожиданіи вашего безцѣннаго Павла Ивановича?

— Н-е знаю... Если мнѣ захочется спать — я лягу въ постель.

— Перспектива очаровательная! Пожалуйте сюда вашу ручку и позвольте мнѣ облабызать ее, въ знакъ моего благоговѣннаго преклоненія передъ вашими семейными добродѣтелями, бывшимъ украшеніемъ древняго Рима... Вотъ такъ. Благодарю! Теперь, à fin des fins, придемъ къ какому-нибудь соглашенію, потому-что, ей-богу-же, у меня терпѣніе лопаться начинается!

И играя рукою сосѣдки, какъ это дѣлаютъ съ дѣтьми, бряньетъ продолжалъ медленнымъ, торжественнымъ голосомъ:

— Revenons à nos moutons! Позвольте мнѣ высказать свое задушевное мнѣніе по поводу вашего обожаемаго супруга, Павла Ивановича. Я отнюдь не намѣренъ, конечно, профанировать вашъ священный союзъ... Брачныя узы — великая вещь! Но зато вы должны согласиться со мной, что мнѣ, какъ постороннему между вами лицу, видно многое такое, чтѣ отъ васъ ускользаетъ, какъ отъ ослѣпленной достоинствами своего супруга жены... Вы такъ недавно за нимъ еще замужемъ! Вы вся подъ его вліяніемъ! вы смотрите его глазами, слушаете его ушами! вы ему преданы, вы его обожаете! Вѣдь да, конечно, вѣдь вы его обожаете? О, да, еще-бы, конечно, вы его обожаете!

Она приостановилась, какъ-бы ожидая отвѣта. Блондинка молчала, пристально потупившись въ землю, о которую перво по-

стукнула носкомъ ботинки съ выраженіемъ досады и нетерпѣнія... Ея собесѣдникъ все это видѣлъ отлично, но ни малѣйшей тѣни насмѣшки не промелькнуло въ глазахъ его, устремленныхъ на молодую женщину, и голосъ звучалъ такъ-же торжественно... Онъ продолжалъ, все играя рукою сосѣдки:

— Итакъ вы его обожаете... Въ силу ужъ этого, никто посторонній, изъ болѣзней навлечь на себя вашъ гнѣвъ, не осмѣлится сказать о немъ что-либо дурное. Я тоже для васъ посторонній, но я нѣтъ болѣе правъ. *Я самъ другъ* — и потому позволяю себѣ больше, чѣмъ кто бы то ни было. И я скажу свое откровенное мнѣніе о Павлѣ Ивановичѣ. Павелъ Ивановичъ — превосходный мужъ, усердный чиновникъ, добрый, во всѣхъ отношеніяхъ достойный человѣкъ, заслуживающій счастья обладать такою прелестной особой, какъ вы... Я вполне его уважаю. Но... надо сознаться, что и на солнцѣ есть пятна, а потому этотъ безподобнѣйшій Павелъ Ивановичъ Хвостовъ во многихъ отношеніяхъ козпакъ... Да, Надежда Петровна, онъ — оселъ и козпакъ!

— Вы... вы... Послушайте, какъ вы смѣете! прискочила, вскинувшись какъ зарево, Надежда Петровна, вырывая отъ него свою руку.

— Те-те-те! Сердиться вы не имѣете права, такъ какъ позволили мнѣ быть откровеннымъ, а то, что я говорю — святая истина! Сядьте опять и выслушайте меня терпѣливо. Вотъ такъ... Я повторю, что онъ — оселъ и козпакъ...

— Платонъ Васильевичъ, пожалуйста...

— Вамъ не нравится это названіе? Извольте, я употреблю другое... Онъ — эгоистъ... Сущность дѣла отъ этого ничуть не мѣняется. Да, онъ эгоистъ, самый крайній, тупой, неисправимый эгоистъ, такъ какъ — и въ этомъ самое главное — онъ эгоистъ безсознательный! Онъ до-крайности узокъ. Онъ скромный, усердный труженикъ, весь его міръ — департаментъ, идеалы — повышенія по службѣ, ордена, награды... Вотъ кругъ его счастья! И, замѣтите, вѣдь онъ уже немолодъ, некрасивъ, даже комиченъ... Еслибы онъ былъ способенъ къ самоанализу, онъ долженъ

былъ бы повясть, что удѣлъ его идти до конца тою дорогой, ка-
кая ему предназначена... Нѣтъ, какъ можно, для него этого
мало! Онъ долженъ жениться! Онъ, для котораго высшее выра-
женіе семейнаго счастья — тарелка хорошаго супа и покойный
халатъ,—беретъ подругою жизни молодое, очаровательное суще-
ство, полное любви и поэзіи—и его совѣсть чиста! Вотъ гдѣ его
эгоизмъ! Онъ—пожилой, геморроидальный чиновникъ, она — мо-
лодая красавица, которая жаждетъ всего, чѣмъ услаждается жизнь,
которая знаетъ, что истинная сфера ея — блескъ, восторгъ, по-
клоненія... И онъ спокоенъ! Рѣше-бы, онъ сдѣлалъ для нея все,
что, по его понятіямъ, нужно: она сыта, обута, одѣта, она мо-
жетъ дѣлать, что хочетъ, можетъ и спать и книжки читать, мо-
жетъ даже съ молодыми людьми знакомство водить... Чего ей,
моль, еще нужно?.. Ха-ха!.. Ему и въ голову не можетъ придти,
что природа потребуетъ наконецъ своихъ правъ, что еслибы
онъ захотѣлъ быть послѣдовательнымъ, то онъ долженъ бы былъ
запереть свою молодую жену подъ замокъ, какъ встарину запи-
рали красавицъ въ своихъ теремахъ наши дѣды, долженъ ли-
шить и свѣта и воздуха, чтобы ни единый намекъ о той, другой
жизни, гдѣ есть счастливицы, которыя живутъ и наслаждаются,
не смущалъ ея затхлаго существованія... Да развѣ онъ не оселъ
и колпакъ послѣ этого!! Или можетъ-быть я ошибаюсь?.. Мо-
жетъ-быть вы вполне счастливы, довольны своею судьбою и ни-
чего больше не требуете?..

Онъ остановился, пронзительно смотря на блондинку. Та си-
дѣла, какъ статуя, не двигаясь и не подымая глазъ отъ земли.
Она не издавала ни единого звука, только грудь ея подъ звуковой
подымалась тяжелымъ и неровнымъ дыханіемъ, и казалось, что
вотъ-вотъ сейчасъ изъ глазъ ея должны хлынуть слезы...

— Вы молчите, Надежда Петровна?.. Отчего вы молчите? Вы
на меня разсердились? я васъ оскорбилъ?.. Да скажите-же мнѣ
что-нибудь!.. Скажите, что я все это лгу, что я васъ не повясть,
что я глупъ, нелѣпъ, подозрителенъ—и я стану умолять о про-
щеньи... Скажите же, скажите хоть одно только слово!..

Онъ замолокъ и ждалъ терпѣливо... Блондинка еще ниже опу-

стила голову, изъ глазъ ея выкатилась одинокая слезка и задрожала на подбородкѣ... Въ ту-же минуту изъ устъ ея вылетѣло пронасенное прерывистымъ, изволиованнымъ шопотомъ:

— Отстаньте... противный!..

Она круто отвернула лицо и молча сидѣла, не двигаясь, какъ-бы застывъ...

— Я правъ, тихо произнесъ молодой человѣкъ: — рано, къ содаю, это время наступить, когда вы вспомните мои слова... но, увы, можетъ-быть — и не дай этого Богъ! — вы не увидите близи себя никого, чье дружеское участіе было бы необходимо для васъ... Повторю: сохрани васъ отъ этого Богъ!.. Ну, а пока...

Онъ тяжело вздохнулъ, всталъ со скамейки и, протягивая руку блондинкѣ, сказалъ съ глубокимъ поклономъ:

— Прощайте, Надежда Петровна!

Она дрогнула и затрепетала, какъ-бы охваченная волненіемъ и страхомъ... Она молча смотрѣла на рисовавшуюся передъ ней неподвижно высокую фигуру брюнета и не подавала руки... Да, онъ правъ, онъ правъ, онъ разгадалъ, что въ ней происходитъ, онъ безпощадно растеребилъ и показалъ ей во-очію то, что смутно бродило въ глухихъ тайникахъ ея сердца и въ чемъ она сама себя боялась признаться... И даже въ послѣднее время, въ эти душныя, бѣлыя ночи, въ томлени безсонницы, лежа въ постели рядомъ съ мирно-храпящимъ Павломъ Ивановичемъ, она, измученная безплодными думами, подымалась съ подушекъ, подолгу смотрѣла на это худое, въ морщинахъ, съ открытымъ ртомъ, обнаруживавшимъ желтые зубы, лицо своего «законнаго мужа» — и мысль о какой-то опасности, о чемъ-то невѣдомомъ, неотвратимомъ и смутно-враждебномъ посѣщала вдругъ ея голову... И въ эти минуты, сидя въ кровати и обхвативъ руками колѣни, она принимала къ нимъ пылающимъ лбомъ и вся замирала въ безысходной истомѣ, а горячая кровь бунтовала въ вискахъ, и ей чудились звуки... нѣрные, ровные звуки какъ-бы гдѣ-то, вдали, катящихся волнъ, будто гдѣ-то, вдали, шумѣлъ и надвигался потокъ, все ближе и ближе, и вотъ наступить минута, когда онъ нахлынетъ, схватитъ ее и понесетъ за собою... Тогда, обезсилен-

ная, она падала опять на подушки и засыпала тяжелым, болезненным сномъ, полнымъ безобразныхъ видѣній... И вотъ теперь опять эти волны... Неужели наступила она, эта минута?.. Темное предчувствіе ей говорить, что не слѣдуетъ ѣхать, куда ее приглашаютъ, что она должна скрѣпиться, собрать всю свою волю... И она скрѣпится, она соберетъ всю свою волю!

Платонъ Васильичъ все стоялъ передъ нею съ протянутой въ знакъ прощанья рукою и смотрѣлъ на нее долгимъ, пристальнымъ взглядомъ... Она машинально пролетѣла, все не давая ему своей для пожатья.

— А какъ же?.. куда же вы?..

— Туда, на Минерашки, горько усѣхнулся бронежъ: — мнѣ давеча мечтался поэтический вечеръ, подъ развѣсистымъ деревомъ, вдали отъ шумной толпы, при отдаленныхъ звукахъ оркестра, въ задушевной бесѣдѣ съ близкою женщиной... Не удалось, ничего не подѣлалъ! Поѣду одинъ... Я вѣдь вѣчно одинъ. Знать, ужъ мнѣ на роду такъ написано... Итакъ позвольте вашу ручку, Надежда Петровна, и разстанемся... Становится поздно!

Боже, что дѣлать?.. Она оглядѣлась по сторонамъ, испытывая жестокою минутою борьбы. Было, дѣйствительно, поздно. Солнце уже скрылось. Ровный, матовый полусвѣтъ окутывалъ деревья бульвара. Въ мелочной лавкѣ, наспротивъ, забрезжился красноватый, тусклый огонь. Отдаленный рокотъ колесъ экипажей слышался явственнѣе. Гдѣ-то, на Невѣ, просвисталъ пароходъ... А дома, въ это время, Федосья томится въ ожиданіи барыни, чтобы закончить этотъ день исполненіемъ своей последней обязанности — поставить и подать самоваръ, послѣ чего можно ужъ спать... И потомъ тишина... Бѣлая ночь, глядящая смѣлыми очами въ окошки квартиры... Монотонный стукъ маятника... Возвратившійся домой Павелъ Ивановичъ и расскажетъ его, сквозь зѣвоту, о вечерѣ на именинахъ у эскутора...

Она вдругъ встала со скамейки и торопливо, задышавшись, сказала:

— Вденте! Я готова...

Спусти долгіе годы, въ теченіе другой, позднѣйшей полосы своей жизни, она много разъ вспоминала эту минуту. Все произошло точно сквозь сонъ. Она помнила только, какъ Платонъ Васильчъ вдругъ просіялъ, захопотаъ, заговорилъ, схватилъ лежавшій на скамейкѣ бурнусъ, убѣждалъ его надѣтъ, убралъ, что становится холодно; она машинально подставила плечи, онъ надѣлъ ей бурнусъ, потомъ подавъ ей руку, а она оперлась на эту руку и пошла съ нимъ по аллеѣ. Она чувствовала и сознавала только одно: волны ее подхватили и мчали - мчали впередъ, безъ конца...

На перекрестіи они остановились. Брюнетъ что-то крикнулъ въ пространство — и въ ту-же минуту къ нимъ съ грохотомъ подкатилъ колеска. Линь ясно, раздѣльно, прозвучало въ ушахъ ее восклицаніе суетника:

— На Минеральныя! туда и обратно!

Мих. Амбозъ.

ЛЕНЕНДА

Это древнее-ль сказанье?
Пѣсня-ль ветхой старины?
Словно сонныхъ струй журчанье,
Словно дальній звонъ струны —
Въ часъ раздумья, въ часъ мечтанья,
Сладкихъ звуковъ сочетанья
Я ловлю среди тишины.
Кто-то свѣтлый, кроткій, милый
Тихо рѣшетъ надо мной:
Миротъ, лаской, жизнью, силой
Дышитъ образъ неземной.
Звукъ за звукомъ безмятежной
Чередой въ тиши плыветъ...
Голосъ милый, голосъ нѣжный
Пѣсню чудную поетъ:

За горами, за морями,
Годъ за годомъ чередой,
Позабитыми тронами
Ходить витязь молодой.
Онъ идетъ — и боръ дремучій
Разступается передъ нимъ;
Подъ его стопой могучей
Глухота мраморныя кручи
Вѣковыми хребтомъ своимъ.
Змѣй, влѣча свои извивы,
По травѣ за нимъ ползетъ;
Левъ, трясая косматою гривой,
По стопамъ его бредетъ;
И орелъ и воронъ черный
Вслѣдъ за нимъ четкой поперной
Направляютъ свой полетъ.
Онъ идетъ... Передъ нимъ — темница,
И несмысленный гранитъ
Чуждою дѣснаца,
Какъ стекло, дробится, крошится.
Сталью скованнаго звеня
И желѣзные замки
Ослабнѣли въ нѣмоу,

Какъ сухіе лозистки.
 Какъ мерцающіе вѣды пугливыхъ
 Въ блескѣ утренней зари,
 Среди кумиренъ горделивыхъ
 Потукають алтари.
 Съ мертвыхъ идоловъ спинають
 Златотканый онъ покровъ
 И виссонъ покрываетъ
 Наготу спречь и вдовъ.
 Шелкъ и жемчугъ обрываетъ
 Съ рвомъ жемчужной жемчужины,
 Онъ чинитъ, благословляя,
 Мрежи бѣдныхъ рыбаковъ.
 На курганахъ гробовыхъ,
 Въ чарой волшебства,
 Смыкаетъ зерна золотыя
 „Изъ правова рукава“.
 Дремлетъ мать-земля сырая...
 Но мгновенно, гдѣ, сверкая,
 Огни дивные задеетъ,
 Отверзнутся неслы,
 И, полна воскресной силы,
 Ротъ великая встанетъ...

С. Орутъ

ПОХОРОНЫ

По английской набережной въ солнечное весеннее утро медленно подвигалась похоронная процессія.

Впереди выступали въ черныхъ плащахъ факельщики. Гробъ, обитый золотымъ газетомъ, везли лошади въ траурныхъ попонахъ. За гробомъ молча шла высокая, седая старуха въ креповой вуали. Ее окружали дѣти — худая двадцатилѣтняя дѣвушка, сынъ-офицеръ и два гимназиста. Пять или шесть знакомыхъ держались немного поодаль. Это чиновники, они хоронятъ товарища.

Я спѣшилъ на васильевскій островъ и проѣхалъ мимо гроба, снявъ шляпу.

Но едва извозчикъ мой сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, какъ мы поровнялись съ другимъ извозчикомъ, везшимъ худого, угрюмаго человѣка съ розовымъ гробикомъ на колѣняхъ. Рядомъ съ нимъ сидѣла его жена и плакала.

— Помогъ скорѣе!

Не дожидая никлаевского моста, мы поровнялись съ новой похоронной процессіей. Дубовый съ серебряными бляхами гробъ провожалъ священникъ. Но за гробомъ шелъ всего одинъ человѣкъ. Онъ былъ старъ и сѣдъ, въ поношенномъ пальто, и глаза его покраснѣли отъ слезъ. Очевидно, это слуга покойнаго, который былъ одинъ. Баринъ умеръ — и старый лакей закрылъ ему глаза.

Соблюдая обычай, я опять снялъ шляпу.

— Пошелъ, извозчикъ!

Солнце продолжало ярко свѣтить надъ Петербургомъ, и красныя зданія по набережной Васильевского острова отчетливо рисовались въ прозрачномъ воздухѣ. Дымчатая прозрачная пелена тумана облегла только петропавловскую крѣпость. Несмотря на апрѣль, было тепло, какъ лѣтомъ.

Мы проѣхали мостъ, и вдругъ на поворотѣ я опять увидѣлъ похоронную процессію, направлявшуюся къ смоленскому кладбищу. Не было ни священника, ни факельщиковъ. Въ черномъ плащѣ и цилиндрѣ лѣниво и апатично съ ногами сидѣлъ на дрогахъ возница, и бѣлый гробъ, украшенный бѣлымъ вѣнкомъ, тихо тащили лошади. Ихъ невѣроятную худобу плохо скрывали даже суконныя порыжѣлыя попоны, и у одной изъ клячъ, словно пораженный параличомъ, висѣлъ желтый и противный языкъ.

Въ толпѣ, шедшей за гробомъ, бѣлый вѣнокъ котораго и бѣлый цвѣтъ гласилъ о цѣломудріи и чистотѣ отлетѣвшей въ лучшій міръ души, не было ни одного мужчины: толпа душъ въ двадцать исключительно состояла изъ молодыхъ дѣвушекъ въ модныхъ шляпкахъ, огромныхъ турнюрахъ и плохо-сшитыхъ пальто съ претензіей на щегольство. Мнѣ показалось, что многихъ изъ нихъ я часто встрѣчалъ на Невскомъ въ тѣ часы, когда начинается смеркаться. Онѣ весело и безопасно болтали, подобно галкамъ, кружащимся надъ безмолвнымъ храмомъ, и, вѣрныя своему ремеслу, нѣкоторые изъ нихъ заглянули на меня и машинально улыбнулись.

Конечно, онѣ хоронили свою подругу. Тифъ подстерегъ ее гдѣ-нибудь въ мрачномъ закоулкѣ, или чахотка изнурила ее, или тоска, прикрытая маской безпечности? Сколько горя вынесла она и сколько униженій! Я невольно подумалъ:

«Господи, прости ее! Испунившая грѣхъ свой пыткой позора, да предстанетъ она и на судъ твой въ бѣлой одеждѣ!»

Л. Толстой

ПАСТЫРЬ

Эпюдъ

I

— Зачѣмъ поѣду я? неужели только ради того, чтобы удовлетворить свое любопытство? подумалъ Мамуна, взглядывая на часы и бессознательно слѣдя за стрѣлками. Въ меблированной комнатѣ его былъ беспорядокъ. Небольшой увязанный чемоданъ стоялъ у дверей. Все было приготовлено къ отъѣзду.

— Алексѣй Ивановичъ, не опоздайте, сказала хозяйка, заглядывая въ дверь:—вамъ извозчика наняли.

— Сейчасъ, сейчасъ, Мавра Петровна.

Онъ захватилъ свои вещи и вышелъ.

— Неужели, размышлялъ онъ,—этотъ человѣкъ разрѣшить мои сомнѣнія, когда никто не могъ разрѣшить? неужели тутъ нѣтъ ничего исключительнаго? Тогда какъ объяснить все, что говорятъ? Высшая индивидуальность всегда обличаетъ необыкновеннаго человѣка. Въ чемъ выразилась она тутъ? въ силѣ ли живого слова, въ строгой ли жизни, въ непосредственномъ ли обаяніи мощной натуры?

И онъ сталъ перебирать въ памяти все то, что слышалъ отъ хозяйки. Вотъ что онъ слышалъ:

Въ маленькомъ городѣ жилъ будто-бы одинъ необыкновенный священникъ. Онъ получилъ свыше даръ пророчества, исцѣ-

ленія больныхъ, утѣшенія несчастныхъ. Къ нему съѣзжались и стекались съ разныхъ сторонъ богатые и бѣдные. Всѣхъ удовлетворялъ онъ. Пожертвованія и вклады приносились ему наперерывъ. Онъ все раздавалъ нищимъ, строилъ богоугодныя заведенія и церкви; самъ же велъ простую трудовую жизнь.

И вотъ къ нему-то теперь и ѣхалъ молодой художникъ, Алексѣй Мамуна.

II

Путь былъ почти конченъ. Толпа народа хлынула на мостовую. Вмѣстѣ съ другими вышелъ и Мамуна.

Нѣсколько небольшихъ синихъ длинжансовъ стояли одинъ за другимъ вдоль мостковъ. Первый длинжансъ уже наполнился нубанкой. Молодая, хорошо-одѣтая дама, съ истомленнымъ лицомъ, веда подъ руку старика въ военной фуражкѣ и медвѣжьей шубѣ, разспрашивала кондукторовъ:

— Куда съѣсть, мнѣ нужно на соборную площадь? Не знаете ли, далеко до дома Кукова?

— Пожалуйте сюда, сюда, наставительно говорилъ толстый кондукторъ, весь красный отъ холода, какъ обожженный самоваръ. Онъ давно привыкъ обходиться съ пассажирами, какъ съ дѣтьми. Мамуна вспомнилъ, что и ему нужно на соборную площадь, и поспѣдовалъ за дамой. Ему очень хотѣлось взять извозчика, какъ это всегда привыкъ дѣлать, но такъ какъ онъ рѣшилъ теперь тратить на себя какъ можно меньше, то отказался отъ этой мысли.

Длинжансъ тяжело загремѣлъ по камнямъ. Стекла въ немъ звенѣли, стѣнки сотрясались и производили непрерывный тягостный шумъ. Пассажиры тѣснились на лавкахъ, обдавая другъ друга горячимъ дыханіемъ. Въ запотѣвшія окна едва можно было различить мелькавшіе по сторонамъ дома. Городъ былъ невеликъ, но тѣснъ и состоялъ большей частью изъ каменныхъ, лишенных всякой архитектуры, строеній. Безпорядочный видъ его еще болѣе увеличивали огромные кирпичные казармы и казенаты, насадившіеся на каждомъ шагу.

— Соборная площадь! объявилъ кондукторъ, просунувъ въ дверь голову. Мамуна поднялся и вышелъ изъ экипажа. Небольшой бѣлый соборъ одиноко вывышался среди площади. Къ нему примыкало съ одной стороны нѣчто вродѣ бульвара. Было два часа дня, но на тротуарахъ почти не видѣлось народа.

Маленькая оборванная дѣвочка несмѣло приблизилась къ Мамунѣ.

— Вамъ къ отцу Пансію? спросила она: — онъ теперь въ домѣ Кускова.

— Далеко это?

— Нѣтъ, недалеко. Я васъ провожу.

— Пусть заработаетъ что-нибудь, подумалъ Мамуна и послѣдовалъ за дѣвочкой. Дилижансы окружили нищіе, кагѣки и убогіе. Иадали безпрестанно слышалось:

— Въ домъ Кускова, у Кускова, я провожу васъ! Нѣтъ, а! Я знаю, гдѣ батюшка. Не слушайте его.

— Вы чего тутъ лѣзете! Пошли прочь!

Гнѣвный голосъ кондуктора покрылъ всѣ восклицанія; кучеръ хлестнулъ лошадей, дилижансы покатались, и протянутыя руки нищихъ опустились безъ подачки.

III

На соборную площадь выходила небольшая узкая улица. Дѣвочка и Мамуна вошли въ нее. Вдоль стѣнъ домовъ по всему протяженію улицы толпились нищіе, странники, странницы и монашенки. Убогіе и увѣчные напереры въставляли свои язвы и болячки, выпрашивая милостыню. Казалось, сюда собрались нищіе со всей губерніи, но особенное стеченіе народа было около высокаго каменнаго дома, петербургскаго типа. Онъ принадлежалъ купцу Кускову.

Дѣвочка указала Мамунѣ входъ и, получивъ монету, поспѣшила опять на площадь, а онъ вступилъ на лѣстницу. Здѣсь

суета и толкотня была страшная. Пожилые женщины въ темных ситцевыхъ платьяхъ перебѣгали съ площадки на площадку, перебраниваясь другъ съ другомъ. Простой народъ удерживали внизу у входной двери, а наверхъ только пускали пріѣзжихъ, да и то кто почище одѣтъ. Среди общаго шума изъ устъ въ уста передавалось:

— Батюшка въ третьемъ номерѣ, а сейчасъ пойдетъ въ пятый. Господа, пожалуйста наверхъ. Сказано, батюшка придетъ въ пятый номеръ!

И Мамуну повели въ пятый номеръ. Это была квартира въ четыре комнаты съ однимъ входомъ. Направо отъ прихожей находилась кухня, выкрашенная охрой. Она была набита сундуками и постелями. На плитѣ блестялъ ярко вычищенный мѣдный кубъ. За кухней была общая (общая спальня для бѣдныхъ богомолковъ). Пятью шли двѣ небольшія, узкія комнаты, а въ серединѣ квартиры находилась большая свѣтлая горница съ голубыми обоями и кисейными занавѣсками на окнахъ. Солнце заливало ее свѣтомъ. Въ переднемъ углу возвышались пять-шесть большихъ и малыхъ иконъ съ зажженными лампадами. Посреди комнаты виднѣлся столъ, уставленный закусками и фруктами. На блюдечкахъ и тарелкахъ лежали сардинки, зернистая икра, темнозолотистый копченый сигъ, виноградъ, яблоки, груши, пряники, настия; тутъ-же стояла полубутылка хересу.

Пріѣзжая купчиха, собравшая этотъ столъ для угощенія батюшки, съ живымъ нетерпѣніемъ ходила по комнатѣ. Хозяйка квартиры, бойкая, расторопная, не старая еще женщина, съ вороватымъ лицомъ и зоркими сѣрыми глазами, утѣшала ее, утѣряя, что батюшка нынче всѣ номера обойдетъ.

— Вамъ комнату? спросила она, замѣтивъ Мамуну.

Онъ хотѣлъ остановиться въ гостиницѣ, но тутъ ему пришло въ голову, что только здѣсь онъ можетъ увидѣть батюшку въ его сферѣ и составить себѣ дѣльное впечатлѣніе.

Сообразивъ все это, онъ отвѣчалъ:

— Да, комнату.

— Такъ вотъ эта сейчасъ освободится, сказала хозяйка,

окинулъ новаго постояльца испытующимъ взоромъ и рѣшилъ про-
себя, что онъ можетъ заплатить дорожку другимъ.

— Хорошо, согласился онъ:—вы, кажется, говорили, что отецъ
Пансій сюда придетъ?

— Безпремѣнно придетъ. Онъ сейчасъ въ третьемъ номерѣ.

— А если вдругъ не захочетъ придти? робко произнесла ку-
чиха, страшась своего предположенія.

— Уже обѣщала, такъ значитъ придетъ, убѣжденно про-
изнесла хозяйка:—вотъ еще господа его ждутъ. Она кивнула
головой въ корридоръ.

Мамуна увидѣлъ тамъ даму съ истомленнымъ лицомъ и ста-
рика въ медвѣжьей шубѣ, съ которыми ему пришлось ѣхать въ
дилижансѣ.

— Я пойду пока въ третій номеръ, сказалъ онъ хозяйкѣ.

Она загадочно усмѣхнулась.

— Не знаю, пройдетъ-ль. Народу, поди, тамъ много.

— Пройду.

И онъ вышелъ на лестницу.

IV

У раскрытыхъ дверей третьяго номера происходила свалка.
Женщины въ ситцевыхъ платьяхъ съ ожесточеніемъ отталкивали
направившихъ на нихъ богомольцевъ. Одна изъ нихъ пихнула
Мамуну. Сдержанность его тотчасъ пропала (онъ ѣхалъ и вошелъ
сюда со смиреніемъ и кротостью, безъ всякихъ предвзятыхъ
мыслей и съ искреннимъ желаніемъ чему-нибудь поучиться); онъ
отстранилъ прислужницу и прошелъ въ комнаты. И адѣсь густо
тѣснились богомольцы. Толпа почти сплошь состояла изъ же-
нщинъ. Только кой-гдѣ видѣлся долгополый сюртукъ приказчика
или широкій кафтанъ кушца. Въ углу усердно отбивалъ поклоны
становой приставъ. Мундиръ его рѣзко выдѣлялся среди темныхъ
одеждъ странницъ и монахинь. Почти всѣ богомольцы были изъ
простого званія. Тутъ находились жены лавочниковъ, сидѣльцевъ,

купишки, ножицы бѣлошвейки, прачки и стряпки. Всѣ онѣ крестились, вздыхали и не спускали глазъ съ служившаго молебень священника.

Онъ былъ средняго роста, худощавъ и благообразенъ. Сухіе русые волосы его раисыпались по плечамъ. Бѣдное лицо его не отличалось выразительностью. Но его и не успѣлъ рассмотреть Мамуна, такъ какъ священникъ часто кланялся. Наконецъ онъ обернулся и поднялъ крестъ. Толпа устремилась къ нему. Приложившіеся отходили прочь, набожно крестились и мочили голову святой водой. Но тѣснота и давка все усиливались. Высокій купецъ, зорко стерегшій каждое движеніе священника, пробрался впередъ и воскликнулъ:

— Пятюшка, сдѣлайте милость, не откажите молебень отслужить.

— Хорошо, хорошо, отвѣчалъ тотъ и направился въ другую комнату.

Женщины окружили его, цѣловали на ходу его руки, полы рясы, рукава. Онъ благословлялъ ихъ и съ ласковой улыбкой поворачивалъ вокругъ свое лицо. Дородная купчиха, въ жесткомъ шелковомъ платьѣ, все время державшая запечатанный конвертъ, туго набитый мелкими кредитками, протянула его священнику. Тотъ передалъ деньги плотному, румяному человѣку въ хорошемъ сюртукѣ и узкихъ штанахъ, который все время находился около него и принималъ жертвованія.

Въ сосѣдней комнатѣ былъ накрытъ столъ. На немъ совершенно такъ-же, какъ и въ пятомъ номерѣ, были, разложены на тарелкахъ и блюдечкахъ яблоки, груши, виноградъ, закуски, и стояла полбутылка хересу. Тутъ еще видѣлся тайный приборъ. Пузатый самоваръ кипѣлъ на окнѣ. Мамуна поняла, что здѣсь собирали столъ по извѣстному уставу.

Священникъ отслужилъ молебень, и опять стали подходить къ кресту.

Въ это время шумъ и гамъ на площадкѣ лѣстницы внезапно прекратились: хозяйка квартиры со своими прислужницами нахо-

пецъ отгѣснила назойливыхъ богомольцевъ, и ей удалось завереть за собой дверь.

— Соблаговолите, батюшка, откушать, сказалъ купецъ, собравшій столъ.— Чаю не прикажете-ли?

Священникъ молча опустился съ усталымъ видомъ въ кресло.

Купецъ тотчасъ подагъ ему налитый до краевъ стаканъ. Священникъ не глядя захватилъ нѣсколько кусковъ сазару и опустилъ ихъ въ горячій чай.

— Внѣца не соблаговолите-ль? продолжалъ купецъ, поднося рюмку мадеры.

Священникъ не торопясь выпилъ ее, налилъ другую и подагъ своему спутнику съ румянымъ лицомъ. Тотъ, съ явнымъ удовольствіемъ, опрокинулъ ее себѣ въ ротъ.

Въ время этого угощенія въ комнатѣ соблюдалась величайшая тишина. Женщины, вытянувъ шею, съ дышащими фанатизмомъ лицами, неподвижно устались на священника. Онѣ боялись проронить каждое слово, упустить малѣйшій его жестъ, ничтожное движеніе. Онѣ всецѣло предались созерцанію. Одно восторженно-благоговѣнное настроеніе охватило толпу, и, смотря на нее, Мамуна понялъ, какъ совершаются религіозныя движенія.

Когда, по мнѣнію купца, батюшка достаточно угостился (тотъ едва прикоснулся къ закускамъ), онъ выступилъ впередъ и проговорилъ умоляющимъ голосомъ:

— Батюшка, отецъ родной, съ великой я къ вамъ просьбой. Сынъ у меня лежитъ крѣпко болѣнъ. Видѣнія разныя ему представляются, бѣсы и нечистая сила. Такъ иной разъ затрасется, затрасется весь и закричитъ благимъ матомъ. Словно полуумный стагъ. Ужъ не знаемъ, что и дѣлать.

— А пилъ онъ раньше?

— Пилъ, шибко пилъ, что грѣха таить.

— Ну, вотъ оттого-то все и вышло, съ привѣтливой улыбкой сказалъ священникъ:— не пилъ бы, былъ бы здоровъ. Пить ему не давайте! съ внезапной строгостью прибавилъ онъ:— проидеть.

— Батюшка, а вотъ къ другому моему сынишкѣ родничикъ привязался. Просто извелся совсѣмъ.

Тутъ жена купца выступила впередъ и съ рыданіемъ повалилась на колѣни.

— Помогни, батюшка, помолись за насъ грѣшныхъ!

— Мать? спросилъ онъ.

— Мать, произнесъ купецъ.

— Ну, встань, встань, грѣхъ такъ отчаяваться. Все отъ Бога—и радость, и печаль. Все къ его волѣ. Лѣчили вы дитя? Давно это съ нимъ началось?

— Давно, съ малолѣтства, отиѣчала женщина.

— Какъ найдешь на его припадокъ—простыней накройте. Пусть такъ полежитъ, пока не успокоится.

— Освятите простыньку, батюшка, воскликнула женщина, нѣспѣшно развертывая полотно.

Священникъ сдѣлалъ крестное знаменіе и, помочивъ пальцы святой водой, прикоснулся къ простынѣ. Женщина тихо всхлипывала, купецъ молча утиралъ кулакомъ слезы. Толпа въ благоговѣніи замерла.

Странное чувство охватило Мамуну. Не видъ священника, не его слова, а то безграничное смиреніе, та глубокая вѣра, которая выражалась во взорахъ, движеніяхъ и мольбахъ всѣхъ этихъ бѣдныхъ людей, наввно раскрывавшихъ свои страданія и ожидавшихъ исцѣленія, до глубины души растрогала Мамуну. Онъ видѣлъ и сознавалъ, что и это хорошо; онъ понималъ, что потрясенные и оживленные молитвой эти люди хоть временно становились лучше, чище, нравственнѣе.

Воспользовавшись минутнымъ затихшемъ, впередъ пробралась плохо-одѣтая старушка и подала священнику клочокъ бумаги.

— Батюшка, дорогой, какъ будешь въ городѣ, пріѣзжай къ намъ, торопливо заговорила она, боясь, какъ бы ее не отогнали:—матушка моя при смерти лежитъ. Батюшка, исцѣли, голубчикъ, дорогой. Вотъ адресокъ-то. Скажи, когда пріѣдешь?

— Не могу обѣщать. Занятъ я сильно, но будетъ время—зайду.

Изъ толпы выступило еще нѣсколько человекъ. Всѣ протягивали бумажки съ адресами и умоляли священника посѣтить ихъ. Онъ поднялся съ мѣста. Въ комнатѣ произошло общее движеніе. Хозяйка квартиры бросилась очищать дорогу. Священникъ направился къ выходу, и опять женщины стали цѣловать его руки и платье. Едва онъ вышелъ на площадку, какъ хозяйка нятаго номера со своими прислужницами, давно подстерегавшая его, окружила его и, подхвативъ подъ руки, повела наверхъ. Толпа хлынула вслѣдъ за ними, но прислужницы мужественно оттѣснили ее, и, какъ только священника ввели въ квартиру, захлопнули дверь и задвинули засовъ.

Но оставшіеся на площадкѣ богомольцы не унывали. Распространился упорный слухъ, что батюшка непременно обойдетъ сегодня всѣ номера, и стеченіе народа все увеличивалось.

У

Мамуна, шедшій позади священника, былъ тоже остановленъ служанкой.

— Ты куда? воскликнула она, наваливаясь на него плечомъ— свалка разгорячила ее:—вѣдь былъ выпзу, чего же сюда лѣзешь?

— Да я здѣсь остановился, возразилъ онъ. Хозяйка квартиры, услышавъ его слова, кинулась къ дверямъ и крикнула:

— Пусти, пусти, ахъ ты ослѣпла, Вѣрка!

Служанка смутилась, тотчасъ пропустила Мамуну и мгновенно заперла за собой дверь.

— Извините, обозналась, не доглядыла, оправдывалась она:— пожалуйста, не сердитесь. Народу много: не остерегись—всѣхъ гостей разгонять.

— Ничего, ничего, сказалъ Мамуну и прошелъ впередъ. Священникъ уже служилъ молебенъ, и румяный дятлокъ подтигивалъ молитвы.

Несмотря на то, что здѣсь были другіе богомольцы, странницы и монашки, Мамунѣ показалось, что кругомъ все та-же

толпа, потому-что она была исполнена той-же восторженности и воодушевления. И здѣсь женщины, одѣвѣнныя на мѣстѣ, вытягивали съ любопытствомъ головы и стерегли каждое движеніе священника.

Послѣ службы въ общей, прѣѣзжая купчиха, занимавшая ту комнату, гдѣ былъ накрытъ столъ, и которую хозяйка уже сдала мысленно Мамунѣ, упростила батюшку отслужить ей молебенъ. Онъ пошелъ туда, и женщины нослѣдовали за нимъ.

Послѣ молебна купчиха спросила батюшку закусить. Онъ сѣлъ къ столу. Ему подали стаканъ чаю. Повторилось то-же самое, что внизу.

— Батюшка, голубчикъ, дорогой, помоги мнѣ, воскликнула купчиха, робко выступая изъ толпы.

Хозяйка квартиры подталкивала ее, шепча:

— Иди, иди, теперь говори все, онъ выслушаетъ.

Священникъ поднялъ на нее глаза.

— Мужъ мой трудно боленъ. Помолись за него, не оставь насъ своею милостью.

Она заплакала.

— Чѣмъ боленъ?

— А Господь его знаетъ. Десятый годъ уже лежитъ.

— А чѣмъ онъ занимается?

— Купцы мы, голубчикъ, купцы, желѣзные товары торгуетъ.

— А, помню, помню. Сбирательница ты: угощать меня любишь.

Онъ ласково усмѣхнулся. Купчиха вся просвѣтлѣла. Послѣдняя робость исчезла въ ней.

— И то узналъ меня, дорогой. Въ прошлый годъ была я.

— Помню, была, была.

Мамуна, стоявшій позади всѣхъ, подошелъ къ столу и сѣлъ на диванъ. Священникъ проникательно посмотрѣлъ на него, увидѣвъ сосредоточенное, серьезное лицо, неподвижные черные глаза и проговорилъ:

— Вдумчивый вы человекъ.

Мамуна промолчалъ.

— А что вы русскій? спросилъ священникъ, глядя на его аркую черную бороду.

— Русскій, природный москвитъ.

— Отранно, очень странно. Игра природы. Вы служите?

— Нѣтъ, не служу.

— А, значитъ, есть свои средства.

И батюшка опять посмотрѣлъ на него, размышляя, затѣмъ онъ могъ приѣхать къ нему. По одеждѣ, манерамъ, а главное по лицу Мамуны онъ понялъ, что имѣетъ дѣло не съ совѣтнымъ обыкновеннымъ богомольцемъ. Опытъ и природная пронзательность подсказывали ему, что передъ нимъ сомнѣвающимся, страстнымъ и пытливымъ человѣкъ.

А Мамуна тоже размышлялъ о немъ, изучая его лицо.

Въ священникѣ съ виду не было ничего особеннаго. Стровато-голубые глаза его съ точно-расколовшимися зрачками не были ни глубоки, ни прекрасны. Это были ласковые, добрые, постоянно напряженные, а потому усталые глаза. И все въ немъ было также просто и скромно. За этой простотой ничего не скрывалось. Такова была сущность его природы.

Мамуна видѣлъ многихъ великихъ людей. Онъ зналъ, какое впечатлѣніе они производили на него.

Онъ сидѣлъ теперь и думалъ:

— Въ чемъ же тайна обаянія этого священника? почему отовсюду стекаются къ нему? въ чемъ его сила?

— Вотъ видите, съ утра до вечера я такъ занятъ, славя батюшка, глядя на Мамуну,—и грѣшить некогда (онъ кротко ухмыкнулся). Да и слава-богу.

— Трудно должно-быть вамъ?

Священникъ вздохнулъ.

— Чтò дѣлать, какъ же быть безъ труда. Богъ велѣлъ.

Онъ опять посмотрѣлъ на Мамуну и, не будучи въ состояніи опредѣлить его общественное положеніе, спросилъ:

— Вы чтѣмъ же занимаетесь?

— Я... художникъ, произнесъ съ усиліемъ Мамуна. Ему всегда было трудно говорить, что онъ художникъ.

— И портреты пишете?

— Пишу.

— А позвольте узнать вашу фамилію?

Мамуна назвалъ себя.

— Слышалъ, слышалъ, любезно сказалъ священникъ.

— Батюшка, произнесъ съ нѣкоторымъ смущеніемъ Мамуна, — хотѣлось бы мнѣ побесѣдовать съ вами. Можно вечеромъ придти къ вамъ?

— Можно, отчего-же. Только я рѣдко бываю дома.

— Въ какомъ часу лучше всего?

— Въ семь; да, да, приходите въ семь, сказалъ священникъ.

Онъ взялъ полный стаканъ чаю и подаль Мамунѣ.

— Кушайте на здоровье.

Мамуна принялъ стаканъ. Толпа съ удивленіемъ смотрѣла на необычайную честь, оказанную ему. Священникъ взялъ другой стаканъ и отлилъ чай на блюдечко.

— Вѣра, поди сюда, проговорилъ онъ.

Служанка, не впуская Мамуну, нескѣю приблизилась къ столу.

— На тебѣ. Анюта!

Вошла другая женщина.

Священникъ отлилъ ей немного своего чаю въ чашку.

— Мавра, на тебѣ. Софія—тебѣ. Елена! гдѣ Елена? Вотъ, на тебѣ.

Хозяйка квартиры помѣстилась около самовара и, непрерывно наливая чай, подавала его священнику. Тотъ съ просвѣленнымъ, благостнымъ видомъ одѣлалъ прислужницъ и страницъ чаемъ. Онъ со страхомъ и радостью принималъ блюдечки и чашки изъ его рукъ. Чай казался имъ святымъ и чудодѣйственнымъ. Онъ твердо вѣрили въ это. Благоговѣйный восторгъ сіялъ на лицахъ присутствовавшихъ. Они были проникнуты одной мыслью, однимъ чувствомъ. И еще разъ Мамуна повялъ, какъ совершаются религіозныя движенія.

Видя священника въ свѣтломъ и радостномъ расположеніи духа (раздавъ чай, онъ нѣкоторое время отдыхалъ, и его усталый видъ придавалъ ему особую почтенность), купчиха, собравшая столъ, достала фотографическую карточку и приблизилась къ нему съ перомъ въ рукѣ.

— Подпиши, голубчикъ дорогой, умоляюще просила она.

Онъ взялъ перо, написалъ свое имя и кому дать на память свой портретъ. Купчиха была въ безграничномъ восторгѣ. Наконецъ священникъ поднялся съ мѣста, вспомнивъ, что слишкомъ засидѣлся. Онъ быстро пожалъ руку Мамунѣ и прибавилъ:

— До-свиданья.

Въ сосѣдней комнатѣ его ужъ ждали, и чрезъ минуту онъ служилъ тамъ молебень.

Только черезъ два часа онъ обошелъ всѣ квартиры дома Кускова и направился домой. Но у подъѣзда лошадь его, испугавшись толпы, стала бить. Народъ подхватилъ священника на руки и повесъ по улицѣ. Мамуна, привлеченный шумомъ, выглянулъ изъ окна. Онъ увидѣлъ оживленное шествіе и слѣдилъ за нимъ, пока оно не скрылось за угломъ.

Къ семи часамъ квартиры совершенно опустѣли. Пріѣзжіе богомолцы ушли въ соборъ. Мамуна отправился къ священнику. Его не оказалось дома. Прислуга сообщила, что минутой десять тому назадъ за нимъ явились посланные отъ вельмож и увезли его.

На другой день Мамуна уѣхалъ.

Анатолій Леманъ.

С.-Петербургъ, 1887.

НА НЕВЪ

Нѣтъ ночи, а не день. Надъ мирною Невой.
Вечерняя зоря румянится тепло,
Не вѣтеръ ужъ нахнулъ прохладною ночью
И морщитъ свѣтлыхъ водъ спокойное стекло.
Пурпурнымъ янтaremъ пылають окна апацій,
Какъ будто-бы тамъ ночь справляетъ ниръ весны.
Узоры нестрые далекіхъ очертаній
Въ лиловый полусвѣтъ, какъ въ дымъ, погружены.
Удавомъ канценымъ виѣтается цѣнь гранита
И паутиной нѣтъ черѣютъ корабли...
Умыло ночь молчить, и грусть кругомъ разлита,
И слышнѣтъ надохъ небось въ молчаніи земли...

И точно чей-то глазъ, какъ луть любви случайный,
Мнѣ въ душу заглянулъ нѣжливо и свѣтло,
И все, что было въ ней загадкою или тайной—
Все въ звуки облеклось, все нѣмъ обрѣло.
И страннымъ мечтамъ, больнымъ до истоми,
Наполнили меня блаженною тоской...
И снится, что вокругъ всѣмъ мнѣннымъ хоромъ,
Несъ эта ночь и блескъ намъ вызваны мечтой.
И снится — даль небось, какъ полость, распахнется
И канценымъ громадѣ недвижимой караванъ
Нотъ-нотъ сейчасъ, сейчасъ, волнуясь колыхнется —
И въ блѣднѣхъ небосахъ несомнется, какъ туманъ!

И. Феофановъ.

1888, апрѣль.

НА ПОРОГѢ КЪ СЛАВѢ

ПЕТЕРБУРГСКІЙ АНЕКДОТЪ

I

— Здѣсь редакція «Русскаго Генія»?..

Швейцаръ дома № 6, высокій и жирный, съ виду скорѣе похожій на архіерея, чѣмъ на швейцара, обвелъ стоявшаго передъ нимъ бѣдно-одѣтаго, блѣднолицаго юношу величественно-соннымъ взглядомъ и, медленно сунувъ въ лѣвую ноздрю нюшку табаку, указалъ на верхъ. Юноша поблагодарилъ его легкимъ кивкомъ и нерѣшительнымъ шагомъ сталъ взбираться по лѣстницѣ. Робкій взглядъ красныхъ глазъ, перерывистое дыханіе плоской груди и крѣпко прижатый подъ мышкой внушительный свертокъ явно обличали въ незнакомца одного изъ тысячи тѣхъ легкомысленныхъ юношей, которые, гордо отвергнувъ благотѣльные совѣты друзей и родственниковъ, упорно стремятся вкусить отъ горькаго плода литературной славы. Исторія Захара Краснушкина (имя героя) поэтому ничѣмъ не отличалась отъ тысячи исторій подобныхъ ему легкомысленныхъ юношей.

Будучи еще въ гимназій, онъ усиленно бомбардировалъ редакція разныхъ журналовъ и газетъ своими стихотворными посланіями. Посланія эти тщательно избирались изъ толстой зашитой тетрадки, заключавшей въ себѣ полное собраніе поэти-

ческих опытов Краснушкина. Тутъ было и бурное стихотвореніе: «Мнѣ все равно—пускай смѣется надъ чувствомъ жалкая толпа!» и мрачная сатира: «Душно мнѣ въ салонахъ свѣта!» и два граціозные сонета, посвященные «Любовницѣ-цыганкѣ» и «Морской волнѣ» и цѣлая серія прочувствованныхъ посланій, озаглавленная: «Мосму другу Тишѣ Сидорову». Несмотря однако на избранность посылаемыхъ пьесъ, отвѣтовъ «Любимецъ Музъ» (псевдонимъ Краснушкина) или вовсе не получалъ, или же, если и получалъ, то обыкновенно черезъ посредство «почтового ящика» въ видѣ болѣе или менѣе остроумныхъ совѣтовъ — «слѣзть съ чахаляго Пегаса», «не терзать безбожно чужихъ ушей» и т. п. — Неудачи, однако, нисколько не ослабили энергіи Краснушкина, хотя довольно тяжело отозвались на его литературномъ направленіи, въ конецъ засушивъ въ его груди благоуханные цвѣты поэзіи и превративъ пламеннаго лирика въ прозаика и драматурга. Понавъ изъ гимназій на службу въ банкъ на двадцатипятирублевый окладъ мелкаго чиновника, Краснушкинъ не упалъ духомъ и яростно принялся за сочиненіе драмы. Черезъ три мѣсяца послѣ начала работы имъ была воспроизведена на свѣтъ трехактная «поэма-драма», подъ названіемъ: «Послѣдній поэтъ». Говоря по секрету, въ грандіозномъ образѣ поэта Монбланова Краснушкинъ драматизировалъ свою собственную особу. Въ первомъ актѣ изображалось бѣдственное положеніе живущаго на 8-й улицѣ Песковъ (мѣстожителство Краснушкина) великаго, но еще никому неизвѣстнаго поэта Монбланова. Во второмъ актѣ Монблановъ, уже достигшій апогея своей славы, блистаетъ въ петербургскихъ салонахъ и пользуется любовью графини Тюльпановой (приблизительная картина недалекаго будущаго Краснушкина). Въ послѣднемъ актѣ Монблановъ, неужившійся въ великосвѣтскихъ салонахъ съ своимъ прямодушнымъ нравомъ, возвращается вновь на Пески и умираетъ съ голоду, поясняя зрителямъ въ пространномъ монологѣ, что въ нашъ матеріальный вѣкъ поэзія положительно процвѣтать не можетъ и что онъ, Монблановъ, послѣдній поэтъ. Умереть съ голоду, конечно, не входило въ расчеты Захара Краснушкина и, только уступая

общепринятымъ требованіямъ драмы, онъ прибѣгнулъ къ такой тяжелой развязкѣ. Въ громкомъ успѣхѣ своего «Послѣдняго поэта», въ случаѣ напечатанія, онъ не сомнѣвался ни на минуту.

Однако, по мѣрѣ приближенія къ дверямъ редакціи, Краснушкинымъ овладѣвало нѣкоторое малодушное безпокойство. Напечатають ли, *воиъ азъ чемъ вопросъ?*.. О, конечно, напечатають... Только-бы прочли рукопись «до конца». Въ его драмѣ есть мѣста, которыя должны захватить самаго черстватаго человѣка. И для возбужденія увѣренности къ своему дѣтищу, Краснушкинъ задекламировалъ вполголоса предсмертный монологъ Монбланова... «Гау... гау!» раздался вдругъ подъ его ногами отчаянный визгъ... Краснушкинъ очнулся и тутъ только замѣтилъ, что чуть не раздавилъ собаченку-крысоловку, которую вела на лентѣ спускавшаяся сверху толстая барыня. Толстая барыня смѣрила его гнѣвнымъ взглядомъ и поспѣшила взять крысоловку къ себѣ на руки. Краснушкинъ покраснѣлъ, что-то пробормоталъ въ извиненіе и ускорилъ шагъ. Черезъ минуту онъ былъ передъ дверью редакціи.

Необычайное волненіе охватило все существо его. Чтобы хоть немного овладѣть собой, Краснушкинъ принялся перечитывать вывѣщенное на дверяхъ объявленіе, но въ глазахъ его рябило и онъ ничего не могъ разобрать, кромѣ двухъ стоящихъ передъ нимъ огненныхъ строкъ: «Редакція газеты «Русскій Геній»... Личныя объясненія съ г. редакторомъ отъ 3 до 4 час. пополудни». Онъ долго бы, вѣроятно, не рѣшился позвонить, еслибы не вышедшій изъ противоположной двери офицеръ въ ринсе-резъ, который, проходя мимо, какъ показалось Краснушкину, ironically покосился на толстую трубку рукописи. Это оскорбленіе самолюбія Краснушкина и вмѣстѣ съ тѣмъ возбуждало его рѣшимость. Онъ взялся за ручку звонка и потянулъ. Прошло нѣсколько минутъ—дверь оставалась запертою. Неужели я опоздалъ? испугался Краснушкинъ и вынулъ свои никелевые часы. Часы показывали половину четвертаго. Нѣтъ, какъ разъ! Чего же они не отворяютъ? Они обязаны отворить. Каждый имѣетъ право предлагать свой трудъ—на то редакція. «Впрочемъ, можетъ-быть

я тихо позвонилъ», успокоилъ себя Краснушкинъ и снова потянулъ ручку звонка, на этотъ разъ довольно энергично. Но онъ прождалъ почти четверть часа и никто не отворилъ. «Что жь это такое?» завопилъ мнительный авторъ: «если лакей куда-нибудь посланъ, я полагаю, могъ бы побеспокоиться кто-нибудь изъ сотрудниковъ. Или они чувтъ по звонку, что звонить не литературный генералъ, а только начинающій! Такъ что жь такое, что я начинающій? Развѣ они могутъ опредѣлительно сказать, что изъ меня выйдетъ впоследствии... О, чортъ возьми, я чувствую, что изъ меня современемъ все выйдетъ!!»—И Захаръ Краснушкинъ дернулъ звонокъ въ третій разъ рѣшительно и съ ожесточеніемъ. Дверь отворилась.

II

Въ Петербургѣ, въ ряду газетъ либеральныхъ и ретроградныхъ, большихъ и малыхъ, серьезныхъ и шуточныхъ, существуютъ непремѣнно двѣ-три газеты, которыя издаются, извините за выраженіе, чортъ знаетъ для чего. Литературная политическая и «прогрессивная» газета «Русскій Геній» была именно типомъ подобнаго органа. Происхожденіе такихъ газетъ обыкновенно самое фантастическое. Невѣдомо откуда является благодѣтель, дающій деньги на изданіе, вслѣдъ за благодѣтелемъ выѣзжаетъ на свѣтъ божій никому невѣдомый редакторъ, въ свою очередь привлекающій за собой легионъ никому невѣдомыхъ сотрудниковъ, дотога невѣдомыхъ, что, разъ изданіе прекращается, вы никого изъ нихъ ужъ больше никогда не встрѣтите на литературныхъ горизонтахъ. Существованіе такихъ газетъ такъ-же неопредѣленно и недолговѣчно, какъ туманна и неопредѣленна ихъ фязіономія. И, несмотря на то, что подобныя газеты считаются подличничкомъ лишь десятками и издаются на грязноватой и неурисливо-тонкой бумагѣ, главная ихъ особенность заключается въ томъ, что они до смѣшного стараются подражать солиднымъ распространяемымъ органамъ, но интимности, конечно—

въ распредѣленіи отдѣловъ и статей, а отнюдь не по содержанию, котораго не имѣется, точно глупый подростокъ, выбивающійся изъ силъ, чтобы его приняли за большого. Самое названіе такихъ газетъ бысть въ носъ свою претенциозностью, въ которой, однако, редакторъ не перестаетъ видѣть всю силу своего изданія. Покрайней мѣрѣ редакторъ «Русскаго Генія» Іеронимъ Артамоновичъ Унтиловъ придавалъ какое-то магическое значеніе придуманному имъ названію (хотя и не притягивавшему подписчиковъ), какъ вообще придавалъ необыкновенное значеніе всякой показной сторонѣ газетнаго дѣла: названію отдѣловъ и статей, яркости псевдонимовъ, всякимъ громкимъ фразамъ и трескучимъ заглавіямъ. Но особеннымъ, такъ-сказать мистическимъ ореоломъ старался онъ окружить свою собственную особу, такъ какъ, по его внутреннему убѣжденію, редакторъ газеты былъ вовсе не простой руководитель изданія, а существо до нѣкоторой степени загадочное и сверхъестественное. И, дѣйствительно, печать этой загадочности лежала на всѣхъ дѣйствіяхъ Іеронима Унтилова, начиная съ его отношеній къ посѣтителямъ и сотрудникамъ и кончая обстановкой его собственнаго кабинета.

Исходя изъ того положенія, что редакторъ газеты долженъ быть заваленъ работой по горло, Унтиловъ не иначе выходилъ къ посѣтителямъ, какъ въ халатѣ, слегка растрепанный, извѣщая усталымъ голосомъ, что не успѣлъ переодѣться, потому-что, неизмѣнно поясняя онъ, «адски много работы». Это, по его мнѣнію, давало тонъ газетѣ. Его кабинетъ, надъ дверью котораго красовался картонъ съ исполнискою надписью: «Кабинетъ редактора», не могъ не возбудить священнаго трепета въ молодомъ, начинающемъ посѣтителѣ. Сравнительно небольшая комната, съ высокими венеціанскимъ окномъ на улицу, сверху донизу была загромождена книгами, газетами, рукописями и корректурами. Мебели было немного. Посреди письменный столъ, у окна—диванъ и въ глубинѣ—огромный книжный шкафъ, убитанный бюстомъ какого-то философа, какого—съ точностью неизвѣстно, такъ какъ къ самому его носу была приставленъ картонъ съ наклееннымъ объявленіемъ объ изданіи «Русскаго Генія»; такіе-же

точно объявленія висѣли по обѣимъ сторонамъ шкафа. На полу, на полкахъ, на подоконникѣ, всюду навалены были груды книгъ, связки старыхъ номеровъ газетъ, вороха корректуръ. Письменный столъ, сплошь заваленный корректурами и пакетами съ печатью редакціи, едва оставлялъ мѣсто для подсвѣчника о шести свѣчахъ съ огромнымъ абажуромъ—символомъ «адской работы». На самомъ видномъ мѣстѣ стола возлежалъ краснаго сафьяна портфель съ тисненой золотомъ надписью: «Портфель редактора». Высокое готическое кресло передъ столомъ, хотя и не имѣло на спинкѣ ярыка «кресло редактора», но самъ Унгиловъ питалъ къ нему явное чувство благоговѣнія и, въ случаѣ посѣщенія «кабинета редактора» какой-нибудь титулованной особой, придвигая особѣ это единственное въ комнатѣ кресло, произносилъ съ аффектаціей: «Позвольте, ваше—ство, предложить вамъ кресло *самого* редактора!» Просторный кожаный диванъ у окна служилъ мѣстомъ склада поступившихъ въ редакцію рукописей, которыя валялись тутъ въ страшномъ безпорядкѣ и безбожно измятыя, такъ какъ означенный диванъ, служа сидѣніемъ лицамъ нетитулованнымъ и сотрудникамъ редакціи, служилъ въ то-же время ложемъ сна и отдохновенія послѣ «адской работы» *самого* редактора. Но всѣ посѣтители безъ исключенія должны были испытывать смертельную тоску, вступая въ это «святая святыхъ» редакціи, потому-что говорить съ человекомъ, по природѣ ограниченнымъ и аналитичнымъ, неизмѣнно опускавшемъ на свою сонливую физиономію при бесѣдѣ съ постороннимъ забрано какой-то глубокомысленной таинственности, едва-ли могло представлять интересъ. Говорилъ Унгиловъ мало и даже не говорилъ, а какъ-то скупю цѣдилъ разныя заученныя фразы о призваніи «Русскаго Генія», о массѣ подавляющей редактора работы и т. п., и опять-таки въ силу того убѣжденія, что редакторъ, чтобы поддержать себя на достойной высотѣ, не долженъ расточать передъ постороннимъ запасъ идей, столь необходимыхъ для изданія. Какимъ образомъ при подобномъ редакторѣ могла хоть сколько-нибудь двигаться сложная машина изданія газеты—извѣстно одному Богу и секретарю редакціи—длинному, лысому и нескладоватому нѣм-

ду—нѣкому «Якову Ивановичу». Этотъ Яковъ Ивановичъ за 40 рублей въ мѣсяцъ продалъ «Русскому Генію» свою нѣмецкую душу и работалъ какъ волъ—за редактора, конторщика, корректора и проч., что представляло особенную трудность, принимая во вниманіе, что сотрудники въ «Русскомъ Геніѣ» мѣнялись чуть не ежедневно. Г. Утилова подобное столпотвореніе нисколько не смущало, ибо въ глазахъ послѣдняго эта безтолковщина была не что иное, какъ «необходимое кровообращеніе газетнаго организма», и когда кто-нибудь его спрашивалъ: «кто у васъ завѣдуетъ такимъ-то отдѣломъ?» онъ прехладнокровно отвѣчалъ: «Не могу вамъ сказать ничего опредѣлительнаго. У меня вѣдь составъ редакціи постоянно обновляется. Вы знаете, дѣло редактора—давать общій тонъ газетѣ, а что касается до частности, то это всецѣло уже принадлежитъ секретарю редакціи—Якову Ивановичу». И Яковъ Ивановичъ, въ знакъ согласія, наклонилъ свою лысую, усердную голову. Впрочемъ, изъ толпы сотрудниковъ выдѣлился въ скоромъ времени маленькій, черненькій и чрезвычайно вертлявый жидочекъ, занимавшійся репортерствомъ и изъ какихъ-то отдаленныхъ выгодъ довольно прочно прильпившійся къ «Русскому Генію». Этотъ жидъ былъ лѣвой рукой честнаго нѣмца, хромавшаго въ русское языкъ, какъ этотъ въ свою очередь былъ правой рукой Утилова, незнавшаго ни одного иностраннаго. Словомъ, дѣло «редакціи» было такъ-же смутно, какъ смутно было прошлое этихъ трехъ представителей «Русскаго Генія».

III

Удостоившись чести проникнуть въ «кабинетъ редактора» Краснушкину удалось не ранѣе, какъ спустя недѣлю послѣ своего перваго нашествія на редакцію «Русскаго Генія», нашествія, неознаменовавшагося сверхъ всякаго его ожиданія ничѣмъ выдающимся. Дверь ему отворилъ вертлявый жидочекъ и, замѣтивъ рукопись, направилъ его къ работавшему за своей конторкой «Якову Ивановичу». Аккуратный нѣмецъ, на выраженіе Крас-

нушкинымъ желаніе переговорить «объ условіяхъ» съ самимъ редакторомъ, тотчасъ перемѣнилъ добродушное выраженіе своей фязіономіи на глубокомысленное и на цыпочкахъ направился къ кабинету редактора, откуда явственно доносилось чье-то мѣрное хрюпаніе. Черезъ минуту Яковъ Ивановичъ осторожно-тихо затворилъ дверь, точно въ комнатѣ лежалъ тяжело-больной, вышелъ на цыпочкахъ изъ святилища и объявилъ юношѣ, что г. редакторъ «страшно занятъ» и въ настоящее время не можетъ его принять и что самое лучшее, если Неггъ Краснушкинъ потрудится зайти въ редакцію черезъ недѣлю, около 3-хъ часовъ пополудни. При словахъ нѣмца: «редакторъ страшно занятъ», два волосатые человѣка, строчившіе согнувшись надъ длиннымъ письменнымъ столомъ, подняли головы и фыркнули; но Яковъ Ивановичъ строго посматрѣлъ на волосатыхъ людей, и тѣ, согнувши спины, снова закрипѣли перьями. Мертвая тишина, царствовавшая въ редакціи, и мизерность обстановки помѣщенія, весьма напоминавшаго собой приемную полицейскаго участка, произвели на начинающаго писателя угнетающее впечатлѣніе. Хотя онъ и сдѣлалъ свое толстое дѣтище подъ росписку секретаря редакціи, но внезапный страхъ обуялъ его, когда онъ вышелъ на улицу, страхъ за художественно-переписанный и единственный экземпляръ своей драмы, очутившійся въ рукахъ совершенно незнакомыхъ ему людей, казенно-равнодушно отнесшихся къ торжественному моменту его жизни. Но онъ вспомнилъ, что у него дома остались черновые листки пронаведенія, и тотчасъ-же успокоился. Вотъ чтѣ онъ сдѣлаетъ: онъ возьметъ черновики, сложитъ ихъ въ компактный пакетъ, пакетъ зашьетъ въ холщевую ладанку, а ладанку будетъ носить постоянно на груди впередъ до напечатанія драмы: тогда ему все равно—хоть гори весь Петербургъ! Онъ такъ и сдѣлалъ, какъ думалъ. Первое время онъ, правда, слегка покашливалъ отъ надавливавшей на грудь массивной стонки, но привычка взяла свое, и, сидя въ «присутствіи» надъ какимъ-нибудь мертвымъ отношеніемъ, онъ испытывалъ неизъяснимо-сладкое чувство, ощущая иногда подъ оттопырившейся грудью рубашки драгоценные черновики.

Отвѣтъ ли говорить, что вся недѣля, предшествовавшая рѣшительному дню, показалась Краснушкину безбожно-длинною и проведена была имъ въ состояніи перемежающейся лихорадки. Съ товарищами по службѣ онъ былъ разсѣянъ и загадоченъ и два раза получилъ замѣчаніе отъ начальника отдѣленія за свои отлучки изъ присутствія. Краснушкинъ дѣйствительно два раза заходилъ въ переулокъ, сосѣдній съ улицей, гдѣ помѣщалась редакція, волнуемый предчувствіемъ, что рукопись его прочитана ранѣе срока, и редакторъ ждетъ не дожидается познакомиться съ авторомъ. Въ сущности онъ былъ крайне удивленъ, что не получалъ изъ редакціи благодарственного письма. Съ часа на часъ ждалъ онъ телеграммы отъ редактора съ лаконическимъ сообщеніемъ: «Драму прочелъ. Страшный талантъ. Жжду познакомиться». Но проходили дни, а телеграммы не приносили, и пытка Краснушкина продолжалась. Наконецъ, рѣшительный день насталъ. Роковой день какъ разъ счастливо пришелся въ вербную субботу, и Краснушкинъ былъ свободенъ съ 2-хъ часовъ.

Было безъ четверти три, когда Захаръ Краснушкинъ, вдоволь нагулявшись передъ домомъ, гдѣ помѣщалась редакція, поднимался по знакомой лѣстницѣ. Онъ напрасно хотѣлъ овладѣть собой: сердце его отбивало подъ завѣтной ладонкой 120 въ минуту, и, когда онъ очутился передъ дверью редакціи и потянулъ за ручку звонка, въ его глазахъ забѣгали какіе-то странные зеленые мальчики. Слегка пошатываясь, но въ то-же время стараясь придать своей растерлиной фізіономіи небрежное равнодушіе редакціоннаго завсегдатая, переступилъ Краснушкинъ порогъ «Русскаго Генія». Попрежнему ему отворилъ дверь вертявый жидочекъ, попрежнему лысый нѣмецъ-секретарь редакціи работалъ за своей конторкой, и только, вмѣсто двухъ волеватыхъ людей, строчилъ согнувшись за длиннымъ письменнымъ столомъ совершенно безбородый юнецъ съ утиной шеей. На невнятное бормотаніе Краснушкина, Яковъ Ивановичъ глубоко-мысленно кивнулъ головой и обязательно направился къ запертымъ дверямъ. Черезъ минуту за дверью послышалось что-то протяжное зіваніе, слово «чортъ» и шумъ подавляемаго кресла—

и Яковъ Ивановичъ, явившись на порогѣ кабинета, съ торжественностью королевскаго герольда возвѣстилъ: «Г. редакторъ проситъ васъ пожаловать въ свой собственный кабинетъ!»

Какъ очутился Краснушкинъ «въ собственномъ кабинетѣ редактора», онъ не могъ дать себѣ отчета; но когда понемногу онъ пришелъ въ себя, изъ окружавшаго его бумажно-книжнаго моря отдѣлилась длинная фигура въ петертомъ, полосатомъ халатѣ, указавшая ему покровительственнымъ жестомъ на диванъ, заваленный манускриптами. Плюхнувшись тупо на «рукописное» сидѣніе дивана, юноша жадно впился глазами въ длинную фигуру и весь обратился въ слухъ. Редакторъ былъ высокій, худощавый брюнетъ съ низкими лбомъ, сонными глазами и длинными висячими усами китайскаго образца. Нѣкоторая помятость физіономіи и растерзанность одежды весьма уподобляли его подгулявшему мастеровому, но величественность жестыкуляціи и олимпійское спокойствіе, съ которыми онъ держалъ себя, краснорѣчиво предупреждали о редакторскомъ званіи. Иеронимъ Унтиловъ тѣмъ болѣе вошелъ въ свою роль, видя, съ какимъ робкимъ видомъ сидѣлъ передъ нимъ Неггъ Краснушкинъ. На этотъ разъ онъ развязалъ свой редакторскій языкъ, рѣшившись подавить юношу своимъ величіемъ.

— Виновать... въ халатѣ... масса работы... просидѣлъ ночь всю напролетъ! пробурчалъ Унтиловъ и потянулся съ видомъ изнеможенія.

— Я предполагаю, закинулся-было Краснушкинъ (намѣреваясь затѣмъ встать: «вы все-таки успѣли познакомиться съ моимъ произведеніемъ»).

— О, вы не можете предположить, перебилъ его Унтиловъ, проницески скрививъ ротъ. — Вы, милостивый государь мой, слишкомъ молоды, чтобы составить себѣ хоть приблизительное понятіе о той адской работѣ, на которую обречены мы, редакторы. Это нѣчто непостижимое для вашего неопытнаго ума. Взгляните вокругъ себя (Краснушкинъ оглянулся): что вы видите? Груды корректуръ, манускриптовъ, иссека... Каждый ключокъ, каждую ничтожную бумажонку редакторъ долженъ прочесть, провѣрить,

освѣтить. Глазъ редактора долженъ быть всюду—въ типографіи, въ конторѣ, въ редакціи. Если редакторъ думаетъ поработать день—онъ едва одолѣетъ половину дѣла, и вотъ онъ работаетъ всю ночь, до зари и, наконецъ, совершенно разбитый и обезсиленный, засыпаетъ въ своемъ креслѣ.—Унтиловъ опрокинулся на спинку редакторскаго трона и протяжно зѣвнулъ.

— Будьте добры, г. редакторъ, какъ все... все... забормоталъ снова юноша.

— Какъ велика отвѣтственность редактора? досказалъ за него Унтиловъ.—О, страшная, колоссальная. Обсчитала сотрудника контора—виновать редакторъ, затерялась рукопись—виновать редакторъ, напуталъ корректоръ—виновать редакторъ. Малѣйшая опечатка, малѣйшая оплошность, всегда и во всемъ виновать бѣдный редакторъ. Но это еще что! А отвѣтственность редактора передъ общественнымъ мнѣніемъ, передъ народомъ... передъ Россіей? (Унтиловъ поднялъ надъ головой указательный палецъ правой руки). Знать, что каждый вашъ шагъ, каждое ваше слово толкуется на тысячу ладовъ дома и за-границей. О молодой человѣкъ, не дай вамъ Богъ когда-нибудь стоять во главѣ большаго политическаго органа! (Унтиловъ упорно сохранялъ удивленіе на второмъ слогѣ).—Краснушкинъ, начавшій терять терпѣніе, рѣшилъ повернуть дѣло круто:

— Цѣль моего желанія, началъ онъ безсвязно, но рѣшительно...

— То-есть, вы хотите сказать, цѣль моего изданія, машинально поправилъ его Унтиловъ,—вы хотите знать, въ чемъ заключается программа «Русскаго Генія»? Она такъ-же обширна, какъ сама Россія. (Унтиловъ отклашлянулся) Прежде всего, что такое представляетъ собой Россія, какую точку зрѣнія установить на это огромное сложное тѣло—вотъ загадка, достойная Эдипа. Недаромъ еще Гоголь сравнивалъ Россію съ бойкой тройкой и, обращаясь къ ней, восклицалъ: «Русь, куда ты несешься? дай отвѣтъ!» (Унтиловъ глубокомысленно выморкался) Теперь, что такое редакторъ русской прогрессивной газеты? Это такъ-сказать лишицкъ, направляющій тройкой—Россіей. Куда

онъ повернуть — туда она и носкачетъ. Поверну я направо — она полетитъ направо, дерну я... — Но долготерпѣніе Краснушкина лопнуло:

— А какъ вамъ понравилось мое сочиненіе?? выстрѣлилъ онъ прямо въ упоръ самоодѣйнаго «возницы». Вопросъ этотъ выскочилъ изъ Краснушкина совершенно невольно, какъ пробка изъ бутылки, въ которой, чересчуръ много скопилось всякихъ газовъ.

Утиловъ, остановленный въ своемъ теченіи, немного сморщился, но, однако, ни на минуту не вышелъ изъ своего олимпийскаго спокойствія. Онъ взялъ лежавшую вблизи него на столѣ сигару, медленно закурилъ ее и, строго сдвинувъ брови, откашлянулся. Краснушкинъ сидѣлъ ни живъ, ни мертвъ.

— Я вашу рукопись прочелъ, протянулъ Утиловъ, пустивъ по адресу Краснушкина нѣсколько колецъ табачнаго дыма. — Я человекъ, могу сказать, вполнѣ либеральный и допускаю въ беллетристику безусловную свободу фантазій, но знаете что: на мой взглядъ ваша Фатима чересчуръ абстрактна... Ея «тоска по горамъ» ничѣмъ не мотивирована!

— Какая Фатима? какая тоска?.. изумился Краснушкинъ.

— Pardon, pardon! Я ошибся. Это романъ Перепрѣлова: «Курсистка-черкешенка»... О, я очень радъ, что у васъ нѣтъ и тѣни тенденціозности этого плодовитаго романиста. И долженъ сказать — ваша безпритязательная жанровая картина произвела на меня самое осязжающее впечатлѣніе. Много юмора, желчи. Я ужасно хохоталъ.

— Но у меня драма, г. редакторъ, драма!! глухо простоналъ Захаръ Краснушкинъ, вскочивъ съ дивана.

Іеронимъ Утиловъ, видя необходимость выпутаться, тоже поднялся и съ легкимъ кивкомъ, дававшимъ знать, что аудіенція не числится, проговорилъ:

— Во всякомъ случаѣ, ваша рукопись *будетъ напечатана!* — то онъ всегда говорилъ всѣмъ начинающимъ писателямъ для явшаго эффекта. На этотъ разъ эффектъ вышелъ поразительный.

Краснушкинъ, при магическомъ словѣ «напечатана», весь преобразился:

—Такъ, значитъ, вамъ понравилась моя драма? спросилъ онъ задыхающимся голосомъ.

— Да, понравилась. Есть движеніе, жизнь. Мы нуждаемся въ хорошихъ драмахъ. Это пробѣлъ.—Онъ снова раскланялся.

— Виновать—масса работы.

Но одобренный авторъ рѣшилъ узнать все обстоятельно:

— Будьте любезны все-таки сообщить, когда именно она начнетъ печататься, проговорилъ онъ съ пріятной улыбкой чело-
вѣка, уже чувствовавшего подъ собой нѣкоторую почву.

— Когда начнетъ печататься?! опѣшилъ Утиловъ и устре-
милъ мутный взглядъ на лежащій передъ нимъ «портфель ре-
дактора».. Кму стало нѣсколько совѣстно.—Она будетъ напеча-
тана... въ воскресенье! процѣдилъ онъ, не отрывая глазъ отъ
портфеля. У Краснушкина закружилась голова отъ восторга.

— Значитъ, моя драма появится какъ разъ въ свѣтлый празд-
никъ?

— Да... въ христово воскресенье, пробурчалъ Утиловъ,
слегка покраснѣвъ.

— Благодарю васъ, г. редакторъ! воскликнулъ съ чувствомъ
Захаръ Краснушкинъ. Это молодое, искреннее «благодарю» рѣ-
шительно тронуло Утилова и, протянувъ юношѣ руку—честь,
которой удостоивались немногіе,—онъ произнесъ съ аффектаціей:

— Помните, обязанность редактора. Редакторъ—это такъ
сказать акушеръ литературныхъ младенцевъ!

— Ого, куда дѣло пошло! усмѣхнулся про себя Краснушкинъ,
необыкновенно польщенный редакторскимъ пожатіемъ, и въ со-
стояніи, близкомъ къ умопомѣшательству, вышелъ изъ кабинета.
А Иеронимъ Утиловъ, только-что затворилась дверь кабинета,
подошелъ къ дивану, взялъ первую подвернувшуюся подъ руку
объемистую рукопись, съ надписью на заглавномъ листѣ: «По-
сѣдній поэтъ, драматическая поэма въ 3-хъ дѣйствіяхъ Захара
Краснушкина» и, подложивъ ее себѣ подъ голову, заснулъ без-
милостивымъ сномъ праведника.

IV

Обиліе ощущеній, пережитыхъ Краснушкинымъ въ краткій промежутокъ аудіенціи, отразились и на его фзіономіи: выйдя изъ кабинета редактора, онъ былъ красенъ, какъ вареный ракъ. «Что съ вами, молодой человѣкъ?» обратился къ нему Яковъ Ивановичъ. «Въ воскресенье!!» буркнулъ ему въ отвѣтъ Краснушкинъ и, не раскланявшись съ вертлявымъ жидочкомъ, радостно выкатился изъ редакціи. Онъ задыхался отъ волненія и чувствовалъ потребность воздуха. Выскочивъ на улицу, онъ однако, почувствовалъ нѣкоторый ознобъ. Чортъ возьми, онъ былъ въ одномъ сюртукѣ—пальто осталось у швейцара! Онъ вернулся назадъ и, торопливо натянувъ пальто, вручилъ жирному швейцару полтипу серебра. Это былъ своего рода подвигъ великодушія со стороны Краснушкина, желавшаго показать, что онъ теперь выше всякихъ мелкихъ счетовъ и совершенно забывшаго грубую манеру, съ которой тотъ его встрѣтилъ въ первый разъ. Высокѣрный швейцаръ, вслѣдствіе полученнаго полтинника, моментально нравственно переродился и, снявъ фуражку наотмашъ, весѣлѣнно бросился отворять дверь... «Ничего... не безпокойся... спасибо, любезный!» пробормоталъ Краснушкинъ и, очутившись на улицѣ, молодецки свиснулъ. Онъ былъ чертовски счастливъ. Куда-бы теперь направить нуть? остановился онъ на минуту, весело разиня ротъ, и вдругъ, вспомнивъ, что сегодня вербная суббота, ударилъ себя ладонью по лбу! Еще спрашиваетъ—«куда»! Разумѣется, на вербы. Вербъ такой благодарный материалъ для «наблюденія».

И вотъ онъ ужъ на углу невскаго проспекта и видитъ передъ собой, за движущимися лѣсомъ экипажей, праздникъ вербной ярмарки. Краснушкинъ остановился и погѣлъ весѣлѣнно въ карманъ, чтобы справиться о наличности своихъ финансовъ. Въ его потертонъ замшевомъ кошелькѣ оказался капиталъ слишкомъ достаточный для вербныхъ покупокъ—дѣвухъ шестъ новенькихъ

двугривенныхъ. Онъ тщательно запряталъ кошелекъ и сталъ перебираться черезъ Невскій тревожнымъ, опасливымъ шагомъ, поминутно оглядываясь по сторонамъ. Такая страшная ѣзда—чего добраго, попадешь подъ лошадь. А теперь ему жизнь особенно дорога. Да, наконецъ, онъ просто не имѣетъ права разниа ротъ гѣзть подъ лошадь, потому-что его жизнь отнынѣ уже не его жизнь, а достояніе... «Берегись!» загремѣло вдругъ гдѣ-то вдалекѣ, и Захаръ Краснушкинъ, сдѣлавъ отчаянный прыжокъ черезъ саженное пространство, очутился на панели въ самомъ водоворотѣ гульбища.

Стоялъ чудный солнечный день, одинъ изъ тѣхъ раннихъ весеннихъ дней, когда впервые чувствуется возбуждающее прикосновеніе солнечныхъ лучей и проникнутый весеннею свѣжестью воздухъ раздражительно-весело щекочетъ нервы. Стрѣлки часовъ публичной библіотеки показывали 4, и кипившее вокругъ и около гостиннаго двора вербное торжище было въ полномъ разгарѣ.

Давка была безбожная. Въ воздухѣ стоялъ неясный и веселый гулъ отъ неумолкаемой разногласицы говора, смѣха, визга, писка, свиста и треска, криковъ и выкриковъ. Чистая тарабарщина!.. Вотъ толстая, корявая баба предлагаетъ за «рунь съ четвертью» честной публикѣ «плевенскаго героя»—исполнскаго картоннаго солдата съ малиновой рожей, аршинными усами и ружьемъ «на-караулъ». «У, безстыжая, гѣзеть къ благороднымъ господамъ съ полубовинкомъ!» острить къ великому удовольствію сосѣднихъ торговцевъ инвалидъ съ слезымъ носомъ и, противупушившись впередъ, подымаетъ надъ ея головой лотокъ съ чучелами пѣтушковъ. «Волшебныя кольца—непостижимый фокусъ для чело-вѣка!» оретъ благимъ матомъ стоящій неподалеку длинный, исшитой мастеровой, продавецъ мѣдныхъ колецъ. А проходящій тутъ-же бѣлобрысый, плутоватый паренъ съ лакированными лар-чниками и грошевыми часиками въ рукахъ выводитъ фистулой: «Секретныя шкатулки — находка для господъ кассировъ! Часы лануръ—съ сюрпризомъ для холостыхъ!!..»—И сколько ихъ тутъ

всяких вербных художников—и старички съ голубыми, украшенными фольгой, соборами и матросы съ красивыми лодочками и затѣйливыми корабликами, и высвистывающіе соловья на самодѣльных сопѣлочкахъ желтые чухонцы, и быстроглазые малыши, предлагающіе старымъ дѣвамъ и господамъ офицерамъ «примѣрныхъ супруговъ», двигающихся курочку и пѣтушку, и поверхъ всего—трепещущіе въ воздухѣ красные, бѣлые и пестрые газовые шары—эта неизбѣжная принадлежность вербъ, освященная временемъ.

Палатокъ торговцевъ на этой сторонѣ почти не видно отъ плотной массы гуляющихъ; да и здѣсь не столько покупаютъ, сколько глазѣютъ, осматриваются и проникаются вербнымъ духомъ, чтобы уже въ совершенно надлежащемъ настроеніи попасть въ бесконѣтную сутолку гостиннаго двора. Тутъ идетъ главная покупка вербныхъ подарковъ. И чего тутъ только нѣтъ! Груды пасхальныхъ яицъ всякихъ цвѣтовъ и видовъ, великое множество разныхъ сластей, благовонныя принадлежности и дѣтскія игрушки, старыя книги и олеографическія картины, чучела рѣдкихъ птицъ и бюсты знаменитыхъ людей, искусственные цвѣты и женскія носыжки и платочки, какихъ угодно сортовъ янички, шкатулочки, коробочки и корзиночки, всевозможныя нужности и ненужности, всякія бездѣлушки и мелочишки. А по сторонамъ, въ проходахъ, между навѣсами торговцевъ и въ углахъ напротивъ, гдѣ продаются тухлые пироги съ грибами и рыбой, вареньемъ и капустой,—осаждаютъ публику доморощенные остроусловы: у одного въ рукахъ: «новѣйшій адвокатъ»—паясунъ изъ разноцвѣтнаго картона, другой продаетъ «кабинетнаго жителя»—заводящагося мышенка, третій подъ именемъ «американскаго туземца» предлагаетъ классическаго чортика въ банкетъ, или цѣлую вереницу чертенятъ—«выборъ юханцевыхъ»; а то еще видный отъ земли коротышка соблазняетъ купить «невскихъ красавицъ», напизанныхъ на проволоку разноцвѣтныхъ мотыльковъ. Публика здѣсь все больше «чистая»: нарядныя барыни, дѣти съ мамками и гувернантками, военные и статскіе франты, учащая молодежь; но всѣ какъ-бы забываютъ, что они «счастливы» и наслаждаются

вербой толкотней не менте всякаго другаго люда. И почти у каждаго что-нибудь въ рукахъ: вы встрѣтите грузную, пыхтящую какъ паровозъ купчиху, вооруженную казакской пикой и уланскимъ значкомъ—подарокъ чужой, или собственной дѣтворт; и пятилѣтняго пузыря, выбивающагося изъ силъ извлечь изъ подаренной ему палкой грошевой трубы военный маршъ: щеки его надулись, глаза выпятились въ одну точку, но изъ трубы выскакиваютъ совсѣмъ непристойные звуки, а марша никакъ не выходитъ; вамъ попадется вертлявая, какъ трисогузка, барышня въ новомодной шляпкѣ съ горшкомъ герани въ тоненькихъ пальчикахъ и сзади ея подглядывающій подъ шляпку насмѣшникъ: гимназистъ съ припиленнымъ къ пальто «новѣйшимъ адвокатомъ». — «Господинъ гимназистъ, господинъ гимназистъ!» пристаётъ къ нему продавецъ чучель: «купите сибирскую спинцу, уступлю за полцѣны по добротѣ чувствъ!» Но гимназисту совсѣмъ не до спинцы, и онъ энергически проталкивается впередъ, чтобы не потерять изъ виду «идеала съ геранью». За гимназистомъ вытягивается вереница юнкеровъ, жующихъ, галдящихъ, перекидывающихся откровенными замѣчаніями, перемигивающихся съ мамками и модистками, и т. д., и т. д. Экое, подумаешь, раздолье эти вербы для всякихъ вкусовъ и возрастовъ!!

Захаръ Краснушкинъ, находившійся по выходѣ изъ «кабинета редактора» въ самомъ праздничномъ расположеніи духа, очутившись на вербахъ, совсѣмъ осатанѣлъ. — «Баринъ, а баринъ, купите забалканскаго котика!» пристагъ къ нему какой-то рыжій мужичника, только-что онъ ступилъ на панель. Краснушкинъ посмотрѣлъ осоловѣлыми глазами на рыжаго мужичнику и, не торгуясь, купилъ игрушку. «Забалканскій котикъ» со своей розовой мордочкой и коротенькой рогулькой вмѣсто хвостика показался ему уморительнымъ; въдобавокъ, при махнѣшемъ нажатіи, онъ мурчалъ какъ настоящій касыка. Потративъ добрый полтинникъ на покупку кота и натолкавшись вдоволь по передней лѣнѣ, онъ перебрался на галлерею гостинаго двора и тутъ сразу спустилъ на сласть и цвѣты остальные деньги. Съ карманами, переполненными маршаладомъ и пряниками, съ припиленнымъ

къ воротнику пальто огромнымъ лиловымъ букетомъ и забалканскимъ котикомъ на рукахъ, Захаръ Краснушкинъ имѣлъ такой вербо-ликующій видъ, что обращалъ на себя невольно вниманіе проходящихъ. Юноша какъ-то вдругъ совсѣмъ забылъ о своемъ высокомъ призваніи писателя и, насвистывая какую-то глупость, дѣтски-счастливо ухмылялся по сторонамъ. На одномъ изъ поворотовъ съ нимъ случился маленькій казусъ, приведшій его въ совершеннѣйшее восхищеніе. Какая-то молоденькая дамочка съ газовымъ пузыремъ въ рукахъ зацѣпила бахромой своей тальмы за пуговицу его пальто. Онъ принялся было распутывать, но, вслѣдствіе натиска толпы, запуталъ еще болѣе. Барыня покраснѣла, растерялась и, даявшись распутывать сама, упустила шаръ. Кругомъ загоготали. Краснушину было и жалко барыни и вмѣстѣ съ тѣмъ смѣшно до слезъ, и, чтобы удобнѣе распутаться, онъ кинулъ подъ мышку своего котика, но прижатый котикъ издалъ такой уморительный пискъ, что Краснушкинъ не выдержалъ и разразился сумасшедшимъ хохотомъ. Разъ нашедшій исходъ своему радостному настроенію, онъ уже болѣе не могъ удерживаться въ границахъ, и потомъ, когда дамочка отцѣпилась, все время своего кругового путешествія по «гбстному» продолжалъ заливаться самымъ безсовѣстнымъ манеромъ. Гуляющіе при видѣ его удивленно-весело переглядывались, два какіе-то лоботраса, воспользовавшись его ликовавіемъ, повѣтаскивали изъ его кармановъ добрую половину прыжковъ и тутъ-же, идя рядомъ съ нимъ, принялись ихъ истреблять, а торгующая у выхода кукольнымъ гардеробомъ коротенькая беззубая старушенка, переглянувшись со своей сосѣдкой, такой-же развалиной, резонно замѣтила: «Ишь какой блаженный—должно именникъ!»

Совершенно разбитый отъ продолжительнаго шатанія и авторскихъ тревоженій, вернулся Краснушкинъ домой. Бѣлобрысая чужонка, кухарка неблированныхъ комнатъ, гдѣ жилъ Краснушкинъ, просто ахнула, увидѣвъ своего «тихоню-жильца» въ первый разъ «потреснаго». Жилецъ дѣйствительно съ первого

взгляда смахивалъ на охмѣлѣвшаго человѣка. Онъ наскоро напился чаю и бросился въ постель.

«Подумаешь, какъ капризна человѣческая судьба!» думалъ Краснушкинъ, натягивая на себя одѣяло. «Еще сегодня утромъ — что онъ былъ такое? Пустой звукъ — Краснуш-кинъ, ничтожная букашка, — а теперь онъ писатель, сотрудникъ большой газеты, человѣкъ богѣе или менѣе съ вѣсомъ!» И онъ заснулъ, какъ убитый.

Все слѣдующее утро было посвящено различнымъ литературнымъ соображеніямъ. Первое желаніе, которое у него явилось, когда онъ проснулся, — увидѣть свою фамилію въ печатномъ видѣ. Онъ досталъ имѣвшіеся у него старые номера «Русскаго Генія» и принялся тщательно вырѣзать кусочки съ отдѣльными буквами. Потомъ онъ взялъ листъ почтовой бумаги, палочку рыба-го клея и осторожно наклеилъ кусочки съ литерами на бумагѣ въ требуемомъ порядкѣ: З-а-х-а-р-ъ К-р-а-с-н-у-ш-к-и-н-ъ. Получилось печатное изображеніе его имени и фамиліи, подпись, долженствующая появиться внизу воскреснаго фельетона «Русскаго Генія». Это занятіе доставило Краснушкину неизъяснимое наслажденіе и подало мысль заказать визитныя карточки. Конечно, прежде онъ могъ обойтись безъ нихъ при своемъ ограниченномъ знакомствѣ, но теперь кругъ его знакомства расширится, завяжутся различные литературныя отношенія и безъ карточекъ не сдѣлаешь ни шагу. Настоятельнѣйше необходимо заказать. Разумѣется на карточкѣ, помимо имени и фамиліи, надо будетъ пояснить его прикосновеніе къ изданію Унтлова. Сначала онъ хотѣлъ обозначить это простѣйшимъ способомъ: сверху прописать: *Захаръ Краснушкинъ*, а внизу — въ скобкахъ: *Русскій Геній*; но эта простота могла бы показаться другимъ претензіей, и онъ остановился на самой скромной карточкѣ:

Захаръ Краснушкинъ
Сотрудникъ «Русскаго Генія».

Но зато Захаръ Краснушкинъ рѣшился нѣсколько вознаградить себя, прибавивъ на оборотной сторонѣ карточки: «авторъ драмы *Послѣдній поэтъ* и проч.» «И проч.» должно было многознач-

тельно намекать на будущія многочисленныя творенія, пока еще роившіяся въ головѣ Краснушкина.

Онъ сталъ одѣваться, чтобы идти сдѣлать заказъ. Медлить нечего. Осталась всего какая-нибудь недѣля. Только недѣля — даже невѣроятно! Однако, чортъ возьми, надо имѣть немного мужества и излишне не волноваться. Въ сущности говоря, онъ вѣдь дѣлаетъ просто доброе дѣло, помѣщая свое произведение въ такой ничтожной газетѣ. О, онъ докажетъ, что у него есть мужество и до самаго свѣтлаго праздника не купить ни единого номера «Русскаго Генія», чтобы прямо такъ-сказать «разговѣться» своей драмой... Надо все-таки признаться, онъ необыкновенно счастливо выступаетъ на литературное поприще. Другіе куда позже его начали писать. И Краснушкинъ, заинтересованный, насколько онъ опередилъ своихъ собратьевъ по пору, поѣхъ въ свой книжный шкафчикъ и сталъ рыться въ біографіяхъ великихъ писателей. Онъ дѣлалъ такъ: найдя годъ рожденія великаго человѣка, онъ вычиталъ этотъ годъ изъ цифры, обозначающей время перваго появленія на свѣтъ ихъ произведенія. Результаты получились самые утѣшительные: Шекспиръ началъ писать лишь 24 лѣтъ, Шиллеру было 22 года, когда были напечатаны «Разбойники», а почтеннѣйшему Грибоедову и всѣ 30, когда онъ окончилъ свою безсмертную комедію... А ему. Захару Краснушкину, 9-го марта только-что минуло девятнадцать. «Равенъко, ха-ха-ха, молодой человѣкъ, изволите начинать, равенъко!» потрепалъ онъ себя за носъ, добродушно захохотавъ, — и, совершенно счастливый сознаніемъ своего превосходства, отправился заказывать карточки.

Говѣлъ онъ этотъ годъ съ особеннымъ усердіемъ, всецѣло отдавшись чувству благодарности, наполнившему его юное сердце, и почти забывъ о своемъ сотрудничествѣ. Только разъ на исповѣди онъ не выдержалъ. Когда старичокъ-священникъ спросилъ его, какіе онъ знаетъ за собой грѣхи, Краснушкинъ изволнованно заявилъ, что никакихъ особыхъ грѣховъ онъ за собой не чувствуетъ, но что вотъ въ воскресенье въ газетѣ «Русскій Геній» будетъ напечатана его драма «Послѣдній поэтъ», и что въ этой

драмъ онъ черезчуръ безпошадно бичуетъ современное общество. Старичокъ въ отвѣтъ на сдѣланное ему признаніе странно и испуганно посмотрѣлъ на юношу и вдругъ, поспѣшно накрывъ его голову эпитрахилью, забормоталъ молитву объ отпущеніи грѣховъ рабу божію Захарію. Нечего и говорить, что сослуживцы и знакомые Краснушкина были заблаговременно оповѣщены о появленіи на свѣтъ «Послѣдняго поэта», хотя предупрежденія эти дѣлались и съ старательнымъ соблюденіемъ въ лицѣ и манерахъ самаго изумительнаго равнодушія. Единственный характеръ обнаружилъ онъ по отношенію къ данному обѣщанію — не заглядывать въ «Русскій Геній» вплоть до самаго свѣтлаго воскресенія. Всю страстную недѣлю онъ провелъ въ постѣ и молитвѣ и, чтобы съ большею полнотой вкусить ожидаемаго блаженства, старался даже позабыть о самомъ существованіи дорогой сяду газеты.

V

Проснувшись утромъ знаменательнаго дня, Захаръ Краснушкинъ почувствовалъ себя исполненнымъ такого торжественнаго настроенія, что еще въ постели принялся распѣвать пасхальный тропарь. Всѣ его малѣйшія дѣйствія въ это утро носили на себѣ печать этой торжественности. Даже такое повидимому незначительное обстоятельство, какъ перемена бѣлья, приняло въ его глазахъ нѣкоторый оффиціальныи характеръ. Стоитъ ли говорить о главной части мужского туалета — умываніи, чесаніи, облаченіи во фракную пару? Это было настоящее священнодѣйствіе. Особенную внимательность обнаружилъ онъ въ этотъ разъ по отношенію къ своей фizioноміи, стараясь придать нѣкоторую литературную небрежность своимъ обыкновенно гладкимъ, прилизаннымъ волосамъ. Онъ ужасно досадовалъ, что ему не пришлось въ голову отростить заблаговременно заправской писательской гривы. Впрочемъ, послѣ долгаго упражненія, ему удалось придать своему лицу безпечно-разсѣянный взглядъ, свойственный гениальнымъ людямъ, и онъ остался вполне доволенъ собой. Натянувъ бѣлья

перчатки и наполнивъ правый карманъ пальто коробкой съ визитными карточками, а лѣвый полудюжиной пасхальныхъ яицъ, онъ бросилъ растроганный взглядъ на свою каморку, тѣсную и темную, но дорогую ему, какъ мѣсто, освященное его первымъ крупнымъ литературнымъ трудомъ, нѣмую сообщницу его близкой литературной славы.

Очутившись за воротами, онъ нѣсколько растерялся. Боже мой, однако, сколько сегодня ему предстоитъ визитовъ! Положительно слѣдуетъ какъ-нибудь упорядочить время. Вотъ какъ онъ поступить. Первымъ дѣломъ онъ отпрадится въ пассажъ и купитъ нѣсколько экземпляровъ «Русскаго Генія» съ отпечатанной драмой (при этомъ сердце Краснушкина запрыгало какъ мячикъ); затѣмъ онъ закутитъ въ ресторанѣ, прочтетъ номеръ и отправится въ редакцію. Утиловъ вѣроятно познакомитъ его съ своимъ семействомъ, и тутъ пригодится его подарокъ. Онъ даже подаритъ одно яйцо, — «яйцо Колумба» — лысому нѣмцу-секретарю редакціи, чтобы сразу показать всѣмъ, что талантъ вовсе не исключаетъ добродушія. Затѣмъ онъ зайдетъ къ нѣкоторымъ со-служивцамъ и внесетъ визитъ начальнику отдѣленія. Недурно было бы всучить начальству экземпляръ «Русскаго Генія» — это бы улучшило его положеніе по службѣ. На него перестанутъ смотрѣть, какъ на какого-то тупоумнаго чиновника, и увидятъ наконецъ, съ кѣмъ нѣбуть дѣло. Сообразивъ подробности предстоящаго побѣдоноснаго шествія, Краснушкинъ двинулся въ путь.

Онъ не шелъ, мало даже сказать, что онъ летѣлъ, не чувствуя ногъ подъ собой, нѣтъ — онъ весь просто обратился въ какой-то радостный вихрь, который стремительно-бурно неся по направленію къ пассажу. Онъ не различалъ встрѣчныхъ лицъ, которые всѣ ему казались печатными буквами, и не чувствовалъ усталости, точно на немъ были сказочные сапоги-скороходы. «Виновать, позвольте пройти!» грубо обращались къ нему прохожіе, на которыхъ онъ безпрестанно наталкивался на Невскомъ. «Сдѣлайте одолженіе, пожалуйста, проходите!» снисходительно бросалъ онъ направо и налѣво и, наконецъ, послѣ двадцати минутъ скороходовъ, очутился передъ аданіемъ пассажа. Почти не-

человѣческаго усилія стоило Краснушкину, чтобы сохранить на лицѣ своемъ нѣкоторые слѣды наружнаго спокойствія, когда онъ трепетнымъ шагомъ поднялся по лѣстницѣ и остановился передъ прилавкомъ, за которымъ сѣдой, благообразный старикъ продавалъ газеты. Краснушкинъ забралъ въ себя сколько хватило силъ воздуха и, обратившись къ старику, наслаждавшемуся чаепитіемъ, выпалилъ:

— Шесть экземпляровъ «Русскаго Генія!»

Разслышавъ ли старикъ требованіе Захара Краснушкина, или не разслышавъ, только онъ медленно отпилъ глотокъ чая и сунулъ ему патристическій листокъ: «Благонамѣренный Скорпионъ».

— Мнѣ совсѣмъ не надо вашего «Скорпиона», раздражительно буркнулъ авторъ. — Я просилъ у васъ шесть экземпляровъ «Русскаго Генія».

— «Генія»-съ у насъ нѣтъ. «Геній» запрещенъ! протянулъ старикъ и, не торопясь, съ прохладцемъ, отпилъ еще глотокъ.

Въ одно мгновеніе старикъ, газеты и прилавокъ перекувырнулся въ глазахъ Краснушкина.

— Какъ запрещенъ? когда? зашепталъ онъ коснѣющимъ языкомъ.

— Еще на страстной порѣшили, ухмыляясь доложилъ старикъ и подулъ на блюдечко съ чаемъ.

Краснушкинъ поблѣднѣлъ, зашатался и оперся о прилавокъ. Что это, неужели правда?.. Вздоръ, чепуха, негѣности! Старый хрычъ просто отъ дряхлости и не разслышалъ его вопроса...

— Вамъ можетъ-быть желательно полюбопытствовать «Правительственный Вѣстникъ», предложилъ сидѣлецъ. — Такъ мальчикъ можетъ сбѣгать, ежели вамъ желательно.

— Да... мнѣ желательно... вѣдь я того... послѣдній поэтъ!!.. безсвязно лепеталъ юноша, обводя мутнымъ взглядомъ окружающіе предметы...

— Позвольте пожалуйста «Стрекозу» и десятокъ «Купидонъ», засосалъ около юноши чей-то голосъ съ жидовскимъ акцентомъ. Краснушкинъ, очнувшись, увидѣлъ передъ собой

вертяваго жидочка изъ редакціи «Генія». Онъ обрадовался ему, какъ родному.

— Здравствуйте... Христосъ воскресъ... Ради-бога на минутку! набросился на жидочка Краснушкинъ, потрясая энергически его за обѣ руки. Они немного отошли.

— Скажите... будьте любезны... правда, что этотъ болванъ говорить (Краснушкинъ кивнулъ въ сторону сидѣльца), будто нашу газету запретили?

— Какую нашу газету? изумился жидочекъ.

— «Русскій Геній».

— Какъ же, какъ же! засюсюкалъ улыбаясь жидочекъ:— еще на прошлой недѣлѣ прихлопнули. Это давно надо было ожидать!—и онъ захохоталъ. Жидъ показался Краснушкину цинически-противнымъ въ эту минуту.

— Отчего же надо было ожидать? грубо отрёзалъ онъ.

— Помилуйте-съ, денегъ ни гроша, подписчиковъ штукъ тридцать, порядку въ редакціи никакого. Онъ давно хотѣлъ, чтобы его прихлопнули!

— Какъ же онъ могъ хотѣть—вѣдь онъ обѣщалъ напечатать мою драму?!

— Онъ вретъ. Мнѣ онъ тоже обѣщалъ выхлопотать мѣсто на желѣзной дорогѣ. Говорилъ, будто у него есть какія-то тамъ связи. И вретъ—нѣтъ у него никакихъ связей. Онъ все вретъ.

— А какъ же теперь моя рукопись, чтѣ съ ней станется?

— Право не знаю. Унтиловъ вѣдь объявленъ несостоятельнымъ. Редакцію опечатали. Извините, некогда... спѣшу... обѣщалъ доставить въ редакцію «Скорпіона» замѣтку о неблагоприятныхъ дѣйствіяхъ господина Унтилова.—И жидочекъ, приподнявъ картузъ, исчезъ. Съ исчезновеніемъ жидочка исчезъ для Краснушкина послѣдній лучъ надежды, свѣтъ, жизнь. Все заволочлось туманомъ. Ему сдѣлалось дурно, и онъ направился къ выходу, чтобы хоть сколько-нибудь освѣжить свою ошалѣвшую голову.

Воскресное гулянье было въ полномъ разгарѣ. По Невскому неслись вереницы экипажей, внизу на тротуарѣ тѣснилась пе-

страй, ликующая толпа, сверху из пассажа наступала шумно новая волна людей. Вездѣ говоръ, смѣхъ, христосованіе. День стоялъ чудный, и апрѣльское солнце обливало веселымъ блескомъ всю эту праздничную суматоху. Но Краснушкинъ не видѣлъ ни солнца, ни толпы, ни экипажей. Въ его глазахъ все это обратилось въ какой-то хаосъ, въ которомъ вывѣски магазиновъ и кузова экипажей, лошади и кучера, офицеры и дамы, люди и собаки вертѣлись и прыгали въ какой-то фантастической чертошкѣ. Да, все кончено: теперь онъ снова чинодрагъ, пойдетъ снова старая жизнь, начнется снова пошлое, канцелярское прозябаніе. Все было вадоръ! И газета глупа, и редакторъ оселъ, и его увѣренность бессмысленна... И, прислонившись безсильно къ наружной стѣнѣ пассажа, онъ простоналъ, вслихивая на каждый словъ, какъ малый ребенокъ:

— О, мои золотыя мечты! о, моя слава!! о, мои визитныя карточки!!!

Ив. Щеглаевъ.



Я часто уношусь послушною мечтой
Туда, гдѣ протекли спокойной чередой
Мои младенческие годы,
Гдѣ юность знойная на воли раскинула
И думу чуткую отвагою зажгла
И жаждой знания и свободы.

Какъ звали вы меня, властительные сны,
Въ столицу дальнюю изъ мирной тишины,
Вознечными счастьемъ богатой,—
И я оставилъ даль снѣговыхъ полей
И садъ залущенный, гдѣ въ сумракѣ ночей
Влауждалъ я, тронетомъ объятый.

И все, что гордою сіяло красотой
Подъ дымкой юныхъ грѣзъ,—какъ ночь передъ зарей
Подъ взглядомъ пристальнымъ блѣднѣло,
И жизнь насильственно завѣсу подняла
Надъ черной бездною ничтожества и зла,
Надъ мнимую фразъ бѣсъ дѣла...

Но склепанъ я съ твоей тревожной суетой,
Отепѣла гордая, и чуткою душой
Но жажду властного забвенья;
Что счастья малюга снѣживый потокъ
Прядь этой бурной волненья и тревоги,
И снѣжныхъ грѣзъ, и шумъ снѣжныхъ...

В. Чернышев.

ДВА СЧАСТЬЯ

I

Въ загородномъ петербургскомъ паркѣ въ концѣ мая гуляли дѣвушка и молодой человѣкъ. По ихъ свѣжимъ лицамъ ползли узорчатые тѣни деревьевъ. Эти тѣни точно съ ласкою глядели ихъ. Когда оба выходили на открытыя площадки, ихъ ласкало солнце и обѣивалъ вѣтерокъ. Синее безоблачное небо такъ шло къ ихъ лицамъ и свѣтлымъ платьямъ, когда они останавливались на верху холмовъ. Оба были красивы; у обоихъ были чистые и честные глаза; оба были еще очень молоды. И все вокругъ нихъ было такое-же, какъ и они, все было—весна, въ полной ея хрупкой прелести, украшенная бѣлыми ландышами и свѣтлыми, еще не заглубившимися травами. Только мудрыя, всегда одинаковыя сосны съ сомнѣніемъ покачивали хмурыми головами. Должно-быть съ своей высоты онѣ видѣли на горизонтѣ тучи...

Говорила дѣвушка. Молодой человѣкъ смотрѣлъ на нее и слушалъ не столько слова, сколько звукъ ея голоса. Онъ радостно смотрѣлъ въ ея сіро-голубые, въ эту минуту чѣмъ-то обезноженные глаза.

— Право... ахъ, я не знаю только, можно ли это говорить?.. право, я разочарованная должно-быть, говорила дѣвушка, оборачиваясь къ спутнику и взглядывая ему прямо въ глаза. — Знаете, почему я думаю, что я разочарованная? Потому

что все на свѣтѣ не такое, какъ я себя представляла... Я вамъ расскажу все по правдѣ, а вы мнѣ скажите, могу ли я называть себя разочарованной. Вы старше, умнѣй меня. И потомъ вы — артистъ, музыкантъ.

Дѣвушка опять серьезно и озабоченно взглянула на спутника, но увидѣла на его лицѣ улыбку и сама улыбнулась. Потомъ она покраснѣла и какъ будто опечалилась.

— Вы смѣетесь, съ упрекомъ сказала она. — Впрочемъ, я васъ хорошо знаю: вы не насмѣхаетесь надо мной, а такъ просто улыбаетесь. — И, успокоившись, она продолжала: — Да, Евгенийъ Александровичъ, я все воображала себя не такъ. Ну, вотъ, я хоть-бы про деревню читала, — и такъ мнѣ деревня нравилась, такъ нравилась!.. А когда въ прошломъ году мы поѣхали въ деревню — ни знакомыхъ, ни людей; мужики — такіе злые; лѣсъ — страшный... Только комары искушали. Наконецъ, я отъ нихъ себя надъ кроватью багдахинъ изъ кисей сдѣлала.

Она опять встревоженно взглянула на него, опять улыбнулась, но на этотъ разъ быстро прогнала улыбку съ лица и продолжала:

— Я буду говорить все. Я не могу удержаться, потому что мнѣ очень нужно знать, что же я наконецъ за человѣкъ такой. Говорить, отъ разочарованности даже... даже лишаютъ себя жизни, сказала она съ гримасой страха. — Ну, слушайте, Евгенийъ Александровичъ, самое главное. Потомъ я много читала и воображала о... Ну, этого, кажется, нельзя говорить мужчинамъ! воскликнула она, покраснѣвъ всѣмъ лицомъ, и замолчала.

Молодой человѣкъ тоже молчалъ. Его лице сіяло счастьемъ. Дѣвушка покусывала губы, хмурила брови. Наконецъ, она рѣшилась и заговорила:

— Должно-быть это дурно — что я буду вамъ сейчасъ говорить... Ахъ, я много дѣлаю гадкаго. Вотъ и теперь я дома сошла, что не вы просили меня выйти гулять, а сказала, что я такъ хочу походить, просто... Ну, такъ вотъ что: я не знаю тоже, что это за... что это за любовь.

Густая красна залила лицо дѣвушки, но оно оставалось спо-

койнымъ и серьезнымъ. Краска такъ-же быстро, какъ и появилась, сбѣжала.

— Все равно, сказала дѣвушка. — Я вѣдь не для глупостей говорю, а потому, что нужно; все равно, какъ просить объяснить урокъ. Какъ это любить, Евгенийъ Александровичъ? Я читала, да только неправда тамъ что-то. Будто никогда не сердятся другъ на друга, будто не боятся ночью въ саду сырости, — даже грозы не боятся отъ любви!.. Даже комары эти, отвратительные, — у меня отъ нихъ все сейчасъ болитъ и пухнетъ, — и тѣ не мѣшаютъ! окончила она и засмѣялась.

Она смотрѣла передъ собою, и ея улыбка снова мало-по-малу исчезла, и дѣвушка снова опечалилась.

— Будто-бы все любить да любить, — продолжала она, — а вѣдь утромъ, если голова болитъ, такъ вѣдь сердитая ходишь: какъ же, и тогда тоже любить?.. Евгенийъ Александровичъ, я все — то одна, то другая. Я — то такая сильная и чувствительная, что... какъ будто сейчасъ могу что-нибудь великое сдѣлать; то мнѣ только и хочется, чтобы все было спокойно и аккуратно и чтобы никто никому ничѣмъ не мѣшалъ. А когда я такъ вотъ, какъ теперь, объ себѣ думаю, то я дѣлаюсь сердита рѣшительно на всѣхъ и на себя больше всѣхъ, за то, что я сердитая; и тогда я — гадкая, какъ торговка какая. Развѣ меня можно торговкой-то любить... Что? быстро обернувшись къ спутнику, спросила она.

Дѣвушка обернулась съ обычной улыбкой, но на этотъ разъ улыбка мгновенно исчезла. Его лицо показалось ей и страннымъ, и некрасивымъ. «А только-что мнѣ было приятно на него смотрѣть. Вотъ какая я!» подумала она съ тоской. «Ну, а что же дѣлать, когда онъ въ самомъ дѣлѣ... когда у него лицо сдѣлалось глупое», сказала она себѣ и вынула свою руку изъ его руки. Онъ сталъ ей неприятенъ, и она шла подлѣ него съ опечаленнымъ лицомъ.

Молодой человѣкъ шелъ молча и боялся заговорить, чтобы его голосъ не задрожалъ, чтобы отъ волнения не задохнуться посреди фразы. Все его тѣло ослабло, проникнутое не то необычайной радостью, не то невыносимой тоской. Что это было,

онъ не могъ узнать. Такъ, прислушиваясь къ полной тишинѣ, иной разъ чудится, что вся она изъ какого-то шума; иногда, когда долго стоишь подъ огромнымъ колоколомъ, кажется, что онъ бьетъ своимъ языкомъ совсѣмъ беззвучно. Когда дѣвушка отняла у спутника свою руку, ему показалось, что имъ владѣтъ тоска; но это продолжалось одну минуту. Онъ мысленно уже прислушивался къ тѣмъ чуднымъ словамъ, которыми онъ скажетъ ей, что онъ ее любитъ, и какъ онъ ее любитъ. Онъ уже видѣлъ, какъ онъ обнимаетъ ее, какъ онъ поцѣлуетъ ея губы, какъ онъ привлечетъ ее на свою грудь... И вдругъ, какъ громъ, упалъ на него порывъ страсти. О, какъ безумно любить онъ это лицо, эту грудь, это стройное тѣло — и эту чистую душу! Онъ уже протянулъ къ дѣвущкѣ руки, но новый порывъ, новое необычайно сильное и сладкое желаніе, обуздать себя предъ нею и для нея, сдѣлать почти невозможное, овладѣлъ имъ, — и онъ безсилно опустился предъ нею на колѣни. Ему казалось, что онъ громко рыдаетъ. На самомъ дѣлѣ онъ говорилъ ей, задыхаясь:

— Я васъ люблю, я васъ люблю!

И онъ некрасиво придвигался къ ней на колѣняхъ, держа ея руки въ своихъ. Она такъ-же некрасиво вырывалась отъ него. Она замѣчала это. «Точно драка», мелькнула у нея мысль.

— Перестаньте... Что вы дѣлаете! сказала она испуганнымъ шопотомъ, оглядываясь, не идетъ ли кто.

— Господи, и отчего это я такъ люблю васъ! почти вскрикнулъ онъ, вдругъ подымаясь, обнявъ ее и нища губами ея лица.

Онъ сталъ ей ненавистенъ, точно это былъ разбойникъ, который ее мѣлалъ и грабитъ. Настоящая злоба закипѣла въ ней. Все ея тѣло чувствовало отвращеніе къ его рукамъ, плотно и больно ее державшимъ, къ его груди, прижавшейся къ ея груди, къ его ногамъ, все переступавшимъ и толкавшимъ ея колѣни, но мѣлѣ того какъ она вырывалась и отступала. Ея глаза сверкнули, она уперлась руками въ его горло и, силой ему галстухъ и воротникъ рубашки, вырвалась.

— Прочь! звонко крикнула она. — Я васъ боюсь, и васъ ненавижу! Уйдите!

И, когда онъ снова протянулъ къ ней руки, она быстро и гибко подняла зонтикъ, грозясь ударить его.

Его лицо поблѣднѣло и стало неподвижно.

— Такъ вотъ какъ... заговорилъ онъ страннымъ, низкимъ голосомъ и страннымъ, несвойственнымъ ему красивыми оборотами рѣчи. — Такъ вы хотите меня бить. Чтѣ же, бейте! И за чтѣ! За то, что и васъ люблю больше всего на свѣтѣ; за то, что цѣлый годъ я жилъ только вами; за то, что весь оставшійся міръ былъ для меня темень, глухъ и нѣмъ; за то, что я былъ какъ больной, котораго облегчала только мысль о васъ?.. Бейте же! вскрикнулъ онъ и красивымъ жестомъ сбросилъ съ себя шляпу.

Она взглянула на него. Онъ стоялъ передъ ней, блѣдный, но спокойный, почти гордый, почти правый. Она отвернулась и медленно пошла отъ него, опустивъ печальные глаза и съ недоумѣніемъ на лицѣ.

Послѣ ея ухода онъ долго сидѣлъ на скамьѣ, закрывъ лицо руками. Наконецъ онъ всталъ, поднявъ лежавшую на землѣ шляпу, машинально счистилъ съ нея песокъ и пошелъ домой, на свою дачу. Тамъ онъ бросился на диванъ, не подложивъ подъ голову ничего, и лежалъ, странно подвернувъ голову, какъ раненый убитыхъ на ходу солдатъ.

Онъ то видѣлъ передъ собою спинку дивана и вспоминалъ, чтѣ только-что произошло. То какими-то припадками нѣтъ овлађвала тяжкая, безсодержательная тоска. Она была такъ тяжела, что онъ забывалъ, гдѣ онъ и чтѣ съ нимъ; казалось, что-то давило ему спину между плечъ, ныли суставы локтей и колѣнъ. Хотѣлось сбросить это чувство, но не было силъ. Въ промежуткахъ между минутами этой невыносимой тоски онъ чувствовалъ полное изнеможеніе. Онъ лежалъ, полузакрывъ глаза, и видѣлъ только свои рѣсницы, казавшіяся ему толстыми прутьями. Онъ ничего не думалъ, ничего не хотѣлъ...

Поздно ночью онъ быстро поднялся съ дивана и съ какою-то тревогой, отъ которой часто билось сердце, и всѣ мускулы,

изглядъ, голова окрѣпли и стали свѣжи, сѣлъ къ своему любимому фортепиано.

Надняхъ утромъ онъ не спалъ, но еще и не проснулся. Радость въ комнатѣ на роллѣ бренчала почевавшій у него пріятель. И вотъ эти звуки, въ полуснѣ, перерождались въ дивныя, никѣмъ еще не слыханныя мелодіи, говорившія, какъ живыя, о какомъ-то никѣмъ не испытанномъ счастьѣ. И какую правду говорили эти звуки, какъ они убѣждали, какъ они были истинны и мудры! Счастье, о которомъ они рассказывали, открывалось ему во всей полнотѣ и несомнѣнности. Когда онъ въ то утро проснулся, онъ тревожно и напрасно припоминалъ и это счастье, и тѣ звуки, которые знали, какъ назвать его и открыть его... Теперь совсѣмъ неожиданно и внезапно онъ вспомнилъ и волшебныя музыкальныя рѣчи о счастьѣ, и само это счастье, — и былъ спокоенъ и счастливъ...

II

Прошло нѣсколько лѣтъ.

Праздная и скучающая наѣзжая публика одного изъ бойкихъ мѣстъ южнаго берега Крыма была взволнована трагическимъ случаемъ съ молодымъ артистомъ Евгениемъ Александровичемъ Желеховымъ. Желеховъ пріѣхалъ лечиться отъ какой-то грудной болѣзни, жилъ тутъ уже около года и далъ нѣсколько концертовъ, понравившихся публикѣ. Его знали всѣ, онъ зналъ всѣхъ, и тѣмъ больше волновался, суетился и сплетничалъ городокъ.

Рассказывали, что Желеховъ отправился съ одной изъ поклонницъ своего таланта въ горы, верхомъ; что въ горахъ оба слѣзли съ лошадей и гуляли пѣшкомъ; что во время этой прогулки Желеховъ въ угоду своей дамѣ полѣзъ на утесъ за какимъ-то цвѣткомъ, оборвался, упалъ и страшно разбилъ себѣ грудь. Его спутница, нѣвшая причины скрывать эту прогулку, растерявшись, будто-бы ускакала домой, а молодого человѣка только на слѣдующее утро нашли татары и еле-живого привезли въ го-

родъ. Доктора говорили, что если онъ и поправится, то недолго проживетъ на свѣтѣ.

Нѣсколько дней Желеховъ былъ между жизнью и смертью, но остался живъ. Онъ поправлялся туго, и только черезъ два мѣсяца его въ первый разъ вывели прокатиться. Во время прогулки онъ сейчасъ-же замѣтилъ, какъ на него смотрѣли знакомые и незнакомые встрѣчные: умирающій-отверженецъ, и ему высказываютъ это въ каждомъ взглядѣ, съ невольнымъ и непреодолимымъ злорадствомъ. Желеховъ понималъ все, поблѣднѣлъ, какъ полотно, и съ половины прогулки вернулся домой. Кое-кто къ нему зашелъ, но онъ не принялъ никого. Весь день онъ сидѣлъ запершись и только около полуночи, съ трудомъ опираясь на палку, никого не позвавъ на помощь, вышелъ на балконъ. Внизу былъ виднѣн городской бульваръ, и съ него доносились смѣшанный гулъ голосовъ. Тамъ двигалась видная при полномъ мѣсяцѣ толпа... толпа здоровыхъ, счастливыхъ, живыхъ людей. И чувство страшнаго одиночества, охватило Желехова. Онъ закрылъ лицо руками...

Онъ вернулся въ комнаты, присѣлъ къ этажеркѣ и сталъ перебирать ноты. Изъ нихъ онъ отобралъ нѣсколько собственныхъ піесъ. Только-что онъ думалъ о будущемъ, — теперь предъ нимъ проносилось и его прошлое. «Ничего не будетъ — и ничего не было», думалъ онъ, горько сжимая губы. Въ прошломъ его томил и мучил жажда счастья, ожиданіе любви, стремленіе къ великогнпной полнотѣ жизни; но жизнь не дала ему жить, какъ будто у жизни, у самой, не было того, чего онъ отъ нея просилъ, — не было желаннаго счастья. Нѣтъ большаго и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе возможнаго счастья, какъ любовь, — а и ея не дала ему жизнь. И вотъ теперь передъ нимъ — его піесы, а въ нихъ наново оживаетъ его прошлое; онъ наново его переживаетъ и все несомнѣнный убѣждается, что онъ не ошибался: такъ ярки и жгучи, казалось ему, его картины, такъ тяжело стоятъ перенитыя имъ муки, такая сила въ его отчаяніи.

Онъ склонился надъ своими піесами. На ихъ заглавныхъ ли-

стахъ его рукой было словами написано то, что онъ хотѣлъ выразить музыкой. Онъ медленно пересчитывалъ написанное.

Вотъ что читалъ онъ на первой тетради.

«Помнишь ли ты твое единственное счастье — твою первую любовь, твою юность, твою весну, твою весеннюю грозу?»

«Помнишь ты эту грозу? — Молніи и громъ были слишкомъ высоко, или были милостивы къ тебѣ и не разили тебя.

«Помнишь ты этотъ весенній дождь? — Онъ былъ тепелъ и мягокъ и не рѣзалъ тебѣ лица.

«Помнишь ты бурю и вихрь? — Вѣтеръ несея, весь благоуханный...

«Помнишь ли ты эту весеннюю грозу, грозу-красавицу, — страшную, но еще болѣе прекрасную, гнѣвную, но еще болѣе вдохновенную?»

«А можетъ-быть это были лишь юность, весна, гроза, а не любовь, не счастье...»

Онъ отбросилъ первую тетрадь и взялъ вторую. Его лице померкло еще больше.

«Я будто ночью иду въ дремучемъ лѣсу, я зову, — и въ отвѣтъ мнѣ или мой-же отголосокъ, или ничего. Да, ничего: только стоятъ, возносятся въ скрытую листвою вышину, деревья; только внизу — кусты, идущіе въ непроницаемую даль. И лишь кое-гдѣ лежатъ серебряная капля луннаго свѣта.

«Я хочу — о, какъ хочу я! — полноты свѣта, который лился бы рѣкой, а не сочился по каплямъ; который освѣтилъ бы меня до-сыта. — И его нѣтъ.

«Нѣтъ и тебя, любовь. Нѣтъ и тебя, счастье. Нѣтъ и тебя, любимая. Все — наемки, миражъ. А ты гдѣ-то тамъ, надъ вершинами, ты гдѣ-то тамъ, вдали. Тамъ сіеешь ты, какъ мѣсяцъ, во всей твоей свѣтлой прелесть.

«Если ты тамъ, сверху, я не могу подняться туда. Если ты тамъ, вдали, я не могу настичь тебя...»

Онъ поникъ головой и долго оставался неподвиженъ. Но его лицо стало успокаиваться, взглядъ его мало-по-малу сдѣлался новымъ и глубокимъ. Онъ взглянулъ еще тетрадь:

«Огромный, угрюмый, какъ больной звѣрь, городъ. Конецъ осени и начало зимы,—полу-умираніе, полу-смерть. Ночь.

«Уста льнутъ къ устамъ, безумныя объятія спорятъ одни съ другими въ силѣ, одно дыханіе жарче другого,—и нѣтъ любви: онъ любитъ невѣдомую ее, она—невѣдомаго его.

«И холодъ, холодъ, холодъ—отъ камней мостовой до звѣздъ неба».

Глаза Желехова уже сіяли ровнымъ и глубокимъ свѣтомъ вдохновенія. Онъ развернулъ послѣднюю піесу и заигралъ. Его руки окрѣпли и двигались увѣренно. Нога съ силой то нажимала, то отпускала педаль. Сердце билось полными и сильными ударами, грудь дышала вольно, губы были сжаты гордо. Пісня печали веселила его высокой, спокойно-страстной радостью. Изъ ничего, изъ хаоса, изъ грязи, изъ несчастія, горя и уродства онъ создалъ нѣчто прекрасное,—онъ создалъ пісню скорби. И онъ былъ счастливъ.

Когда онъ кончилъ, въ открытую дверь балкона ворвались аплодисменты сошедшей подъ окнами толпы. Онъ даже не оглянулся, а только еще выше поднялъ голову и еще смѣлѣе раскрылъ сіяющіе глаза.

Въ это время въ комнату вошелъ докторъ, стоявшій въ числѣ слушателей на улицѣ.

— Вамъ, голубчикъ, еще рано бы такъ волновать себя, проговорилъ онъ, ласково пожимая своему пациенту руку и отыскивая на столикѣ лекарство.

— На всякій случай примите-ка, сказалъ онъ, отсчитывая капли и поднося Желехову рюмку.

III

Минуло еще нѣкоторое время,—на этотъ разъ всего лишь нѣсколько мѣсяцевъ.

Зимой, въ срединѣ января, къ одной изъ большихъ станцій на западъ Россіи подкатилъ курьерскій поѣздъ и, заскрежеhtaвъ тормазами, почти разомъ остановился. Къ дверцамъ вагона перваго класса подошелъ стройный блондинъ. Подъ бобровой шапкой было красивое, но блѣдное и очень худое лицо. Бѣлые вѣки и глазныя впадины казались совсѣмъ костяными. Бѣлыя скулы и впавшія подъ ними щеки казались еще бѣлѣй и мертвеннѣй отъ большой, нехоленной бороды. Блондинъ худыми руками старался отворить двери вагона и отъ усилія болязненно приподнялъ щеки къ глазамъ, осканилъ мелкіе бѣлые зубы и тяжело дышалъ, раздувая тонкія ноздри. Подошелъ кондукторъ и отперъ дверь. Блондинъ съ ненавистью посмотрѣлъ на него и вошелъ. Это былъ Желеховъ.

Въ отдѣленіи вагона оба дивана были заняты. На одномъ были навалены вещи, и спалъ мальчикъ, въ круглой шапкѣ съ наушниками и въ черномъ тулупчикѣ; на другомъ лежала, лицомъ къ спинкѣ, дама.

Желеховъ остановился, осмотрѣлся и проворчалъ что-то, все съ тѣмъ-же болязненнымъ выраженіемъ лица.

— Сударыня, позвольте мнѣ мѣсто, сказалъ онъ потомъ.

— Здѣсь для некурящихъ, сурово отвѣтила дама, не оборачиваясь.

— Дайте мнѣ мѣсто! повторилъ Желеховъ, едва сдерживая раздраженіе, которое засвѣтилось въ его пріоткрывшихся глазахъ.

— Какъ вѣжливо! воскликнула дама и не глядя поднялась. Желеховъ сѣлъ и, казалось, забылъ про все, утомленнымъ, печальнымъ поглядомъ глядя въ окно, гдѣ видна была великолѣпная пурпурная вечерняя зоря, въ волномъ разгарѣ.

— Евгений Александрович! услышалъ онъ вдругъ.

Онъ обернулся къ дамѣ и долго смотрѣлъ на нее неподвижно, безъ удивленія, безцеремонно.

— Не узнавъ, коротко отвѣтилъ онъ.

— Я — Никитина... Впрочемъ, этой моею фамиліи вы не знаете. Я...

Но она не успѣла окончить, какъ онъ узналъ въ ней ту дѣвушку, которая нѣсколько лѣтъ тому назадъ, весной, въ загородномъ паркѣ спрашивала у него, какъ это любить и что такое любовь. Что-то ясное, живое мелькнуло на его костяномъ лицѣ, и онъ взялъ ее, протянутую къ нему, руку. Но только-что она хотѣла заговорить, какъ его большіе глаза опять сверкнули раздраженіемъ, а губы раскрылись.

— Что это вы какой?! встревоженно, но не смущенно спросила она.

— Тѣмъ умпрать—чахотка, твердо и быстро отвѣчалъ онъ, и вдругъ его глаза наполнились слезами.

— Богъ съ вами, что за мысли! кто это вамъ сказалъ? Или это мнительность? заговорила она бодро и спокойно, но ее глаза встревоженнымъ и ошцѣтнымъ взглядомъ осматривали его. — Если это мнительность, не предавайтесь ей... Вы идете за границу?

— Да.

— Давно вы изъ Петербурга?

— Я не оттуда, а изъ Крыма. Три дня, какъ выѣхалъ, сказалъ онъ и отвернулся. Его взглядъ снова невольно остановился на зарѣ, въ которой таяли, точно утоная, точно стремясь въ глубь ея розоваго свѣта, золотыя облачка.

Она внимательно взглянула въ него и ужаснулась, едва удержавшись, чтобы не всплеснуть руками. Онъ обернулся на ее движеніе.

— Вотъ мой сынъ, поспѣшила она сказать, указывая на спящаго мальчика. — Я шесть лѣтъ, какъ замужемъ.

— Поздравляю, презрительно кривившимися губами какъ-бы про себя проговорилъ онъ.

Отдавъ П.

Потомъ онъ нѣсколько разъ взглянулъ на нее — она послѣ его отбѣта откинулась въ уголъ дивана и глядѣла на свои сложенные полныя руки — и заговорила:

— Вы обидѣлись моимъ грубымъ тономъ... Теперь я безъ церемоній: умру. Смерть мнѣ наноситъ такую обиду, что передъ ней ничто всѣ грубости. Эхъ, еслибъ жить!

— Евгений Александровичъ, откуда у васъ эта печальная увѣренность?! сказала она и опять ласково, съ сожалѣніемъ, почти съ нѣжностью взглянула на него.

Онъ часто и тяжело дышалъ.

— Эхъ! съ разстановкой, тихимъ голосомъ, похожимъ на его трудное дыханіе, заговорилъ онъ. — Нечего ужъ тутъ, умру. А не такъ бы я, — онъ пристально поглядѣлъ на нее глазами, вѣки которыхъ покраснѣли, — не такъ бы я устроилъ жизнь, какъ, навѣрно, вы ее устроили, еслибъ остался жить, еслибъ былъ здоровъ, какъ вы. — Голова его задрожала отъ усилія, съ которыми онъ говорилъ. — Я вижу по лицу, по глазамъ, что вы не удовлетворены жизнью, попрежнему. — Онъ смѣрилъ ее взглядомъ отъ головы до ногъ. — Вы... Вотъ у васъ тутъ, около губъ, эти черточки: имъ у васъ по годамъ еще не пора бы быть. — Онъ еще внимательнѣе посмотрѣлъ на нее, его голова задрожала сильнѣе. — Вы, какъ тогда, въ паркѣ, все еще не знаете, кто вы, и что такое жизнь, и что такое счастье... Ну-ка, спросите меня снова, спросите теперь! сказалъ онъ, пристально глядя на нее и часто дыша. — Спросите у смерти, что такое жизнь.

На мгновеніе ея глаза испуганно открылись.

Онъ хотѣлъ сказать еще что-то, но надолго безпомощно и страдая закашлялся. Этотъ жалкій кашель какъ будто ободрилъ ее.

— Нѣтъ, Евгений Александровичъ, я уже не ребенокъ, заговорила она все увѣреннѣе и увѣреннѣе. — Теперь прежніе мутяки, — эти минутныя настроенія, эти неясныя порывы, — меня не смущаютъ и не сбиваютъ съ дороги. Они еще есть, но не имѣютъ надо мной уже никакой власти.

Онъ враждебно посмотрѣлъ на нее.

— Не то, не то! говорилъ онъ, слабо нажавъ кистью руки.

— Совсѣмъ освободиться отъ неудовольствія собой и жизнью нельзя, говорила она, уже заинтересовавшись темой разговора,— но не слѣдуетъ поддаваться. Часто подумаешь, подумаешь — и видишь, что просто нездоровится... Нужно быть господиномъ жизни, а не ея слугой. Жизнь—трудъ и ясная голова. Счастье—не возбужденные нервы, не музыка...

— Музыка! нервы! прервалъ онъ ее съ разгорѣвшимися глазами.—А что, пророки не были по-вашему господами... жизни, когда говорили такъ, что двигали народами... что цѣлый народъ трепеталъ предъ ними. А?.. Цѣлому народу было стыдно и страшно. Цѣлый народъ, какъ одинъ человѣкъ, каялся и перерождался... Музыка! А сумасшедшій Бетховенъ не музыкантъ?! а всѣ гении науки не были вдохновенные, разстроенные... по-вашему...

Онъ вдругъ остановился и широко раскрылъ на нее глаза. Его лицо задергалось, и онъ опять мучительно раскашлялся.

— Музыка! съ упрекомъ сказалъ онъ, отдышавшись, и искоса посмотрѣлъ на нее.

— Вѣдь мы—не гении, не пророки. Мы—чернорабочіе, тихо проговорила она, боясь опять растреволить его.

— А чернорабочимъ счастья не нужно? тихимъ и осторожнымъ голосомъ, чтобы сдержать кашель, заговорилъ онъ.—А счастье—онъ торжественно поднялъ руку—великое, блаженное счастье только въ эти вдохновенныя, страстныя минуты и бываетъ... Что мнѣ смерть, когда я знаю, что умру вдохновенный! Чахотка такая болѣзнь, что не гаситъ, а сжигаетъ. Я и теперь—день и ночь въ музыкѣ...—Онъ вдругъ ясно и спокойно взглянулъ на нее.—Я на васъ сердился; теперь не сержусь. Я васъ жажду... Вы—еще при началѣ жизни. Когда васъ посѣтитъ страсть, отдайтесь ей, не убивайте ее въ зародышѣ... Грѣхъ!

Новый приступъ кашля остановилъ его. Совсѣмъ измученный, онъ легъ на ея подушку, она накрыла его ногъ пледомъ, и онъ забылся. Его глаза, закрытые бѣлыми вѣками, стали похожи на слѣпые глаза статуи.

Нѣкоторое время она съ недоумѣніемъ смотрѣла передъ со-

бой. Потому она обратила взглядъ на своего мальчика. Ея глаза изъ блестящихъ стали темными и глубокими, а лицо приняло выраженіе тихаго, нѣсколько встревоженнаго и глубоко умиленнаго материнскаго счастья.

Когда она снова взглянула на Желехова, она не узнала его лица. Онъ дремалъ. Въ его чертахъ какая-то сильная мысль сдѣлывалась съ безмятежнымъ спокойствіемъ, а на губахъ едва играла чистая, почти дѣтская улыбка. Ему снилась заря, которую онъ только-что мимоходомъ видѣлъ въ окнѣ, и снились звуки, которыми эта заря пѣла какой-то чудный гимнъ. И центромъ великой зари и великаго гимна, центромъ, въ которомъ они рождались и откуда сіяли и звучали по всему небу, была его грудь—и большая и мощная, и источавшаяся и рождавшаяся. И основной нотой звучало: восторгъ, страсть, вдохновеніе,—счастье...

Дѣлать.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ПОЭМЫ

„ТИВЕРІЙ“

I

То были дни—великій Римъ
Стонялъ и мучился, томилъ
Ужасной властью старика,
Чей тусклый взоръ издавна
Кровавыми нитями сверкалъ:
На Капре, гдѣ къ подножью скалъ
Катался волимъ чередой,
Тиверій, дрихлый и сѣдой,
Вредялъ въ молчаніи, угрюмъ,
И, вникая моря тихій шумъ,
Сгоралъ огнемъ нежанныхъ думъ
О красотѣ и жести и дѣтѣ;
Иль, разбудивши въ сердцахъ гнѣвъ
И подосрѣвъ божанъ,
Онъ осуждалъ враговъ на казню,
Сомнѣнныя слалъ приказы—
И кровъ патриціевъ лилась...

II

Подъ яркимъ солнцемъ золотясь,
Чуть колыхалась синева
Эгейскихъ водъ, и острова
Вдали дребани тиняныя слоны.
Утесовъ гранитныхъ валовъ
Лучами жаркими облитъ,
Какъ будто радъ могильнымъ плитъ,
Сверкала, танула тутъ и тамъ...
Вредя по речетамъ военнымъ,
Трещала римская плыль.
Ея крикише заливала

Вылезь из ворот вѣтерка,
 И, горделива и легка,
 Шелковый парусь распустишь,
 Она несется черезъ заливы,
 Покинуть весело Парой.
 Какъ будто жаждала скорѣй
 Достичь далекихъ береговъ,
 Гдѣ гордый Римъ съ сеи коннотъ
 Военно надъ цѣлыми міромъ власть.

III

Крѣпка триремы быстрой снасть,
 И грудь и выгибъ за кормой
 Рѣзкою блещутъ золотой;
 Надъ палубой шатерь цвѣтной
 И, подъ завѣсами шатра,
 Въ разводахъ трирского ковра
 Весь полъ каюты. На стѣнахъ
 Играетъ солнце въ зеркалахъ,
 И лека мягкія кругомъ
 На отдыхъ манятъ. Серебромъ
 Властятъ затѣшливый узоръ
 Чеканенныхъ кубковъ и анфоръ
 И дорогихъ курильницъ дымъ
 Летитъ извивомъ голубымъ...
 Толпа нарядная работъ
 Съ далекихъ нилскихъ береговъ
 Поетъ, соннувшись въ дружный кругъ,
 Вблани кормы, и злриый арукъ
 Привѣтно вторитъ пѣнью ихъ,
 Снявшись съ плескомъ волнъ живыхъ,
 Вѣгущахъ быстро за рулемъ...

В. Буренинъ.

ЖИЗНЬ ХОРОША

ОЧЕРКЪ

I

— Москаliku, вы живы? спрашивалъ фельдшеръ Чумаченко, поднимаясь по крутой тропинкѣ къ вырытымъ въ старой свалкѣ землянкамъ.

— А что мнѣ сдѣлается... слышался отвѣтъ изъ глубины одной норы.— Не бойсь, не подохнемъ.

Этотъ вопросъ повторялся ежедневно все въ той-же формѣ, и на него слѣдовалъ одинъ отвѣтъ. Но съ каждымъ новымъ днемъ отвѣтъ дѣлался все слабѣе, и въ голосѣ москаля уже слышалось то напряженіе, какимъ больные обманываютъ самихъ себя. «Отъ-такъ зачепало чоловіка...» думалъ Чумаченко и встрахивалъ головой, какъ собака, проглотившая муху. Ему казалось, что время бѣжало безсозвѣстно быстро, какъ промывшая плотину вода, но болѣзнь шла еще быстрѣе, и фельдшеръ Чумаченко испытывалъ состояніе того охотника, у котораго изъ глазъ уходятъ два зайца. Самые лучшіе рецепты оказывались неэффективными, а болѣзнь бѣжала, бѣжала, бѣжала...

Разъ больной посмотрѣлъ прямо въ глаза фельдшеру и спросилъ въ упоръ:

— А что, братику, плохи дѣла?..

— Да... т. е. нѣтъ... однимъ словомъ, вадоръ!..

— Да ты не вилай, пожалуйста... Вижу. Глупо.

По мертвенно-блѣдному лицу больного промелькнула знакомая Чумаченко улыбка, которой онъ такъ не любилъ и которой даже боялся — вотъ умираеть человѣкъ, а не можеть бросить своей проклятой москалинной привычки. Именно эта улыбка дѣлала Чумаченко такимъ маленькимъ, но она всегда такъ неотразимо тинула его къ себѣ... Теперь она говорила ему: ты боишься больше москала, у котораго смерть на носу. Да, Чумаченко испытывалъ приступы настоящего ужаса, уничтоженный собственнымъ безсиліемъ.

Землянка, въ которой лежалъ больной, походила на гнѣздо стрижа гдѣ-нибудь въ обрывѣ крутого берега. Старая прѣтская свалка, заросшая наверху молодымъ лѣсомъ, хоронила въ себѣ много такихъ землянокъ, точно она была источена червями. Внутренность землянки едва позволяла повернуться. Надѣло отъ входа дымился слѣпленный изъ глины башкирскій чуралъ, направо — дерновая лежанка, къ которой теперь былъ точно прикованъ больной, въ глубинѣ — разная прѣтская снасть: кайлы, ломаты, ломъ, грохотъ. Надъ лежанкой деревянная полочка съ книгами и провизіей.

Больной лежалъ подъ желтымъ азиатомъ, который облегалъ его вытянутое тѣло тощими складками. Русая голова рѣзко выдѣлялась на нестрой ситцевой подушкѣ. Загорѣлое лицо было блѣдно, сѣрые, строгіе глаза округлились, носъ заострился, а губы заперлись. Больной лежалъ спокойно и боялся сдѣлать малѣйшее движеніе, чтобы не вызвать лишняго припадка кровотечения. Какое страшное слово: кровь... Вѣдь съ каждой каплей этой крови вытекала сама жизнь. Больной это чувствовалъ, и у него выступалъ холодный потъ на лбу, когда на языкѣ появлялся вкусъ свѣжей крови — солоноватый и сладкій, немного жирный и прѣсный. Онъ старался удержаться, чтобы не кашлянуть, но кровь одолевала... Послѣ каждаго такого припада являлась изнурительная лихорадка съ предательскимъ теплотомъ, потомъ и холодомъ. Бараний тулупъ не спасалъ отъ проникавшаго въ самыя кости холода, и зубы выбивали неизвестный маршъ.

Глядя на эту картину быстрого разрушенія, Чумаченко дѣлалось совѣстно за свое бычачье здоровье, за прекрасный аппетитъ, мертвый сонъ и то солнышко, которое цѣлые дни играло въ безоблачномъ небѣ надъ землянкой.

— Умереть это еще ничего... говорилъ больной, съ трудомъ переводя дыханіе.— Долгъ природѣ... Страшно умереть отъ глупой причины. Да... вѣдь я никогда не хворалъ, братику. Цѣлый годъ одной гнилой горошинцей питался... но колѣно въ холодной водѣ цѣлые дни работалъ... и все ничего, а тутъ... ахъ, какъ все это глупо!..

— Умныхъ болѣзней нѣтъ, Евгеньчъ... Въ природѣ есть только послѣдовательность.

Москаль Евгеньчъ закрывалъ отяжелѣвшія вѣки и въ тысячу первый разъ повторялъ про-себя короткую исторію своей болѣзни, какъ всѣ больные. Вотъ онъ, такой здоровый, потный отъ работы въ шахтѣ, садится къ артельному котлу съ варевомъ. Аппетитъ волчій. На его долю достался кусокъ говядины съ раздробленной костью. Вѣдь тысячи разъ каждый ѣлъ такую говядину, а Евгеньчъ хотѣлъ проглотить и остановился— тамъ, въ горлѣ, ножемъ остановилась острая кость. Мало ли людей давится костями, и ничего, все сходить съ рукъ. Чумаченко произвелъ обычную въ такихъ случаяхъ операцію и протолкнулъ кость изъ пищевода въ желудокъ. Евгеньчъ почувствовалъ себя сразу здоровымъ и послѣ операціи опять вышелъ на работу. Но зато ночью у него появился первый припадокъ кровохарканія: кровь пошла печенками, а потомъ начала сочиться капля за каплей. Теперь онъ питался своей собственной кровью... Умереть отъ того, что подавился костью—нѣтъ, это слишкомъ глупо!

— А какъ на принскѣ идутъ работы? спрашивалъ Евгеньчъ приходившихъ его провѣдать, чтобы отвлечь мысль отъ своей болѣзни.

— Ничего, работаютъ...

Отъ приходившихъ такъ и вѣяло жизнью, точно они вносили съ собой въ землянку и воздухъ, и свѣтъ, и запахъ только что разрытой земли, и ароматъ стеной травы.

II

Тамъ, на предѣлахъ землянки, время бѣжало такъ быстро, а въ землянкѣ оно тянулось съ убійственной медленностью, какъ въ тюрьмѣ или въ могилѣ. Да, это и была могила, которая давила больного впередъ, стояло ему закрыть глаза. Особенно тяжелы были ночи, когда потухали послѣдніе огоньки и воцарялась тишина. Только работала паровая машина, откачивавшая воду изъ шахты съ тяжелымъ хрипѣньемъ, точно она задыхалась отъ непосильной работы.

— Пожалуйста, не затворяй дверь! просилъ больной, когда кто-нибудь изъ сосѣдей по свалкѣ припиралъ его снаружи.

Дверь замѣнила окно. По вѣлымъ часамъ Евгенийъ наблюдалъ въ нее одну и ту-же картину: прямо утесистая гора Неумойка, врѣзывавшаяся крутымъ мысомъ въ глубокую котловину; нагнво уходила холмистая гряда; вдали чуть брезжились спяватый просторъ разбѣжаншихся кругомъ горъ. По дну лога съ шумомъ летѣла говорливая горная рѣченка Черемшанка, разливаясь по канавамъ, прудкамъ и желобамъ. На откосѣ Неумойки глѣлся кое-какъ сгороженный сарай, поставленный надъ шахтой; длинная желѣзная труба отъ паровой машины дымилась надъ этимъ сараемъ день и ночь. А тамъ внизу, по всему теченію Черемшанки, отъ зари до зари шла неустаянная работа, точно шевелился разрытый муравейникъ. Ахъ, какъ любилъ Евгенийъ все это, а особенно своихъ товарищей по работѣ: какой былъ сильный и предпріимчивый народъ, съ той особенной азартной складкой характера, какой отличаются всѣ промысловые рабочіе. И въ этой картинѣ природы, и въ этихъ людяхъ было что-то такое особенное, безконечно дорогое ему, чего нѣтъ и въ поминѣ тамъ, въ коренной Россіи: тутъ чувствовался широкій размахъ, дикое веселье и бившая ключемъ энергія.

Изъ своей норы Евгенийъ видѣлъ, какъ занимался рабочій пріисловый день и какъ онъ кончался. Милкія лѣтніе сумраки быстро сгущались внизу. Затихшіе рабочіе шумъ сѣлился теперь

громкимъ говоромъ одной Черемшанки—да, она говорила, говорила безъ конца, то ласково и любовно, то сердито или ворчливо. Ночныя тѣни и ночные звуки росли вмѣстѣ, по мѣрѣ того какъ замиралъ яркій дневной свѣтъ. Когда ночной туманъ заливалъ всѣ ущелья и котловины, получалась замѣчательная иллюзія: кругомъ стояло бѣло-молочное море, поднимавшее высокія гребни каменныхъ волнъ. Да, это были настоящія волны, оперенныя зеленой пѣной лѣпившагося по шпиханамъ лѣса, а между ними, какъ морское судно, неподвижно остановилось горбившееся присковое строеніе—съ маленькими лодками, когда онѣ попадаютъ между двумя волнами, бываетъ такой моментъ нерѣшимости: вода точно распадется скользящей и переливающейся пропастью, волна съ размаху несется выше, съ шипѣньемъ закручивая пѣну, а жалкая скорлупа стоитъ на одной точкѣ, дожидаясь подкатывающейся снизу невидимой силы, которая вынесетъ на самый гребень.

Короткая лѣтняя ночь кажется Евгеньчу безконечной. Онъ почти не спитъ, и тяжелое полузабытіе полно грезъ. Просыпаясь, онъ ищетъ глазами двери, точно боится, что вмѣстѣ съ ней закроется для него послѣдній свѣтъ. Въ чужахъ тлѣетъ огонь—чья-то добрая рука приноситъ который день дрова и подкидываетъ ихъ на огоньше. Вся теплота уходитъ въ трубу, но это очищаетъ воздухъ.

Одинокство—какая это страшная вещь... Мысли большого уносятся туда, въ коренную Россію, гдѣ онъ родился и выросъ. Тамъ онъ ничего не оставилъ, но его все-таки тянетъ къ роднымъ мѣстамъ, и это чувство проснулось именно теперь, какъ реакція ослабѣвшаго чувства.

— Зачѣмъ? вслухъ думаетъ онъ, прислушиваясь къ звукамъ собственнаго голоса.— Не стоитъ...

Вѣдь онъ, все равно, ушелъ навсегда и давно умеръ для этой родины. Но зачѣмъ тамъ, въ логу наливается вода и подступаетъ все ближе къ землянкѣ... Такая холодная вода, которая ползетъ въ гору, какъ змѣя. Евгеньчу еще маленькій, и ужасъ охватываетъ его дѣтское сердце... А вода все ближе и уже

первыя струйки лижутъ ноги. Ахъ, да это сонъ, бредъ. Холодно внутри, и опять этотъ вкусъ свѣжей крови... Кругомъ все тихо. Жалуются одна рѣчонка въ осокѣ да отпыхиваетъ паровикъ. Въ головѣ Евгеньича проносятся обрывки мыслей и отдѣльные звенья воспоминаній. Вотъ онъ бѣднякъ и пробиваетъ себѣ дорогу. Нужно одолѣть груды ненужныхъ нигуда учебниковъ, перебиваться на грошовыхъ урокахъ, и къ чему? кому нуженъ этотъ слишкомъ «дорогой хлѣбъ науки». Былъ моментъ, когда Евгеньичъ хотѣлъ покончить съ собой, но его спасло молодое здоровье. Наука брошена, и Евгеньичъ очутился въ разрядѣ тѣхъ интеллигентныхъ бродягъ, которыхъ становится все больше и больше. Тысячи недоучекъ и неудачниковъ бродятъ по родинѣ и не находятъ себѣ куска хлѣба, когда каждый рабочій имѣетъ его и долженъ имѣть. Онъ видитъ массу ненужныхъ страданій, непосильную борьбу съ традиціями и предрасудками, и все это чувствуетъ въ самомъ себѣ. Исканіе привилегированнаго мѣста, легкаго хлѣба, благороднаго труда, труда по призванію — вотъ гдѣ погибель... Нужно все это бросить и уйти туда, гдѣ разлеглась вольная земля, гдѣ вольные люди, гдѣ вольный трудъ. Евгеньичъ на золотыхъ промыслахъ простымъ рабочимъ, и какъ онъ счастливъ, что можетъ работать наряду съ другими. Отчаянная прінсковая вольница чаруетъ его, онъ срастается съ ней и въ три года перерабатывается въ прінскового волка. О, онъ прошелъ длинный путь тяжелаго искуса и остается сдѣлать немного... У него есть цѣль, жизнь полна, впереди свѣтло. Но затѣмъ опять поднимается эта вода, которая хочетъ поглотить его?..

— Москалку, вы живы?..

— Несовѣтъ...

Затѣмъ умираетъ, когда тѣло еще полно силы, затѣмъ глупо умираетъ—последняя мысль давила Евгеньича, какъ могильная плита.

III

— Скоро? спрашивалъ Евгеньчъ.

— Да... т. е. нѣтъ... Конечно, всѣ мы подъ Богомъ, хотя...

— Довольно...

Голова больного откинута, глаза полуоткрыты. Чумаченко сидитъ на обрубкѣ бревна и считаетъ пульсъ: дѣло скверно...

— А ты слышишь, какъ работаетъ паровикъ? спрашиваетъ больной, открывая глаза.

— Нехай работаетъ...

— Нѣтъ, хорошо... Что-то такое бодрое есть въ каждой машинѣ... однимъ словомъ, сила. Да...

Ему было тяжело говорить, но Чумаченко не противорѣчилъ: все равно москаль умреть, такъ пусть хоть «выговорится» передъ смертью — это иногда бываетъ. Здоровый Евгеньчъ не любилъ болтать, а съ такими субъектами именно и случаются припадки предсмертной болтливости, точно они хотятъ заразъ вылить все, что притаили въ себѣ.

— Чумахъ, ты — хохолъ... ты не поймешь меня... стоналъ Евгеньчъ, тяжело перекачивая голову на подушкѣ.

— Усе пойму...

— А я все думалъ о томъ... глупо, конечно... Мучился... а дѣла сколько впереди... Гору хотѣлъ повернуть и повернулъ бы, да вотъ подавился — ахъ, какъ меня мучила эта кость... Все время мучила: глупо такъ кончить... Все думалъ... о чемъ я думалъ?... Чумахъ, я видѣлъ себя богатымъ... жила найдена, и я ее берегу... О, я скоро былъ бы богатымъ и только хотѣлъ до конца пройти свой искусь... Это нужно. Впереди былъ миллионъ. Понимаешь ты, что значить это слово?... Оно мнѣ кружило голову... Теперь я работаю только своими двумя руками, а тогда сталъ бы работать тысячами такихъ рукъ. И не для себя... Много ихъ пропадаетъ напрасно: молодыхъ, здоровыхъ... Всѣхъ бродягъ устроилъ бы... Тамъ въ Россіи дѣлать нечего... нужно уходить на Уралъ, на Алтай, въ Среднюю Азію, въ Закавказье,

въ Уссурийскій край... О, я ужъ видѣлъ всё эти благословенныя мѣста: я обошелъ ихъ и видѣлъ золотые сны... Какъ это было хорошо: милліоны людей найдутъ тамъ свой хлѣбъ... Нѣтъ, у меня голова кружится...

— Будетъ вамъ, москалюку... Тоже придумали: этого не можно.

— А вѣдь машина-то работаетъ, день и ночь работаетъ... Слышишь?

— Чую...

— Камень попался—камень долбить... воду отливаетъ. По-
мнишь, какъ говорить Фаустъ:

Тогда скажу я: «Чудное мгновенье,
Прекрасно ты... Остановись!
Я высшій нигъ теперь вкушаю свой...

— Да будетъ вамъ, москалюку... Дурень былъ вашъ Хфаустъ.
Не можно такъ, я вамъ кажу...

Евгеньичъ лежалъ и улыбался, улыбался тому внутреннему
миру, который расцвѣталъ въ немъ. Онъ съ открытыми глазами
видѣлъ яркія грезы своего воображенія и чувствовалъ себя такъ
легко, какъ никогда.

— И вдругъ какая-то глупая кость... не унимался больной,
продолжая вслухъ свою мысль. — Голодный тифъ, дифтеритъ—
что угодно, но не такая глупая смерть... Меня это убивало...
смерть не одинъ разъ уже приходила ко мнѣ сюда, въ землянку,
и я чувствовалъ, какъ послѣдняя кровь начинала остывать въ
жилкахъ... Опять подступала холодная вода, и я чувствовалъ, какъ
начинаю тонуть... Но вѣдь *она* не умретъ, значитъ, не умру
и я. Я буду тутъ, съ этими людьми, которые придутъ сюда...
всѣхъ... О, ихъ такъ много, и я такъ ихъ всѣхъ люблю! Есть
идеи и чувства, которые висятъ въ воздухѣ. Я не чувствую
себя больше одинокимъ, и жизнь хороша. Не я, такъ другой, не
другой, такъ третій: *она* идетъ... Все равно, какъ на войнѣ:
одинъ шагъ, но строй сомкнулся и идетъ впередъ... и что зна-
читъ этотъ одинъ?... Чумахъ, слышишь, какъ работаетъ машин на...

Ночь была холодна, потому-что надъ землею не стояло въ небѣ ни одного облачка. Цѣлые хороводы яркихъ звѣздъ величаво озаряли и горы, и лѣсъ, и долины, и тихо-плакавшую воду. Въ землянкѣ Евгеньича давно потухъ огонекъ, и царяла мертвая тишина. Когда утромъ одинъ изъ рабочихъ завернулъ провѣдать Евгеньича, его уже не было—на дерновой лежанкѣ покоился холодный трупъ. На побѣдившемъ лицѣ застыла улыбка... Набѣжали изъ землянокъ пріисковья бабы и начали потихоньку причитать:

— Охъ, родненькій, и глаза-то закрыть некому!.. Тоже, води, мать была...

— За фершеломъ надо спосылать: порядокъ...

Пріѣхалъ Чумаченко, завернулъ въ землянку и заплакалъ. А надъ горами весело играло лѣтнее солнце, гдѣ-то въ кустахъ заливалась птичка, пахло свѣжей травой. Около землянки Евгеньича долго не расходилась толпа пріисковыхъ рабочихъ.

— Отъ-то мудреный былъ человекъ... думалъ Чумаченко, соображая, какъ хоронить москала.

Д. Сибирякъ.



ANDANTE

сонетъ

И пережила востъ, дни шального оныянья,
Когда я алтари кумирамъ воздвигала,
Когда со струнъ души, зноившихъ какъ кинжалъ,
Восторга лился гниль, неслись благословенья!

Какъ огнели несутъ, слезнула востъ жизни валь...
Довольно! пройденъ путь... Теперь—можно забвенья...
Холодной осени не вынесъ дуновения
И захрилъ цѣтокъ, потившихся немъ сказъ...

Но гдѣ же конецъ? Вачѣмъ же нѣтъ развѣнья
Комедіа, разыгранной давно?
На сценѣ тѣнива, и пусто, и темно...

Откуда же все идетъ дума горькой заски?
И кинной, нахулабитой сказки
Вачѣмъ узнать истой силѣ нѣтъ суждено?..

М. Соймоновъ.

Питербурга, 1888.

ЧЕРВОНЕЦЪ *)

Жилъ въ Москвѣ отставной генералъ знатнаго рода. Любилъ хорошо поѣсть, принималъ гостей, держалъ за дорогую цѣну повара,—померъ. И остался отъ него малолѣтний сынъ Андрей. Вошелъ Андрей въ лѣта, принялъ отцовское наслѣдство—пристрастился къ картежной игрѣ. Днемъ—спалъ, ѣлъ, выѣзжалъ на гулянье, ночью же—уходилъ въ игорные дома и проводилъ тамъ время до разсвѣта. Но вотъ—надоѣло ему московское житье. Продавъ онъ какое осталось отъ отца добро, собравъ деньги, выправилъ паспортъ, поѣхалъ въ чужія земли—въ городъ Парижъ. И тамъ еще того больше затянулся въ игру и сталъ проводить разсѣянную жизнь. И по нѣкоторомъ времени узналъ онъ—есть такіе дома, гдѣ играютъ не въ карты, а устроено колесо съ номерами; колесо вертится точно въ ящикѣ, прыгаетъ костяной шарикъ по колесу; и если упадетъ шарикъ на томъ номерѣ, на который положишь деньги—бери вдвое, вдесятеро и больше, смотря по номеру, а ежели на иномъ номерѣ упадетъ шарикъ—берешь тотъ, чье колесо. И Андрею очень понравилась такая игра. По цѣлымъ ночамъ сидѣлъ онъ у колеса, ловилъ глазами, куда упадетъ шарикъ. Въ головѣ у него шумѣло, какъ отъ вина,—либо онъ положить кучку денегъ и его кучку сгрести къ себѣ хозяинъ колеса, либо ему придвинуть кучку золота съ счастливаго номера. И его жизнь въ томъ и проходила, что

*) Въ нѣкоторой части заимствовано изъ Фр. Кенна.

Отдастъ II.

либо отъ него сгребуть, либо ему придвинуть. И такъ прошло пять лѣтъ.

Вотъ разъ онъ игралъ и не повезло ему. И вошелъ въ азартъ, ставилъ нѣсколько часовъ къ ряду большія деньги—и не вышло ни одного счастливаго номера. И вдругъ увидалъ, что послѣдній его сторублевый билетъ перешелъ къ хозяину колеса. Пошарилъ Андрей въ карманахъ—ничего не нашлось, проигрался до-тла. Выгѣзъ онъ изъ-за стола—голова кругомъ идетъ, на ногахъ шатается, побаился, чтобъ не упасть, присѣлъ поодаль на скамеечку. Сѣлъ, глядитъ мутными глазами... видитъ—тѣснятся у стола другіе игроки, горятъ огни, по зеленому сукну золотого шуршитъ—то къ себѣ загребеть хозяинъ, то къ игрокамъ подвинуть; и лицо у хозяина жесткое, холодное, а у игроковъ—жадными лица, осунулись, глаза такъ и впивались въ колесо; постукиваетъ шарикъ, колесо кружится то туда, то сюда.

И вспомнилъ Андрей—прошло пять лѣтъ: люди жили, любили, горевали, радовались, а онъ все здѣсь, все вокругъ колеса. И какъ подумалъ, что разоренъ теперь, потерялъ, что нѣтъ у него больше денегъ—противно сдѣлалось ему жить. И вотъ вспомнилъ—изъ всего отцовскаго добра остались у него пистолеты, дома, въ столѣ лежать, и сказалъ самъ себѣ: противно мнѣ жить, дай пойду и застрѣлюсь. И только сказать—взяла его усталость, прислонился онъ къ стѣнкѣ и заснулъ глубокимъ сномъ. Но спать недолго. Проснулся—попрежнему болитъ голова и въ сердце точно покалываетъ. Взглянулъ на часы—скоро полночь. Потянулся Андрей, зѣвнулъ и пошелъ къ дверямъ. А въ головѣ одна мысль: пойду и застрѣлюсь.

Въ томъ домѣ постоянно пребывалъ полячокъ одинъ—панъ Дронскій. Былъ когда-то богатъ, весь проигрался, а теперь тѣмъ и жилъ, что выпрашивалъ по мелочи у игроковъ. Что выпросить, сейчасъ и поставить на колесо, иной разъ выиграстъ бездѣлицу, другой—проиграстъ, на ходу поѣстъ, попьетъ, и все торчитъ—либо у колеса, либо у дверей. Былъ человѣкъ потерпѣнный, несчастный. Увидалъ онъ, что Андрей собирается ухо-

дять, кинулся къ нему, поймалъ за рукавъ, заглядываетъ въ глаза, шепчетъ:

— Одолжите мнѣ пять франковъ. Вотъ ужъ два дня слѣжу я за колесомъ—семнадцатый номеръ ни разу не выходилъ. Руку даю на отсѣченье—пробьетъ полночь, выйдетъ семнадцатый номеръ. Одолжите пять франковъ.

Андрей только плечами пожалъ. Не то что пяти франковъ—у него и мѣдной копейки не оставалось. Полноты забормоталъ что-то по-своему, отсталъ отъ Андрея.

Вышелъ Андрей въ лакейскую, одѣлъ шубу, слышитъ говорить лакемъ: завтра рождество. И точно засосало Андрея отъ этихъ словъ. Вспомнилъ онъ свои беззаботные годы, вспомнилъ мать, отца, слугъ, нянекъ, всё ухаживали за нимъ, нѣжили его, лелѣли. И вотъ какъ дымъ, какъ тѣни отъ бѣгущаго облака,—жили, страдали, любили, радовались, померли... и никого нѣтъ. Еще скучнѣе сдѣлалось Андрею. Выскочилъ онъ на улицу, запахнулъ, шибко пошелъ. Было темно. Рѣдко, далеко другъ отъ друга, горѣли фонари въ глухой улицѣ. Только-что выпалъ глубокий снѣгъ. Морозило.

Вотъ поравнялся Андрей съ фонаремъ и видитъ—у рѣзныхъ воротъ огромнаго дома сидитъ вся въ снѣгу дѣвочка лѣтъ шести. Едва прикрыта лохмотьями. Одна ножка обута, другой башмачокъ лежитъ возлѣ, на снѣгу. Была непомерная стужа, но дѣвочка видно намучилась и крѣпко спала: ея маленькая головка и костлявое плечико будто приросли къ стѣнѣ; холодный камень былъ ей вмѣсто постели. Жалко сдѣлалось Андрею и подумалъ онъ: возьму я малютку къ себѣ и обогрею, дамъ ей на ночь пріютъ. И протянулъ руку, чтобъ разбудить дѣвочку. И вдругъ видитъ—въ томъ башмачкѣ, который валялся въ снѣгу—блеститъ что-то ясное. Посмотрѣлъ Андрей ближе—блеститъ червонецъ.

Проходилъ раньше Андрея добрый человѣкъ, увидалъ башмачокъ возлѣ заснуваго ребенка, вспомнилъ рождественскій обычай, положилъ въ башмачокъ щедрую милостыню. И сказалъ себѣ: проснется дитя, найдетъ червонецъ; обрадуется, пойметъ, что не совсѣмъ еще оно покинуто на бѣломъ снѣгѣ.

Андрей хотѣлъ поскорѣе разбудить дѣвочку, объявить ей эту радость—указать на червонецъ... Но вдругъ, надъ самымъ своимъ ухомъ, услышалъ онъ, точно въявь, голосъ того полячка; будто шепчетъ полячокъ: «Вотъ ужъ два дня слѣжу я за колесомъ—семнадцатый номеръ ни разу не выходилъ; руку даю на отсѣченье—пробьетъ полночь—выйдетъ семнадцатый номеръ».

И захотѣлось Андрею украсть червонецъ у нищей дѣвочки.

Скажи Андрею кто-нибудь прежде: вотъ придетъ время, и ты обокрадешь нищаго,—Андрей подумалъ бы, что тотъ человѣкъ не въ своемъ умѣ. И дѣды, и прадѣды Андрея считались за честныхъ людей, были въ большомъ почетѣ за ихъ твердость и прямоту. Самъ Андрей хотя и былъ игрокъ и велъ безпутную жизнь, но не воровалъ, не лгалъ, не обманывалъ, — гордился, что происходитъ отъ честнаго и знатнаго рода.

И вотъ оглянулся онъ туда и сюда, видитъ—кругомъ пусто, фонари едва свѣтятся, людей нѣтъ, — нагнулся, схватилъ червонецъ изъ башмачка, зажалъ его въ руку и со всѣхъ ногъ бросился бѣжать къ игорному дому. Прыжками взбѣгалъ онъ на лѣстницу, распахнулъ настежь двери въ проклятую комнату и очутился у колеса какъ разъ въ ту минуту, когда часы начали бить полночь. Бросилъ онъ червонецъ на столъ, проговорилъ хриплымъ голосомъ:

— Семнадцатый номеръ на всѣ.

Выигралъ семнадцатый номеръ. Вышло Андрею въ тридцать пять разъ больше червонца. Поставилъ онъ всѣ тридцать-пять золотыхъ на двойную ставку. И опять выигралъ. Поставилъ еще—и выигралъ. И еще нѣсколько разъ ставилъ двойныя ставки и всѣ выигрывалъ. Передъ нимъ лежали груды золота и бумажекъ. Онъ игралъ внѣ себя, безъ всякаго расчета, точно пьяный, но какой номеръ ни задумывалъ—всѣ выходили на выигрышъ. Удача была неслыханная, необычная. Всѣ игроки отстали играть и удивлялись на Андрея. Пакъ Дронскій не сводилъ съ него глазъ... У самого хозяина кривились и тряслись губы.

Десятью оборотами колеса Андрей вернулъ весь свой проигрышъ, все, что было имъ прожито изъ отцовскаго наслѣдства.

И такъ повалило къ нему счастье, что теперь онъ ужъ былъ вдесятеро богаче, чѣмъ послѣ смерти отца. Онъ торопился, когда сбѣжалъ къ колесу, и не успѣлъ снять шубу. И теперь въ карманы шубы напихивалъ деньги. Мало того — сюртукъ, жилетъ, табачница, носовой платокъ — все, во что можно было спрятать деньги, — все было нагружено золотомъ и скомканными бумажками. А онъ все игралъ и все съ тѣмъ-же счастьемъ.

Но, играя будто въ наступленіи, точно пьяный отъ несмысленной удачи, онъ нѣтъ-нѣтъ да и схватывался за сердце. Тамъ опять начинало покалывать; болѣло словно отъ обжога. Маленькая нищая не выходила у него изъ головы. Самъ ставитъ, говорить какой номеръ, причесать деньги, а самъ думаетъ: «Тамъ ли еще дѣвочка? на томъ ли мѣстѣ?» И утѣшаетъ себя: «О, конечно, она тамъ. Куда ей дѣться. Какъ только пробьетъ часъ — уйду отсюда. Я возьму ее, отнесу домой, уложу на свою постель, отогрѣю. Воспитаю ее... дамъ ей приданое. Всю жизнь буду любить и легѣять какъ родную дочь... Всю жизнь, до самой смерти!»

Но пробилъ и часъ, и четверть, и полчаса, и три четверти второго... Андрей никакъ не можетъ оторваться отъ проклятаго колеса.

За минуту до двухъ часовъ хозяинъ всталъ и сказалъ:

— Сколькими деньгами я отвѣчалъ за колесо — всѣ ты выигралъ. Не могу больше отвѣчать.

Закричали, засуетились игроки, обступили Андрея. Поднялся Андрей, растолкавъ игроковъ, въ одинъ прыжокъ очутился у дверей, сбѣжалъ съ лѣстницы, прямо бросился къ тому дому. И издали еще примѣтилъ — горитъ у воротъ фонарь, и видно, что на камнѣ лежитъ малютка. — Слава Богу! сказалъ Андрей, — она еще здѣсь. — И онъ подбѣжалъ къ ней и взялъ ее за ручки... Ручка была холодная. У Андрея выступили слезы отъ жалости.

— Господи, Господи, сказалъ онъ, — какъ-же ей холодно, бѣдняжкѣ.

И хватилъ ее на руки. Головка повисла у дѣвочки, но она

не проснулась. И подумалъ Андрей: «Какъ крѣпко спится въ эти годы».

Чтобы согрѣть—онъ прижалъ ее къ себѣ. И пожелалъ разбудить, хотѣлъ поцѣловатьъ въ глазки. Вдругъ видитъ—пріоткрыто кѣло и зрачокъ высматриваетъ оттуда тусклый, неподвижный, какъ стеклянный. Похолодѣлъ Андрей—пришло ему въ голову, что дѣвочка замерзла. Приложился онъ къ ея губкамъ—нѣтъ дыханія. И поднесъ ее ближе къ фонарю и посмотрѣлъ—и увидалъ, что она мертвая.

Страшно сдѣлалось Андрею. Выпустилъ онъ изъ рукъ мертвое тѣло, положилъ на камень, пошелъ тихо, тихо, спотыкается на ходу. Пришелъ домой, щелкнулъ ключемъ въ замкъ, бросилъ какъ ни попала шубу, легъ ничкомъ на кровать... И лежалъ безъ памяти.

Прошло часа три. Очнулся Андрей... Въ окнахъ едва свѣтлѣется отъ зимней зари. И видитъ—напротивъ него сидитъ на стулѣ полячокъ, курить. Дверь на замкъ, ночь,—но Андрею и въ голову не пришло удивиться, что у него въ горнищѣ сидитъ полячокъ. Будто такъ надо. Приподнялся Андрей, сѣлъ на постели, оперся руками, смотреть, ждать, что ему гость скажетъ. И тотъ сказалъ:

— Ты чтѣ же деньги-то зря разбросалъ: вѣдь тутъ, братъ, безъ налага сто тысячъ.

— Я и самъ знаю, что сто тысячъ, отвѣтилъ Андрей.

— А знаешь—прибери. Не щепки.

— Не щепки, да проклятыя. Изъ-за нихъ человекъ пропагъ. Засидѣлся полячокъ.

— Это ты про нищенку, что-ль? Коли про нищенку, такъ напрасно. Не ты—другой бы ваялъ. Отаточное ли дѣло червонцу въ стоитанномъ башмакѣ валяться.

— Я укралъ—не другой. Черезъ меня пропала, не черезъ другого.

— Чудачина ты! Вотъ у тебя были деньги, и ты ихъ пропатывалъ куда—зря. Ужали, думаешь, у твоихъ дверей не замерзали люди?

— Может и замерзали, сказалъ Андрей.

— Вотъ и у отца твоего были деньги,—у него-то за окнами не помирали отъ нужды?

— Может и помирали.

— Вотъ и у дѣдовъ, и у прадѣдовъ твоихъ были деньги, а стоило выйти на улицу, и у людей не было хлѣба и одежды. Развѣ не пропадали люди съ холода и голода?

— Всегда пропадали, сказалъ Андрей.

— Стало-быть всѣ вы отъ перваго до послѣдняго—воры и душегубцы.

— Нѣтъ не воры—нашъ родъ честный.

— А коли весь родъ честный, и ты не извергъ въ своемъ родѣ. Что ты сдѣлалъ такого, чтобъ испугаться? У дѣдовъ твоихъ въ глазахъ люди пропадали, и у тебя человѣкъ пропагъ. Цѣна одинаковая. И всѣ вы въ почетѣ за вашу честь, потому-что такъ устроено въ мірѣ. Одинъ богатъ—другому ѣсть нечего, одинъ—молодымъ помраетъ, другой—зоветь смерть, и она не идетъ къ нему. Кто ты такой, что бунтуешься противъ установленнаго порядка?

— Я не бунтуюсь. Мнѣ страшно. Душа черезъ меня пропала, сказалъ Андрей.

Опять усмѣхнулся полячокъ.

— Вѣдь это сдѣлать сказать, проговорилъ онъ,—сидишь ты за стекломъ и даешь человѣку замерзать—ничего! а прошелъ мимо и дагъ замерзнуть—мучаешься и проклинаешь день своего рожденія. Скажи, не одинаковая-ли погибель людямъ, и не одинъ-ли грѣхъ?

— Коли такъ—мнѣ еще страшнѣе, отвѣтилъ Андрей.

— Вотъ и не умѣешь думать. Не отъ тебя погибель и не отъ тебя грѣхъ. Выдумай такъ, чтобъ всѣ равно были сыты и одѣты, равно умы, равно здоровы, чтобы вождь не душилъ ягненка и ястребъ оберегалъ цыплятъ. Попробуй, выдумай.

— Какъ выдумать—это не отъ меня.

— Значить, не отъ тебя и люди погибаютъ и не твой грѣхъ.

Значить—предуславлено. Значить—ничего и пугаться. Кто установил, тотъ и пускай пугается, того и грѣхъ.

Попыскаль Андрей, что сказать, и не нашель. И ему сдѣла-лось легче отъ того, что онъ не нашель что сказать. И какъ сдѣ-лялось легче, посмотрѣль онъ и видѣть—лицо у полячка стало сѣрое, неясно отличается, будто въ тонкомъ снѣ. И подумаль Андрей: «Неловко молчать, надо мнѣ сказать что-нибудь»—и ска-залъ что пришло въ голову:

— Отцы не знали, что дѣлали. А я зналь и погубиль душу.

— Расскажырай еще! выгонориль полячокъ,—кабы ты погу-биль—ты придушилъ бы ее и пошелъ прочь. Но ты этого не сдѣлаль. Замерзала! обокрадена! Не будь тебя—все равно бы за-мерзала, и деньги все равно украли бы. Разница въ томъ и со-стоитъ,—другой взяль бы червонецъ да и пропилъ, а ты пзъ одного червонца нажилъ богатство. Ты умный человекъ, Андрей.

Андрей промолчалъ.

— А вѣдь это все я! похвалялся полячокъ,—не шепни я тебѣ про семнадцатый номеръ, ты бы и думать забыль. Но вотъ теперь ты богатъ.

— Все ты, сказалъ Андрей и отвратиль глаза—не могъ больше смотрѣть на полячка—и началъ дрожать съ головы до ногъ.

Андрей подняль голову; опять ему сдѣлалось легче.—Говори еще, сказалъ онъ,—можеть-быть я и совсѣмъ оживу.—И вдругъ полячокъ пристально посмотрѣль на Андрея, поднялся съ мѣста, передвинулся неслышными шагами въ темный уголъ гор-нины и, когда заговориль оттуда—голосъ его сдѣлался глухой и невнятный.

— Что по-твоему дороже, спросиль онъ Андрея,—одна-ли душа человеческая, или чтобы тысячи не померли напрасной смертью?

— Чтобы тысячи не померли напрасной смертью, сказалъ Андрей.

— Подбери же деньги. Устроишь на нихъ богадѣльни, пріюты, страннопріемные дома. Благо будетъ тысячамъ, а дѣвочка-то пропала всего *одна*.

— Вѣрно, что одна! Вѣрно, что тысячи прокормлю и спасу отъ напрасной смерти! вскрикнулъ Андрей и захлопалъ въ ладоши отъ радости. И оглянулся. Видитъ—никого нѣтъ, въ горницѣ отсвѣчиваетъ краснымъ отъ зари, на полу шуба лежитъ, золото валится.—Надо прибрать, подумалъ Андрей и хотѣлъ спустить ноги съ постели. Вдругъ—онять его кольнуло въ сердце. Схватился онъ рукою за рубашку, самъ смотритъ за дверь, не можетъ оторваться. Точно его кто тянетъ туда... И слышитъ — стучать въ дверь тихо, тихо:

— Тукъ, тукъ, тукъ.

Побѣгълъ губы у Андрея. Хочетъ онъ спросить: кто тамъ?— и не можетъ—языкъ не поворачивается. И вдругъ — скрипнула дверь, подвинулась... Прикрылся Андрей одѣяломъ, сползъ съ кровати, началъ задомъ къ стѣнѣ пятиться. И не сводитъ глазъ съ двери. Онъ помнилъ, что дверь на замкѣ, и не удивлялся, что она отворяется. Онъ даже не думалъ объ этомъ... будто такъ надо. Онъ только леденѣлъ отъ страха, потому что *зналъ* кто за дверью. И вотъ видитъ—отворилась дверь на пелъаршина, высунулось дѣтское личико изъ-за двери — синее, испитое, вѣко пріоткрыто, зрачокъ тусклый, неподвижный, точно стеклянный.

Вскрикнулъ Андрей страшнымъ голосомъ, заслонилъ руками лицо, пагъ какъ убитый громомъ.

Обѣжались люди, выломали замкнутую дверь, увидали мертвого человѣка и много золота.

А. Эртелъ.



[illegible]

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 30 million, and the number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 85 years of age or older is projected to increase from 2 million to 4 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 90 years of age or older is projected to increase from 500,000 to 1 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 95 years of age or older is projected to increase from 100,000 to 200,000 (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 100 years of age or older is projected to increase from 10,000 to 20,000 (U.S. Census Bureau, 1996).

[illegible][illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

[illegible][illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 35 million, and the number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million (U.S. Census Bureau, 1997). The number of people 85 years of age or older is projected to increase from 2 million to 4 million (U.S. Census Bureau, 1997). The number of people 90 years of age or older is projected to increase from 500,000 to 1 million (U.S. Census Bureau, 1997). The number of people 95 years of age or older is projected to increase from 100,000 to 200,000 (U.S. Census Bureau, 1997). The number of people 100 years of age or older is projected to increase from 10,000 to 20,000 (U.S. Census Bureau, 1997).

1. The first step in the process is to identify the problem. This involves gathering information about the situation and understanding the needs of the stakeholders involved.

For the purpose of this study, the following hypotheses were formulated:

...the fact that the ...

[illegible]

10-1

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 30 million, and the number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 85 years of age or older is projected to increase from 2 million to 4 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 90 years of age or older is projected to increase from 500,000 to 1 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 95 years of age or older is projected to increase from 100,000 to 200,000 (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 100 years of age or older is projected to increase from 10,000 to 20,000 (U.S. Census Bureau, 1996).

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 30 million, and the number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 85 years of age or older is projected to increase from 2 million to 4 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 90 years of age or older is projected to increase from 500,000 to 1 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 95 years of age or older is projected to increase from 100,000 to 200,000 (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 100 years of age or older is projected to increase from 10,000 to 20,000 (U.S. Census Bureau, 1996).

[illegible]

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 30 million, and the number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 85 years of age or older is projected to increase from 2 million to 4 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 90 years of age or older is projected to increase from 500,000 to 1 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 95 years of age or older is projected to increase from 100,000 to 200,000 (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 100 years of age or older is projected to increase from 10,000 to 20,000 (U.S. Census Bureau, 1996).

ОДИНЪ ИЗЪ ПОВЪЖЕННЫХЪ

РАССКАЗЪ ВЪ СТИХАХЪ

I

Въ окно чуть брезжить лучъ мерцающій разсвѣта,
А труженникъ пера въ безмолвнѣ кабинета
Сидитъ еще, склонясь надъ письменнымъ столомъ
Съ какими то мертвеннымъ, измученнымъ лицомъ,
Гдѣ слѣдъ оставила гнетущая забота,
Ночей бессонныхъ радъ и спѣшная работа.
Да, онъ торопится: давно, за шагомъ шагъ
Слѣдитъ за нимъ его невозможный врагъ,
И этотъ врагъ—болѣзнь. Вотъ скоро три недѣли,
Какъ онъ вернувшись съ печальныхъ похоронъ
Таварища, едва добрался до постели.
Продрогали до костей, измученъ, истощенъ—
Нескоро онъ заснулъ. Предъ нимъ мелькали дребѣ,
Которыя съ трудомъ тащила пара копытъ
По кочкамъ и камнямъ разъяренной дороги.
Онъ слышалъ и дѣтей оспротѣлыхъ плачь,
И жалобы жены внезапно овдовѣвшей,
Отъ горя и заботъ внезапно постарѣвшей.
Давно-ль была она красива, молода,
Давно-ли въ ихъ кружкѣ товарищески-шумившей
Являлася она со словомъ остроумнымъ,
Съ веселой шуткою? Случалася бѣда—
Къ ней обращались за помощью, совѣтомъ,
И сгнзало всѣхъ какими-то чуднымъ свѣтомъ,
И вѣло теплою отъ искреннихъ рѣчей,
Отъ взора мягкаго большихъ ея очей.
Онъ помнилъ хорошо ихъ скромныя собранья,
Весѣды шумныя о разныхъ злобахъ дня,
Порой—горячій споръ, остроты, восклицанья
И чашечкѣ у яркаго огня.
Хозяйка иногда садилась къ фортепьяно,
Спѣваясь чередой и Глинки, и Гумб,

И часто лучь зари заглядывать въ окно...
 Все это вспомнилъ онъ, когда среди тумана
 Стоялъ у свѣжаго могильнаго холма.
 Въ природѣ, на душѣ вездѣ царила тьма
 Глухая, скорбная... Такъ мрачно, такъ уныло
 Звучали рѣчи нхъ надъ дорогой могилой.
 Подъ монотонный шумъ осенняго дождя
 И вѣтра стоятъ въ вѣткахъ деревъ сень обнаженныхъ.
 Кругомъ видѣлось не мало огорченныхъ
 Сочувствующихъ лицъ. Немного погоди,
 Всѣ такъ расбрекнись съ пустѣвшимъ кладбищемъ.
 Едва къ семи часамъ, трясся по мостовой
 На дрожжахъ подъ дождемъ, продрогшій, чуть живой
 Достигъ онъ своего неизреченнаго жилища.
 Обрывки горькихъ думъ кружились въ головѣ,
 Его тревожила забота о вдовѣ,
 О дѣтяхъ-сиротахъ. Но что же будетъ съ ними?
 Звонящая нужда схватить ихъ своими
 Сѣтми прочими, заставить ихъ пройти
 Черезъ цѣлый рядъ обидъ, жестокихъ униженій,
 Тяжелаго труда, безчеловѣчныхъ лишеній—
 Всю радость бытія оставить на пути,
 Всю прелесть юности съ невинной чистотой...
 Ужасная судьба! Его покойный другъ
 Трудился цѣлый вѣкъ, не покладая рукъ,
 Заботясь о семьѣ, но вотъ сложились недугъ
 Вдвину—и она осталась съ сумою
 На улицѣ...—Ну, что жъ! такъ будетъ и со мною!
 Онъ громко провизгнулъ, входя на мрачный дворъ
 И поднимаясь по слабо-освѣщенной
 Высокой лѣстницѣ.—Какъ темно! до сихъ поръ?
 Послышался привѣтъ супруги раздраженной:—
 — Изъ типографіи давно размыслный ждетъ,
 Ты завтра общайся о выставкѣ отчетъ.
 — Вотъ, въ ящикѣ вонъ. Мнѣ ничто что-то худо...—
 На слѣдующій день поднялся онъ съ трудовъ;
 Казалось, голова, калитая синицомъ,
 И колотье въ груди усилилось... Простуда
 Соба давала знать. О, только-бы не слечь,
 Не одолѣть бы врагъ!..

II

Вздвигаетъ планъ свѣтъ,
 Пробило пять часовъ... Какъ хочется встать,
 Заняться... Но вѣдь, не кончена работа,

Еще страницы три... А завтра день расчета.
 Перо скользнет порой изъ ослабѣвшихъ рукъ,
 Глаза слипаются подъ маятника стукъ.
 Нельзя! И вновь перо мелькаетъ по бумагѣ—
 Все лихорадочнѣй, и кажется бѣднѣй,
 Что онъ уже спасенъ! Но радость недолга—
 Недугъ настигъ его. Онъ цѣпкими когтями
 Хватаетъ за сердце... какъ нѣлотомъ въ виски
 Стучить... и—внѣ-себя отъ страха и тоски,
 Охваченный его ужасными сѣтями—
 Напрасно бьется въ нихъ немученный бѣднякъ.
 Дыханье замерло, кругомъ—зловѣщій мракъ...
 Ужель конецъ всему? Ужель вѣтъ спасенья?
 И тотъ, кто столько лѣтъ и мыслилъ и страдалъ,
 Воролся, вѣровалъ, надѣялся и ждалъ,
 Лежитъ безъ голоса, безъ мысли, безъ движенія!...

А еслибъ онъ и всталъ—какое пробужденіе!
 Что въ жизни ждетъ его? Какъ драхмѣй нивалидъ,
 Вольной, безпомощный и никому неуживчѣй,
 Онъ въ битвѣ жизненной остался безоружный
 И брошенъ на пути... Вокругъ него сѣмьять
 Волнуется толпа, онъ слышитъ вѣнчѣ побѣднѣй—
 И межъ людей живыхъ какой-то тѣнѣ бѣдной
 Онъ кажется себѣ. Друзья ушли впередъ,
 И слабѣй вознѣ его безъ отклика запертъ...
 Подарокъ онъ жаветь въ томъ вѣнѣ просвѣщеннѣй,
 Гдѣ «каждый за себя» и «горе побѣжденнѣй!»

О. Чюмина.

15 декабря 1887.

ЭЛЕГИЯ

Прошел тревожный день. Спустилась тень гнана
На рощи темныя, на сонныя поля,
Но всей красой весны, как дѣва молодая,
Въ истокахъ сладостной покомится земля.
Умолила рѣчь ея—и не шепечуть птицы,
И не гудитъ въ саду интарныхъ пчелокъ рой;
Какъ надъ лазурью глазъ тѣнистыя рѣсницы,
Прибрежные кусты нависли надъ водой.
Стыдливые цвѣты стружатъ благоуханье,
Запутавшись въ травѣ, какъ въ локонахъ густыхъ.
Какъ сло-слышное, спокойное дыханье,—
Такъ теплый вѣтерокъ ласкающій притихъ;
Чуть шелеститъ листва, какъ складки одѣяны
Надъ выбью персей молодыхъ...

Порой то робкій вѣдохъ раздается на мгновенье,
То словно поцѣлуй, или рѣчи въ тишинѣ...
То бредъ красавицы: ей грезятся во снѣ
Пережитого для мелькнувшія видѣнья...

А ночь, какъ будто мать, склонилась надъ землей,
Повиза бережно туманными волнами
И смотритъ на нее съ загадочной тоской,
Съ любовью тихой нескотными очами.
О чемъ тоскуетъ ночь? Предвидѣть-ли она,
Что не лучи любви, но ясный блескъ лазури
Дастъ новый день землѣ, расцвѣтъ дымку сна,
А лишь потоки слезъ и глѣбный ропотъ бури?
Предвидѣть-ли она, что жизнь, какъ сонъ, пройдетъ,
Настанетъ страшный день: зима рукой суровой
Сорветъ уберъ весны и землю закуетъ
Въ свои тяжелыя, холодныя оковы,
Закупитъ—и надъ ней сугробы намететъ,
И вѣснѣ вой въ стѣнахъ послышится унылый...
И станетъ ночь тогда украдкой приходить
Къ землѣ замученной—и до утра грустить,
Какъ горестная мать надъ дѣтскою ногой...

Глядеть на землю ночь съ загадочной тоской,
Съ любовью тихой нескотными очами...
И травы, и цвѣты окроплены росой,
Какъ историческимъ слогамъ...

Василій Величко.

Апрѣль 1933.

ПРАХЪ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОЭМА ВЪ ПРОЗѢ

What a piece of work is man! how noble in reason! how infinite in faculties! in form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god! the beauty of the world! the paragon of animals! And yet, to me, what is this quintessence of dust?

Hamlet.

I

Дохнула на землю суровая осень, попадали желтые листья, шумящимъ ковромъ устлая дороги. И голые черные прутья безпомощно къ хмурому небу тянулись, какъ будто съ мольбою. Но весь горизонтъ лишь туманы застыли завѣсою мглистой, да плакало небо дождями... А вѣтеръ гудѣлъ, завывалъ и носился, сгибал верхушки деревьевъ, мохнатыя, сизыя тучи одну за другой погоняя. И, гнѣясь, высоко вздымались зловѣщія волны широкой рѣки...

Въ то время (сто лѣтъ тому было) тянулся торжественно-тихо corteжъ похоронный къ кладбищу. Въ штыхъ, парадныхъ кафтанѣхъ, гнѣчие шли впереди, а за ними плелось духовенство... Въ черныхъ вѣсновахъ шестерка коней тихо везла

колеснику; пышный гробъ возвышался на ней, а на гробѣ вѣнки, треугольная шляпа и шпага.

Вослѣдъ колесницѣ провожатыхъ толпа шла большая. Въ ботфортахъ и длинныхъ перчаткахъ военные шли, вѣдомствъ разныхъ чиновники, въ шляпахъ съ плюмажемъ, дамы въ шлейфахъ тяжелыхъ... Въ каретахъ съ гербами сидѣли почтеннаго возраста дамы, въ робронахъ и фижмахъ; у дверей же шли гайдуки въ парикахъ и высокихъ чулкахъ, господъ охраняя отъ нищихъ, калѣкъ и убогихъ, что съ жалобнымъ плачемъ бѣжали по грязи, моля подавныя.

Но вотъ показалось кладбище—послѣдній пріютъ. Огражденное крѣпкой стѣною изъ камня, пустынно то было кладбище. Съ десятковъ могилъ пріютилось близъ церкви, а дальше былъ лѣсъ да поляны. Деревья шумѣли послѣдней листвою и гнулись подъ вѣтромъ сердитымъ.

Колоколъ глухо ударилъ разъ и другой, и къ воротамъ подъѣхалъ кортежъ. Сняли гробъ съ колесницы, изъ каретъ провожатые вышли, и тѣсною толпою всѣ направились въ церковь.

Гробъ, окруженный свѣчами, открыли. Въ немъ лежалъ чело-вѣкъ среднихъ лѣтъ въ парикѣ и съ косичкой. Шитый кафтанъ облакалъ его тучное тѣло, золотой воротникъ подпиралъ подбородокъ обритый, жирныя бритыя щеки отвисли,—только носъ, горделивый и тонкій, возвышался изъ гроба, уваженіе всеяля къ фигурѣ.

Началось отпѣванье. Съ строгими лицами, гробъ окружая, стояли друзья и родные; въ траурѣ, плача, стояла вдова. Дамы изъ глазамъ подносили платочки, а въ платочкахъ скрывались флаконы съ духами (умеръ внезапно покойникъ, вспыхнувъ за никетомъ). За дамами были мужчины, а дальше ужъ слуги, подобно статуямъ, стояли у входа.

Кончился длинный обрядъ, мертвеца понесли на кладбище и, при пѣніи пѣвчихъ и плачѣ вдовы и родныхъ, опустили въ могилу.

Провожатые все поспѣшили къ воротамъ, гдѣ ждали кареты. Захлопали двери каретъ, загремѣли колеса, и быстрые кони,

коньгами звонко стуча, увезли провожатых... На пустынном кладбищѣ могильщики только остались да сторожа. Могильщики парня за водкой послали и выпили дружно «съ устатку», а сторожъ на печку забрался—согрѣть свои старыя кости.

II

Снова холодная осень настала съ туманомъ сырымъ и дождями. Желтые листья кружась сыплются тихо съ деревьевъ, и гонить ихъ вѣтеръ сердитый. И голые прутья, въ обидѣ, безпомощно къ небу зываютъ. На кладбищѣ по-прежнему пусто, прибавилось, правда, жильцовъ, да лежатъ они въ разныхъ мѣстечкахъ для глазъ незамѣтно. Только на мѣстѣ, въ которомъ зарылъ особу въ мундирѣ, памятникъ пышный стоитъ. Бѣлый мраморъ блеститъ на дождѣ, барельефъ въ немъ съ одной стороны: женщина съ горестнымъ видомъ въ хитонѣ надъ урной склонилась, а въ лѣвой рукѣ опрокинутый факелъ; съ другой стороны два меча скрещены, и римская каска подъ ними; а съ третьей выбита золотомъ надпись: «Въ Божѣ поконится прахъ секундъ-маіора и кавалера такого-то (имя рекъ); родился тогда-то и умеръ тогда-то, а житія было его сорокъ пять лѣтъ. Былъ въ битвахъ и раненъ, оставленъ съ мундиромъ...» И тутъ-же внизу хитроумный поэтъ начерталъ эпитафію складно:

О, лѣтний мой супругъ, покойся здѣсь, доколѣ
Скорбящая вдова бывать не станетъ богѣ,
И хладный прахъ ея не будетъ здѣсь сокрытъ,
А тамъ: Всевышній нашъ обоня съединитъ!..

Руки въ перчаткахъ скрестя на груди, лежитъ прахъ маіора спокойно, спокойно ждетъ участи общей, когда ни чины, ни почетъ, ни высокость рожденія, ничто не спасетъ отъ гніенія. Гробъ отсырѣлъ отъ воды, широко раздвинулись щели, и въ гробѣ вода показалась подъ самой спиною маіора. Чернѣетъ шитье на кафтанѣ, чернѣютъ лицо, подбородокъ, перчатки, чулки, и подъ кожей раздутой ужъ движется что-то...

Осуда II.

А къ вышнему мрамору часто вдова, прѣзжая въ каретѣ, приходила. И тихо, колѣни склонивъ на блестящія бѣлыя плиты, молилась, плакала о томъ, кого нѣтъ, кто ужъ не нуженъ, не майору, не доблестный воинъ въ чинахъ, а просто никто иль ничто, жалкая глыба земли.

И знаютъ о томъ только черви, что множатся, глѣзутъ, ползутъ изъ щелей гробовыхъ и отсюда, да знаютъ деревья, берущія сокъ отъ земли для питанія листьевъ, да вѣтеръ, что носится съ ревомъ, срывая уборы весны и бросаая ихъ въ землю, чтобъ вышелъ изъ нихъ перегной, удобренье для будущей жизни.

III

Минуло двадцать пять лѣтъ... Вдова перестала ходить на кладбище, — дряхлой старухой она умерла у родныхъ, — подлѣ мужа ее схоронили. Памятникъ думали ставить на первыхъ порахъ, а потомъ и забыли могилу старухи съ крестомъ деревяннымъ. Насыпь травой заросла, вокругъ ея выросла куна деревьевъ кудрявыхъ, и скрыли деревья могилу старухи отъ глазъ проходящихъ. Бѣлый памятникъ мужа тоже сталъ поддаваться стихіямъ... Падала осенью, листья чернѣли и гнили на немъ; сыпался снѣгъ по зимамъ, образуя наметы... Треснулъ въ подножій мраморный крестъ, треснули также ступени, фундаментъ изъ цоколя воздвигаться началъ; повыросла въ скважинахъ травка.

Подъ камнемъ тяжелымъ, въ гниющихъ щепкахъ съ позолотой разрушилось тѣло майора, и кости его обнажились. Благородныя кости лежали въ порядкѣ; мѣстами на нихъ сохранились остатки одежды богатой: воротникъ золотой, почернѣвшій, пуговики, пряжки, — кружевные жъ манжеты, воздушный батистъ ужъ истѣлъ...

Какъ тучи, гонимыя вѣтромъ, летѣли года за годами, и столько-же минуло лѣтъ. Поколѣнья смѣнялись. Примерли всѣ, кто за гробомъ майора шелъ на кладбище: важные бары, и дамы въ роборочахъ, и слуги ихъ. Умеръ и сторожъ давно; могиль-

ишки умерли также, и новые ихъ замѣнили,—такіе-же брамые варни, смышленге развѣ немножко...

Многое также кругомъ измѣнилось на тихомъ кладбищѣ, обширнѣе стала обитель забвенія и мира, и въ новыхъ могилкахъ жилицы размѣстились согласно чинамъ, положенію въ свѣтѣ...

Памятникъ бѣлый маіора совсѣмъ потемнѣлъ, въ землю сѣлъ и склонился... Женщина съ горестнымъ видомъ въ хитонѣ упала, въ осколки разбилась, а урну похитили воры. Высокой, волнистой травой заросла вся площадка, раздвинула камень трава, и, трещины давъ, на ступени огромный кусокъ отвалился...

А буря докончила то, что временемъ начато было. Осень стояла; вѣтеръ съ моря гналъ въ рѣку обратно всю воду; вздувалась рѣка, свирѣпѣла, какъ левъ поднимала косматую, бѣлую гриву и на берегъ съ ревомъ кидалась... Лилъ дождь безпрестанно, и съ шумомъ дождя сливались порывы ужасные вѣтра. Въ вихряхъ ненастья, во мракѣ, выстрѣлы пушекъ гремѣли... То знакъ былъ злобѣщій, что воды морскія на городъ стремятся...

И волны, одна чередуясь съ другою, какъ полчище страшное, ринулись вдругъ на кладбище! Согбенныя вѣтромъ стонали деревья, качался подобно былинкамъ, скрипѣли заборы и рухнули разомъ... Точно звѣрь разъяренный, почувшій волю, залаялъ волны кладбище. Все покрылось водою, однѣ лишь верхушки деревьевъ торчали, сучья свои къ небесамъ простирая. Въ волнахъ крутились кусты и деревья, что вихремъ повыврваны были, крутились и плавали балки, кресты и бѣсѣдки, плавали даже гробы съ мертвецами, а въ ямахъ могильныхъ, какъ въ омутахъ черныхъ, крутилась вода...

Ночь наступала. Грозна была бурная ночь! Прячася межъ тучекъ, разорванныхъ вѣтромъ, быстро лѣтѣвшихъ по небу,—мѣсяцъ украдкой холоднымъ сіяньемъ свѣтилъ надъ кладбищемъ размытымъ. И плавали въ страшномъ хаосѣ, стуча другъ объ друга, гробы и кресты и деревья.

А мраморный памятникъ все-жѣ удѣлѣлъ! Лишь фундаментъ подмыли волны морскія, да богъ-вѣсть откуда на мраморный крестъ съ расщепленнымъ динцемъ челнокъ нанесла.

IV

Еще четверть вѣка прошло. Памятникъ пуше дряхлѣеть. Бѣлаго мрамора часть лишь осталась, а золото надписи смыто дождями да снѣгомъ. Бѣлыя буквы, подобно слѣпцамъ, незрячими смотрягь очами, и темень ихъ смыслъ и запутанъ... Сорной травой кругомъ заросло все,—не видно ни плоть, ни ступеней. Осень опять наступила, листья опали съ деревьевъ, вѣтромъ холоднымъ сковало размытую глину дорожекъ. На лужахъ холодныхъ, тонкій ледокъ по утрамъ звенитъ какъ стекло подъ ногою. А тамъ и снѣжокъ появился, еще и еще, и пушистою, бѣлою шубой одѣлъ все кладбище. И замерло въ спячкѣ надолго все, что жило осеннею жизнью. Наглухо снѣгомъ забило тропинки, толстымъ налетомъ покрыло кресты и деревья. Какъ тихо, какъ мирно, какъ чистъ этотъ воздухъ морозный! Падаютъ мягко на землю съ деревьевъ снѣжные хлопья. Изрѣдка мерзлыя вѣтки хрустятъ въ вышинѣ. Стая крикливыхъ воронъ пролетитъ черной тучей и каркать тоскливо начнетъ, по деревьямъ разсѣвшись... И снова ни звука.

Караульный щеколдою звякнулъ въ сторожкѣ. Вотъ онъ въ шубѣ овчинной обходитъ дозоромъ кладбище, съ нимъ вѣрный, косматый Бульзъ. Махая пушистымъ хвостомъ, онъ бѣжитъ по дорожкѣ, вьзвѣтъ въ снѣгу и весело лаетъ, пугая воронъ.

А въ сторожкѣ ужъ вьется дымокъ изъ трубы, голубою сиральною онъ тянется къ блѣдному, зимнему небу и манитъ подъ крышу, къ теплу...

Только тѣмъ нѣтъ тепла, кто закончилъ ужъ съ жизнью расчеты. Стужей охвачены кости, лежащія въ мерзлой землѣ, и трупы недавно умершихъ, какъ снѣжными глыбы, недвижно лежатъ въ тѣсныхъ гробахъ.

V

Такъ проходили года, вереницей, одни за другими. Люди — одни умирали, другіе рождались на смѣну, и жизни земной колесо все вертелось, вертелось, однихъ поднимая наверхъ, другихъ низвергая. Развивались науки, искусство, шли войны, болѣзни и голодъ, и всюду всегда человѣкъ придушалъ человѣка, а его придушала земля...

И вновь наступила весна. Въ прозрачныхъ покровахъ, какъ юная дѣва, разсыпавъ повсюду цвѣты и новую жизнь возбуждая въ природѣ, примчалась она издали. Теплымъ вѣтромъ повѣяло съ юга, снѣгъ растаялъ, ручьи побѣжали по склонамъ овраговъ. Солнце прикѣтно свѣтило на землю, дѣлая ее и лаская въ объятіяхъ жгучихъ. И нѣжилась въ ласкахъ она... Подъ весеннимъ дождемъ выростала трава, распускались смолистыя почки, и на гибкихъ, зеленыхъ вѣтвяхъ зашумѣла листва молодая, словно куда-то маня, гдѣ призывъ и счастье...

Все оживало вокругъ. Ожило также кладбище. Сбросивъ зимній, суровый покровъ, въ новомъ видѣ явилось оно. Испе-стрились могилы цвѣтами, по кустамъ хоры птицъ раздались. По размокшимъ дорожкамъ задвигались люди. Бѣжали дѣти, играя, рѣзвясь, и лепетъ невинныхъ рѣчей и звонкій, веселый ихъ смѣхъ оглашали кладбище. Гдѣ-то камень тесали рабочіе, нѣрно стуча молотками.

Въ эту пору могильщики въ разныхъ мѣстахъ, шупъ опуская глубоко, узнавали, гдѣ сгнили гробы, и нельзя-ли на старыхъ мѣстахъ новыхъ жильцовъ поселить...

Подожли и къ могилѣ маіора. Видѣть — нѣтъ ужъ могилы, сравнялась съ землею и густо травой заросла, бѣлаго камня валяются только осколки, покрытые мохомъ зеленымъ.

Шупъ опустили; свободно возникла онъ въ землю, не встрѣтивъ препятствій. Значитъ ни гроба, ни славныхъ останковъ маіора тамъ не было вовсе. И, мѣсто откѣтивъ, могильщики дальше пошли...

VI

На утро cortege приближался къ кладбищу. Издали бѣлыя перья надъ черной толпой колыхались. Золотой бадахинъ весь на солнцѣ горѣлъ, и вѣйки изъ камелій, тюльпановъ и розъ ароматомъ своимъ заглушали аловоніе тѣла, лежавшаго въ гробѣ. Въ черномъ платьѣ вдова шла за гробомъ, всedomая подъ руки сыномъ, а сзади въ цилиндрахъ мужчины и въ креповыхъ платьяхъ шли дамы.

Колоколъ звучно ударилъ, колесница подъѣхала къ церкви, — друзья и знакомые гробъ парчевой на рукахъ понесли.

Послѣ обряда, тѣсной толпою, гробъ на рукахъ отнесли на кладбище. Могильщики тутъ ужъ стояли... Гробъ опустили въ могилу, сверху вѣйки побросали отъ обществъ различныхъ, и только-что люди взялись за лопаты, какъ нѣкто, весь въ черномъ и въ черныхъ перчаткахъ надъ ямою сталъ, взглядомъ обвелъ предстоявшихъ и громко воскликнулъ:

«Сегодня хоронимъ мы здѣсь человѣка, который полезную жизнь посвятилъ одному лишь искусству. Артистъ по рожденію, онъ сталъ первокласснымъ художникомъ нашимъ. Реальнымъ ролей исполнителемъ онъ въ образахъ жизнь воплощалъ, создавая безсмертные типы! Бывало немало подобныхъ ему, но всѣ ужъ въ могилахъ—титановъ сибѣили пигмен! Плачь, муза!»

Махнувши рукою къ могилѣ, ораторъ съ подмостковъ сошелъ, а на мѣсто его ужъ шпта взообразя и голосомъ звонкимъ, дрожа отъ волненія, стихъ сталъ читать.

За этимъ поднялся другой... Надгробныя рѣчи, какъ волны рѣки, катились одна за другою. Ихъ было такъ много, такъ долго онѣ продолжались, что даже могильщики, стоя безмолвно, устали. Устала и публика также, и много нашлось недовольныхъ рѣчами, особенно той, гдѣ ораторъ неловко коснулся «пигмеевъ».

Закончили рѣчи... Охватившись скорѣй за лопаты, могильщики быстро закапывать стали могилу, какъ будто боясь, чтобы

покойникъ, отъ вѣчнаго сна пробужденный, какой-нибудь рѣчи еще не слышалъ...

VII

Покойникъ рѣчей не слышалъ, хоть раньше все слышалъ и чувствовалъ все всѣ три дня. Съ момента, какъ сдѣлалось дурно ему, и сердце движенія свои прекратило, — всѣ чувства слегка притупились...

И слышалъ онъ вопли жены, суету, бѣготню всей прислуги, — какъ будто то было не тамъ, гдѣ лежалъ онъ, а въ комнатѣ рядомъ, за дверью, и будто невидимой силой какою, — совсѣмъ не касавшейся тѣла, — его отнесло на кровать.

Явились какіе-то люди, какихъ онъ забылъ или не помнилъ, и плакали вмѣстѣ съ женою надъ трупомъ его. Явился и докторъ, и мертвый слышалъ, какъ съ плачемъ жена умоляла: «спасите, спасите!»

— Напрасно! отвѣтилъ ей докторъ, — медицина безсильна: онъ умеръ!

«Какъ умеръ?» подумалъ вдругъ мертвый. Такъ вотъ оно то, чего всѣ боятся! А можетъ-быть то летаргія, — и докторъ ошибся? Но нѣтъ, это смерти! Ледяной рукою всю внутренность сжала она, прекратила дыханье, — въ мозгу же какъ будто миллионъ пауковъ, снуя по извилинамъ быстро, холодными лапками ткуть паутину... Да, это смерти! Онъ думалъ, что страхъ сожметъ ему сердце, но не было страха — и сердце, простой механизмъ безъ пружины, корабль безъ руля, — недвижно осталось. Онъ чувствовалъ только покой, глубокій и долгій покой, какого всю жизнь не испытывалъ раньше... Все замерло въ немъ, все работу свою прекратило, — служилъ ему слухъ лишь одинъ, да и тотъ неисправно...

Охапку соломы какіе-то люди внесли, и тѣло на этой соломѣ обмыли... Потомъ приодѣли его и на столъ положили, въ изголовье поставивши свѣчи... Кто-то читать сталъ надъ нимъ, и такъ медленно, хрипло, басисто... Колеблемы пламени, свѣчи

горѣли треща, и на стекла розетокъ падали воска кусочки со звономъ...

Вотъ опять стукотня... Гробъ принесли, духовенство явилось, началось панихидное пѣнье... Скорбной молитвы слова и рыданья жены да дѣтей чуть касаются слуха... Цѣпочки бренчать у кадильницъ... все глуше и глуше... и вновь тишина...

И опять тихіе звуки паденія воска кусочковъ и хриплое чтеніе. А тамъ: шумъ колесъ, бренчанье кадилъ, пѣвчихъ церковныхъ хоръ смутный и вновь ничего—ни рѣчей, ни того, какъ могильщики гробъ опускали.

Словно пушечный выстрѣлъ, обѣ крышку ударилась глыба земли и скатилась. А вотъ и другая, еще и еще, но наглухо гробъ завалился землею, и разомъ исчезли всѣ звуки...

Покой и забвенье... Но нѣтъ, несовсѣмъ... Тонкая, тонкая нотка звенить еще въ ухѣ, звенить продолжительно, смутно, словно нѣка за вѣками прошли, на землѣ все исчезло живое, и міръ бездыханный планетою темной и мерзлой блуждаетъ въ пространствахъ, а нотка все такъ-же звенить...

Вѣшняго-ль міра то отзвукъ, чудесно связующій мертвыхъ съ живыми,—память о жизни былой,—или просто сгущеніе крови, остывшей въ сосудахъ?

VIII

И нотка звенящая вдругъ порвалась, и холодъ могилы обьялъ погребенное тѣло... Загробный, таинственный міръ! Тамъ тѣны, подобно болотнымъ огнямъ, скользятъ, исчезая во мракъ; тамъ рѣки безъ русла, озера безъ дна, и свѣтятся звѣзды въ оврагахъ глубокихъ кровавымъ, мерцающимъ свѣтомъ...

Но странные звуки, какъ шепотъ далекій, слышались вдругъ надъ землею изъ-подъ гроба артиста:

— Кто, дерзкій, покой мой тревожить лжися? Кто ты, что посмѣлъ на то мѣсто улечься, гдѣ нѣкогда прахъ мой лежалъ?

И новый жалецъ тѣмъ-же шепотомъ страннымъ, похожимъ на шепотъ листьевъ, отвѣчаетъ:

— А ты кто?

— Я война черепъ, герой! Сто лѣтъ ужъ минуло, какъ прахъ мой въ мундирѣ, съ почетомъ былъ преданъ землѣ. Изъ бѣлаго мрамора памятникъ нынѣшній поставленъ былъ мнѣ здѣсь вдовому! А ты кто, отвѣтствуй!

И шопотомъ тихимъ артистъ отвѣчаетъ:

— Я былъ человѣкомъ, — теперь я покойникъ, мнѣ] трупъ, или ничто — какъ угодно.

— Какого же званія былъ ты?

— Да всѣхъ повсеможку! Я былъ королемъ и солдатомъ, хоть въ битвахъ на сценѣ сражался, — я былъ настукомъ и монахомъ, — ну, словомъ, былъ всѣмъ, — а нынѣ сталъ трупомъ!

— Ты шутишь нахально! Когда-бы меня прикрывала земная еще оболочка да шпага была бѣ при боку, — о, я бѣ показалъ тебѣ, дерзкій!

— Напрасно, сосѣдъ! не сердись! Шутить я съ тобой не намѣренъ, да шуткамъ, повѣрь, здѣсь не мѣсто! Прости, что явился въ могилу чужую, — случилось же это неволью. Ахъ, еслибы могъ приказать мой безмолвный языкъ и недвижныя ноги ходили!..

— Тебя положили?

— Какъ всѣхъ насъ, надѣюсь.

— Зарыли?

— Глубоко, конечно!

— Забыли?

— Почти-что!

— Скажи же скорѣе: какого ты званья, или чина, или рода?

— Я званьемъ — актеръ!

— Актеръ ты? Что слышу, о ужасъ! Актеры!.. Липецкѣ, скоморохы!.. Актера ко мнѣ положили! Того, кто ликъ божій всю жизнь извращалъ, потѣшал, кривлялся!..

И черепъ маіора, лежавшій подъ гробомъ артиста безъ чести нижней, въ уголъ далекій стуча откатился. По прихоти странной судьбы, въ одномъ углубленіи глаза, въ немъ прижа

стальная сбитилась. И страшенъ былъ отблескъ той пряжки въ истѣвшихъ костюхъ человека...

— Затѣмъ, негодуешь? Твой гнѣвъ безпричиненъ! спокойно отвѣтилъ артистъ. — Мы были людьми, а я знаю, что въ свѣтѣ всѣ люди актеры, всѣ роли играютъ, стараясь быть чѣмъ-то. Иной по разсчету, иной отъ тщеславья, и всѣ ходятъ въ маскахъ, и всѣ лицемерятъ.

— Но ты-то затѣмъ здѣсь? Вѣдь васъ зарывали всегда за оградой?

— Прошло ужъ то время, и званье актера теперь не по-зорио. А тѣхъ, кто при жизни былъ славенъ, хоронятъ съ почетомъ!..

— Съ почетомъ? Какъ насъ, какъ героевъ? Но гдѣ же тогда справедливость?! Я въ битвахъ израненъ, я кровь проливалъ отражая змгоговъ, на смерть, какъ на пиръ мы летѣли... Побѣдами родину мы вознесли и славой знамена покрыли!.. А ты кто?..

— Искусства служитель. Въ сравненн съ тобою я скромнѣе, то правда, но родину вѣрный слуга. Касаясь рукою общественныхъ язвъ, я показывалъ людямъ все зло, всѣ недуги ихъ ближнихъ. Я смѣлся, — но смѣхъ мой былъ страшенъ, — онъ позорилъ глупца и клеймилъ негодяя!.. И шутя и смѣясь, забавляя людей, исправлялъ я ихъ дикіе нравы, и шутя и смѣясь, научалъ ихъ добру, справедливости, разуму, чести! Но, навѣки затихшее сердце мое также ранами было покрыто, — эти раны больнѣй, тяжелѣе другихъ!.. Сколько зависти, горя, обидъ и вражды встрѣтилъ я въ своей жизни артиста. На подмостки съ улыбкою и выходилъ, а въ груди поднимались рыданья. Еже-часно во мнѣ каждый нервъ трепеталъ, преждевременно силы сгорали... Чтѣ восторги толпы, чтѣ мнѣ слава моя, почитателей ластивныя фразы! Я бъ все отдалъ тогда, чтобъ вернуться ко мнѣ моя молодость, сила здоровья, чтобъ вернулся мнѣ счастье простое мое, что когда-то мнѣ такъ улыбалось... Поадно, поадно!.. Я умеръ! Довольно! Ничто оболочкѣ ничтожной не нужно. Ни

вѣнковъ, ни похвалъ, ни восторговъ толпы—ничего, ничего мнѣ не нужно! На могилѣ моей ставить пусть мавзолей, пусть вѣнками его украшаютъ... Все возьметъ свое время,—безопасный, прожорливый вѣтеръ; въ глубь вѣковъ все умчится далеко. Непогоды сотрутъ мое имя съ плиты, а плиту эту вѣтеръ повалитъ. Это мѣсто высокой травой заростетъ, и на немъ похоронятъ другого... Можетъ-быть это будетъ безсовѣстный плутъ, поджигатель, растлитель, убійца? Что жъ изъ этого? Пусть! Онъ и я—всѣ лежащіе здѣсь, мы равны одной участью общей!..

Такъ закончилъ актеръ свою рѣчь и замолкъ. Замолчалъ также черепъ героя безъ челюсти нижней, только выпадной глаза, гдѣ прижка стальная лежала,—зловѣще сверкала.

А время летѣло обычнымъ порядкомъ... За весною шло лѣто, осень смѣнялась зимою... Тѣло артиста разрушалось и тѣло, въ черепѣ прижка стальная, проржавѣвъ, сверкать перестала...

IX

Но міръ оставался все тѣмъ-же. Планеты, въ воздушныхъ теченьяхъ обычный свой кругъ совершали, и въ хорѣ планетъ, окруженная звѣздъ караваномъ, вертѣлась земля...

И весенняя ночь, благодатная ночь разливала вокругъ ароматы. Легкій паръ поднимался съ уснувшей земли и, подобно воздушнымъ видѣньямъ, пролетая поля и овраги подъ лучистымъ сіяньемъ луны, все къ небу, все къ звѣздному небу стремился. Словно скончавшихся души то были, искавшія въ небѣ забвенія.. Затихшаго моря зеленныя волны, шепча непонятныя рѣчи, съ прибрежнымъ пескомъ лобызались... Въ глѣбной истомѣ дремали сады, озаренные мѣсяца кроткимъ сіяньемъ, прозрачныя капли росы роняя съ деревьевъ кудрявыхъ. Въ нѣгѣ раскрывъ лепестки, ароматы вокругъ распускала, дремали любовницы-розы подъ дневнымъ трепомъ любовниковъ ихъ—соловьевъ. Чудныя тайны въ природѣ свершались: зерно раскрывалось въ землѣ, амакъ выходилъ на поверхность,—коконъ раскрывался,

и то, что въ немъ было личиною мертвой, недвижной, явилось вдругъ бабочкой рѣзвой! И къ жизни, и къ счастью зыбала земля се вскинь, что на ней находилось. Молчалъ въ человѣкѣ сентиментическій умъ, а сердце, какъ птица на волю, стремилось къ познанію счастья, любви и покоя, къ познанію Того, Кто навсегда жилъ въ человѣкѣ, чертъ и былинникъ!..

И. Баранцевичъ.



ЭПИРОНЪ

Тебя, рожденного съ великою душой,
Восненавидѣли нигмомъ.
Ты истлѣлъ презрѣніемъ; но громче и свѣтлѣе
Они глушили надъ тобой.
Тогда ты разорвалъ, какъ левъ, свои тѣноты,
Вѣжалъ и проклиналъ душевный свѣтъ,
Не вытерпѣвъ безмысленнаго гнета
И черной завистью отраженныхъ клеветъ...

Шумить въ снастяхъ дыханье аквилона,
И гордый, и нѣмой, слѣдишь ты съ корабля,
Какъ исчезаетъ танъ, за краемъ небосклона,
Земля, родина земля.
И ты одинъ теперь, какъ чайка на просторѣ,
Одинъ надъ бездною роковой,
Привѣтствуя свободно душой
Необходимое, бунтующее море.

Но тщетно ты бѣжалъ: въ торжественной тѣни
Природы вѣчный сонъ холодный и прекрасный
Не утолить твоей намученной души,
Не убаюкаетъ твоей печали страстной.
Вездѣ печаль, вездѣ: въ молчаніи лѣсовъ,
Въ тѣни сожженныхъ скалъ, на изумрудной впадинѣ
И въ блѣдномъ ираморѣ поверженныхъ столбовъ
На голубомъ Архипелагѣ.
Забвенны тщетно ты искалъ
Те въ оргіяхъ за трапезою шумной,
То въ уличной толпѣ, когда гремѣлъ боемъ
Венеціанскій карнавалъ.
И даже танъ—увы!—въ таинственной гондлѣ,
Надъ глadio дремлющей серебряныхъ загудъ,
Напрасно ты нещадъ подъ рокотъ вѣющихъ струвъ
Забитыхъ на груди престольной Гамчеланъ...

.....

Не мог враговъ твоихъ, что не могли простить
 И мучили пыла и распинали,
 Никто, никто не зналъ, какъ жаждалъ ты любить,
 Пока уста твои безумно проклинали.
 И надшимъ ангеломъ ты жилъ въ толпѣ людей.
 Изъ тѣхъ, кто слышалъ крикъ и вопли, и угрозъ
 Души тоскующей твоей,
 Видалъ-ли кто-нибудь во мглѣ пылкихъ ночей
 Твои безмолвныя, непонятныя слѣзы?
 Ты жаждалъ и не зналъ, кому любовь отдать,
 На что потратить жизнь и силы
 Кого изъ лежучей груди своей прижать.
 Съ забыткомъ пылкости отвергнутый, унылый
 И неразгаданный, ты во мнѣ блуждалъ
 И вѣчно былъ гонимъ, и вѣчно проклиналъ,
 И призракомъ не даялъ ты до ногамъ...

Январь 1888

Д. Моремновскій.

ПОДЪ ОБВАЛОМЪ

РАЗСКАЗЪ

Я вовсе не охотникъ по профессіи, даже не охотникъ-любителъ. Къ тому-же я и съ ружьемъ-то какъ слѣдуетъ обращаться не умѣю, и, право, мистеръ Випкель, незабвенный другъ мистера Пикквика, стрѣлялъ много смѣлѣе и удачнѣе, чѣмъ вашъ покорный слуга. Тѣмъ не менѣе, 9-го мая 1883 года я нацѣпилъ на себя патронташъ, взявъ старую отцовскую двустволку тульскаго издѣлія, фунтовъ 10 дроби и фунта 2 пороху и отважно пустился на охоту. Сопутствовали мнѣ: 18-лѣтній паренъ Петрушка, подпасокъ скотара, наглядѣвшій лисью нору съ 6-ю молодыми лисицами, и длинноногій молодой прикащикъ Даниловъ.

Петрушка вооружился простой желѣзной лопаткой и кійкомъ (малороссійское названіе палки съ толстымъ нижнимъ концомъ), а Даниловъ, съ одностволкой за плечами въ своей коротенькой венгеркѣ и длинныхъ охотничьихъ сапогахъ, самъ походилъ на какое-то замысловатое древнее оружіе. Съ такими силами я ничего не боялся, но «человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ»...

Ярко сіяло въ небѣ майское солнце, весело чирикали воробы, прыгая по плетнямъ моей родной деревни; вѣжно журчалъ Дѣлупъ между зелеными берегами, и тошно свистала пчела

на одномъ изъ большихъ днѣпровскихъ острововъ, капризно выступавшемъ изъ-за деревенскихъ изъбъ и кѣтушекъ. Все было полно жизни, мира и покоя. Самыя скалы днѣпровскія, тамъ и сямъ сѣрѣя на невозмутимой зеркальной поверхности Днѣпра, казалось, жили и, затая дыханіе, прислушивались къ говору водъ. Небо было безоблачно и—синее, ясное, глубокое—маняло куда-то далеко-далеко... Въ воздухѣ пахло внешней зеленью, медомъ, цвѣтами и вѣяло зносомъ... Я замиралъ отъ блаженства... Но охота—охота! Эхъ, будь я одинъ, съ какими бы удовольствіемъ повалился я теперь на траву вонъ подъ тѣмъ высокимъ густолиственнымъ дубомъ и лежалъ бы тамъ и молча слушалъ бы и шумъ Днѣпра, и свистъ иволги, и болтовню докучныхъ воробьевъ! Но я не одинъ, къ несчастію, а мое вооруженіе меня обязываетъ... Нечего дѣлать, взявшись за гужъ, не говори, что недожъ... И вотъ мы всѣ трое, я, Петрушка и Даниловъ, сопи и пыхти, лѣземъ съ горы на гору, то спускаемся въ глубокой вешній оврагъ, то поднимаемся на крутую горную скалу, то пробираемся колючимъ терновникомъ по дну оврага—все устремляясь на злосчастныхъ лисенятъ, которыхъ наглядѣлъ Петрушка... Наконецъ, препятствія побѣждены, и мы, отирая крупный потъ съ лица, очутились у цѣли... Только тутъ, осмотрѣвшись и нѣсколько приди въ себя отъ усталости, мы замѣтили, что вожделѣнные лисенята были вовсе не такъ близко отъ деревни, какъ сообщалъ Петрушка. По его словамъ, выходило такъ, что, какъ выйти изъ дому, да пройти деревню, да перейти дуббовую балку, что за деревней, да спуститься въ оврагъ песчаный, что за дубовой, то такъ тебѣ тутъ сейчасъ и будутъ лисенята, счетомъ 6, съ остренькими ушками и мордочками, да такіа *занимательныя*, что когда пустишь въ нихъ камешкомъ, то они лаютъ, точно собачонки... Между тѣмъ оказалось, что оврагъ песчаный отстоитъ по крайней мѣрѣ версты на три отъ деревни, да почти столько-же верстъ таяется отъ Днѣпра въ степь, причемъ дорога идетъ глубокимъ, рыхлымъ нескотъ, раскалившимся, какъ жегѣвая плита, отъ огненныхъ лучей майскаго солнца. Благодаря всему этому, я, усталый, изнеможенный, еще не дойдя до самой

чали, бросился на несокъ на краю оврага и весь утонулъ въ страстномъ желаніи «забыться и заснуть»... какъ вдругъ раздался торжествующій шопотъ Петрушки: «лисенята, лисенята!» — затѣмъ послышались прыжки длиннаго Данилова. Я вскочилъ и со всѣхъ ногъ пустился за ними, поднимъ на всякій случай курки своей двустволки...

На этотъ разъ Петрушка не солгалъ. Лисенята были дѣйствительно близко. Едва я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по краю оврага, какъ на противоположной сторонѣ его показалась небольшая черная нора, а въ ней ясно видѣлось нѣсколько острыхъ желтенькихъ звѣрьковъ, которые съ любопытствомъ высовывали впередъ свои черныя мордочки и по временамъ то взвизгивали, то лаяли, совершенно какъ щенки... Я поднялъ ружье и сталъ цѣлиться... Но любопытствовавшіе мордочки смотрѣли на меня такъ милымъ наивно, что мнѣ стало ихъ жалъ, и я не выстрѣлилъ... Мнѣ захотѣлось взять этихъ звѣрьковъ живьемъ.

Я велѣлъ Петрушкѣ и Данилову насобрать въ нору хвосту и затѣмъ поджечь его; самъ же утѣлся на краю оврага противъ норы и закурилъ папиросу. Пока я курилъ, звѣрьки нѣсколько разъ показывались въ отверстіи норы и затѣмъ трусливо прятались во глубинѣ ея. Любопытство ихъ, очевидно, было возбуждено до послѣдней степени.

Между тѣмъ Петръ и Даниловъ сдѣлали все, что я имъ велѣлъ, но, къ удивленію моему, дымъ поднялся къ небу, обходя нору, такъ что выгнать изъ норы лисенятъ дымомъ, какъ я надѣялся, оказалось невозможнымъ. Стало очевиднымъ, что у этой лисей норы, противъ обыкновенія, былъ лишь одинъ выходъ. Тогда, желая какъ-нибудь исправить свою оплошность, я велѣлъ раскапывать нору. Для этого-то собственно предусмотрительный Петрушка и захватилъ съ собою желѣзную лопатку. Быстро пошла работа. Песчаный грунтъ земли въ оврагѣ легко поддавался усиліямъ Петрушки. Когда же Петрушка усталъ, я сѣкну ему поспѣшилъ Даниловъ. Но... новая непредвидѣнность! Сводъ вырытой ямы вдругъ заколебался. Такъ по крайней мѣрѣ показалось Данилову. Онъ струсилъ и пересталъ копать. Тогда

снова полѣзъ въ яму храбрый Петрушка, но сводъ уже глубоко вырытой ямы какъ будто вновь заколебался... Струсилъ и храбрый Петрушка и, отирая съ лица потъ, рѣшительно объявилъ, что «чортъ съ нимъ и съ лисенятами, чего добраго еще задавить!» Но разстаться такъ легко съ лисенятами, которыхъ я имѣлъ случай убить и не убилъ, мнѣ не хотѣлось. Къ тому же мнѣ какъ-то не вѣрилось, что сводъ ямы точно колебался... Такой толстый, массивный сводъ и вдругъ... возможно ли? Я снялъ съ себя всѣ свои бранные доспѣхи, взялъ брошенную Петрушкой лопату и самъ полѣзъ въ яму. Яма была уже настолько глубока и просторна, что я спокойно могъ стать во весь свой ростъ, все еще не доставая головою свода. Тогда, прислонясь спиной къ задней стѣнкѣ ея, я расположился продолжать раскопку, поджавъ подъ себя ноги, какъ турки, когда они курятъ свои длинныя трубки, и вдругъ съ краевъ свода посыпалось нѣсколько комковъ песку...

— Вотъ-те и на! вскричалъ я, какъ школьникъ, и невозмутимо сталъ ударять лопатой въ ту стѣну ямы, гдѣ была нора. Но отвалился снова одинъ, большой уже, комокъ песку, и затѣмъ прежде, чѣмъ я успѣлъ крикнуть, весь верхъ ямы обрушился и всюю своею тяжестью придавилъ меня. Напрасно силлся я пошевелить руками или ногами, напрасно старался приподнять холодную глыбу разсыпчатого песку своей спиной и плечами—всѣ члены мои оказались какъ-бы залитыми крѣпкимъ свинцомъ, и холодный потъ выступилъ у меня на лбу. Невольный крикъ ужаса вырвался тогда изъ моей задыхавшейся груди. Но крикъ этотъ, казалось, никто не слышалъ. Глухая тишина окружала меня. Здѣсь только я ясно понималъ и живо, всѣмъ существомъ своимъ почувствовалъ выраженіе «могильная тишина». Это была ужасная мертвящая тишина, въ которой напрасно старались бы вы уловить хоть единый звукъ жизни... Громко звалъ я моихъ спутниковъ и молилъ и заклиналъ ихъ; но собственный мой голосъ звучалъ мнѣ какъ-то дико и глухо, точно шелъ онъ откуда-то извнѣ, а отнюдь не изъ собственной моей груди... И вдругъ мнѣ показалось, что, въ ужасѣ, Петрушка и Даниловъ бѣжали отъ меня и оставили меня одного, безсильнаго и безпомощнаго. Это

сознание своего безсилія и своей безпомощности въ борьбѣ съ землей было особенно жгуче и давило меня едва-ли не сильнѣе самой земли. А глыба обвала между тѣмъ становилась все тяжелѣе и тяжелѣе, а песокъ набивался мнѣ въ носъ, въ ротъ, въ глаза, въ уши, и вичѣмъ, никакъ, ни единымъ движеніемъ не могъ я отстранить отъ себя этотъ песокъ, который жѣмалъ мнѣ видѣть, слышать, дышать... Воздуху! воздуху!.. Но его уже не было. Я чувствовалъ, что начинаю задыхаться. Холодный потъ еще обильнѣе оросилъ мой лобъ, въ глазахъ зарябило, потомъ появились какіе-то красные и желтые круги (это кровь стала приливать въ голову), и вдругъ ознобъ смѣнился жаромъ—и чувство нѣги, покоя, тепла охватило меня. Я пересталъ кричать и, точно въ сладкомъ полуснѣ, унесся въ свое прошлое, и сквозь картины моего далекаго прошлаго вдругъ улыбулось мнѣ прошлое близкое, вчера, сегодня, и жаль мнѣ стало чего-то, мною уже начатаго, но еще не оконченнаго; затѣмъ еще пошли картины, но уже одна безсвязнѣе другой, какая-то темная ночь, потомъ пожаръ, потомъ рѣка... Потомъ я вспомнилъ вдругъ о ружьѣ и патронташѣ... не затерялись бы еще! Потомъ точно какой-то густой туманъ спустился надо мною, и я потерялъ сознаніе...

Пришедши въ себя, я прежде всего почувствовалъ, что чѣмъ-то грубыя и дюжія руки сжимаютъ мою руку и тащатъ меня куда-то по землѣ, точно трупъ. Я невольно вскрикнулъ:

— Чтѣ вы? куда вы меня тащите?..

Но крикъ мой былъ, вѣроятно, очень слабъ. Тащившіе не слышали его и продолжали волочить меня далѣе. Тогда я, ударяясь головою о кочковатую землю, крикнулъ изо всей мочи:

— Стой, мнѣ больно!

И человекъ, тащившій меня по землѣ, вмгъ остановился. Блѣдность покрывала лицо его. Онъ, казалось, не вѣрилъ ушамъ своимъ. Очевидно, онъ считалъ меня уже мертвымъ, и теперь не безъ ужаса смотрѣлъ на воскресшаго мертвеца. Я въ свою очередь недоумѣвалъ. Гдѣ Даниловъ, гдѣ Петрушка и кто этотъ? Но, какъ оказалось впоследствии, и Даниловъ, и Петрушка сдѣ-

зани для моего спасенія все, что могли и должны были сдѣлать: Даниловъ, не надѣясь собственными силами спасти меня, сваявъ свои сапоги и боеикомъ (для легкости, какъ объяснилъ онъ впоследствии) побѣжалъ заявить о несчастіи со мною въ деревню крестьянамъ, чтобы тѣ поспѣшили ко мнѣ на выручку. А Петрушка, за неимѣніемъ лопатки, которая осталась въ моихъ рукахъ въ ямѣ, принялся откапывать меня первобытнымъ способомъ—руками. И пока пришли изъ деревни крестьяне, которые долго еще разсуждали, откапывать ли меня, или заявить о случившемся уряднику,—Петрушка докопался до моей головы, а затѣмъ и до плечъ. Такъ что подоспѣвшіе на выручку крестьяне уже легко докончили его работу, не затрудняясь выборомъ конца, съ котораго слѣдовало начать раскопку. Даниловъ же, давъ знать о случаѣ со мной въ деревнѣ, побѣжалъ въ мою усадьбу за лошадьми и экипажемъ: онъ былъ убѣжденъ, что не застанетъ уже меня въ живыхъ... Къ счастью, я отдѣлялся довольно дешево. Только дней пять послѣ этого у меня и болѣло и ныло все тѣло, особенно же ноги въ колѣнкахъ (въ ямѣ я сидѣлъ на корточкахъ, уткнувшись головою межъ колѣнъ), но муравьиный спиртъ и молодость взяли свое, и вскорѣ я былъ уже «какъ ни въ чемъ не бывало». Тѣмъ неменѣе воспоминаніе о днѣ 9-го мая 1883 г. и до сихъ поръ еще вызываетъ холодный потъ на лицѣ моемъ. Я пережилъ въ этотъ день весь ужасъ заживо-похороненнаго, и не забыть мнѣ его во вѣки...

— Что же случилось? спросите вы,—живы ли они, или погибли подъ обваломъ?

Богъ ихъ вѣдаетъ! Послѣ моего приключенія, я не могъ даже говорить о нихъ равнодушно.

А. Алѣевъ.

ЛИРА ОРФЕЯ

Изъ Л. Аннерманъ

Когда, вакханками сраженный, нахъ Орфей,
Его могучая, чарующая лира
По Гебру поплыла безпомощно и сирот:
Казалось, гордая добычею своею,
Рѣка несла ее ревнивыми волнами,—
А легкий вѣтерокъ изъ ней бережно слеталъ
И, струны шевеля влюбленными крылами,
Волшебной музыкой окрестность оглашалъ.
На всѣхъ ей пути угрюмую природу
Внезапно одѣвалъ сверкающій уборъ
Цвѣтовъ и зелени—и скорбный край съ тѣхъ поръ
Одну весну лишь знаетъ, забывъ про непогоду.

Вышла времена! Ты жъ, лира нашихъ дней,
И вѣтру, и волнѣ, и скалакъ безъ отгнѣта
Принимай горячій шлемъ—и даже у людей
Но высованъ изъ сердцахъ жалящаго раскнѣта!

В. С. Лихачевъ.

Обрядъ печальный похоронъ
Свершался въ церкви многолюдной.
Въ гробу лежалъ онъ, жизни трудной
Порвавши нить. Блѣдна, какъ онъ,
Надъ жертвеннонъ полуживая
Вздымала въ траурѣ вдова:
Безъ слезъ, безъ словъ, безъ думъ, одна
Свои страданья сознавая,
Она видала предъ собой
Лишь эти сжатуты вѣки,
Уста, закрытыя навѣки,
Занесенныя судьбой.

И я замедлялъ безцѣнно
Тому, кто въ гробѣ почивалъ.
И бѣ лучше такъ уснуть жалко,
Оплаканный любовью вѣрной,
Чѣмъ жать, вѣки вѣки ады,
Чужое счастье проклиная,
Всѣмъ въ былое глянуть назадъ
И лишь былое воспоминая...

Н. Минский.

ВЪ НОЧЛЕЖНОМЪ ДОМѢ

СЦЕНКА

Ночлежный домъ. Большая комната освѣщена двумя свѣсившимися съ потолка, тускло-горящими керосиновыми лампами. Хоть и топится для очищенія воздуха большая чугушка, но воздухъ спертый и удушливый. Пахнетъ прѣлюю, тулупами, сапогами. Девять часовъ вечера. Съ деревянныхъ наръ въ два яруса торчатъ грязныя голыя ноги ночлежниковъ. Тяжелымъ сномъ спятъ бездомныя бѣдняки, намучившіеся кто тяжелой поденной работой, кто бесполезнымъ хожденіемъ по городу для отысканія работы. То тамъ, то сямъ слышны храпъ, присвистъ носомъ, бредъ... Есть и неспящіе. Вотъ двое спозли съ наръ, сняли съ себя намокшія подъ дождемъ рубахи и сушатъ ихъ около топящейся чугушки. Одинъ оперся локтемъ на нары и куритъ махорочную папиросу, свернутую изъ газетной бумаги; другой наклонилъ голову и вычесываетъ что-то гребнемъ изъ волосъ, стараясь, чтобы вычесанное не упало на него самого. Въ двухъ гнѣздахъ наръ, прилегающихъ къ стѣнкѣ, также не спятъ двое. Они ворочаются съ боку на бокъ и время отъ времени перекидываются словами. Одинъ изъ нихъ—рыжебородый, съ испытаннымъ лицомъ, укрывшійся рваной сарматкой; другой—черный усачъ, начинающій запускать бороду, которая густой, полусѣдой щетиной успѣла уже значительно залушить его подбородокъ. Рыжий те

и дѣло глухо капляеть. Вотъ онъ повернулся, легъ на брюхо и сказалъ усачу:

— Знобитъ... второй день знобитъ. То въ ознобъ, то въ жаръ... Да и какъ не знобитъ! на улицѣ такая погода, что умасти, а у меня сапоги только-что слава, что сапоги, а армячишко—что рѣшето. Ужъ хотѣ-бы разболѣться въ конецъ да въ больницу слечь. Все было бы спокойнѣе.

— Безъ работы? спросилъ его хриплымъ голосомъ усачъ.

— Четвертый день безъ работы маюсь.

— И я безъ работы. Располагалъ сегодня отъ гробовщика факельщикомъ передъ покойничкини дорогами пройтись, но не выгорѣло. Послѣднія три копейки сегодня за ночлегъ отдалъ.

— У меня хуже. Кабы не случай—ночуй гдѣ хочешь. Всего одна копейка была, но Богъ помогъ. Вдругъ нахожу на спускѣ на Фонтанкѣ сапожный опорокъ. Ну, маклаку за двѣ копейки его и продалъ.

— Ты-ли сегодня-то?

— Даво утромъ землякъ покормилъ малость, отвѣчалъ рыжій.— Въ дворянкахъ онъ служилъ, подручнымъ, а сегодня подъ вечеръ въ деревню уѣхалъ. Кабы не былъ онъ уѣхавши, то я бы ужъ гдѣ нибудь у него на ночлегъ приткнулся. Уѣхалъ—вотъ бѣда. Фу, какъ лихорадка трести начала! прибавилъ онъ и, постукивая зубами, потянулъ себѣ на плечи армячишко, оголивъ ноги.

Усачъ сжался надъ нимъ.

— На вотъ жилетку... прикрой ноги-то, сказалъ онъ, вынимая изъ-подъ изголовья свою жилетку.

— Чтѣ тутъ жилетка! Господь съ ней, съ жилеткой! Бери... спрячь... А то еще украдутъ ночью, когда усну. Ужъ ежели лихорадка трисеть, тутъ жилеткой не согрѣешься. У меня ужасъ, чтѣ такое! зубъ на зубъ не попаду.

— Ступай завтра въ больницу. Ты совсѣмъ боленъ.

— Нѣ... нельзя въ больницу, не возьмутъ. Тамъ только тогда берутъ, когда человѣкъ совсѣмъ свалится. А у меня докторъ и болѣзни не признаютъ. Былъ уже я вчера. Намъ, говорить, ежели такихъ брать, то куда-бы мы такихъ-то дѣвать

будетъ, которые на ногахъ не стоятъ! Вотъ покурить, баринъ, у тебя чего кѣтъ-ли? Затянешься табачкомъ, такъ какъ будто иной разъ и лучше. Словно отдастъ и въ сонъ клонить начнетъ.

— На, покурн. Только всю папироску не кури, а оставь мнѣ половину. Всего только двѣ папироски и остались, а денегъ ни шиша.

— Спасибо. Вотъ за это, баринъ, спасибо! вотъ за это дай Богъ тебѣ здоровья.

Рыжій взялъ въ ротъ папироску и сталъ чиркать сигичкой о вары.

— А ты почему знаешь, что я баринъ? спросилъ его усачъ.

— Да какъ-же... обликъ барскій, и ужъ насъ не провели. Мы видимъ.

Усачъ глубоко вздохнулъ и отвѣчалъ:

— Да, братъ, когда-то на своихъ рыскахъ ѣздилъ, французскую мамзель при себѣ имѣлъ.

— Какъ же ты это, баринъ, изъ такой жизни?..

— Очень просто. Видалъ, какъ съ ледяной горы катится? Вотъ и я также скатился. У меня и по-сейчасъ двоюродные братья здѣсь въ Петербургѣ домъ каменный имѣютъ.

— Ну?! протянулъ рыжій. — Такъ что жъ они тебя-то?..

— Каждому до себя, другъ милый. Такъ и я моихъ двоюроднымъ братьямъ. Да и просить я у нихъ не хочу.

— Офицеры они?

— Нѣтъ, чиновники. А вотъ я когда-то офицеромъ былъ. Давно уже это, а былъ.

— И надъ солдатами командовалъ?

— И солдатами командовалъ. Ну, да что объ этомъ!.. А ты бы вотъ завтра, ежели въ больницу не ляжешь, такъ сходилъ бы въ домъ моихъ братьевъ, да вызвалъ бы тамъ ихъ нянюшку-старушку и показалъ бы ей печатку махонькую, которую я тебѣ дамъ. Какъ-бы ты ей эту самую печатку показалъ и сказалъ, что, молъ, Николай Алексѣевичъ кланяется вамъ, нянюшка, и просить на хлѣбъ, то можетъ-быть она тебѣ два двугривенника или полтинникъ и дала бы.

— Что жь, я съ удовольствіемъ... Отчего же для хорошаго человѣка не сходить.

— Ну, такъ вотъ и сходи. А печатку я тебѣ дамъ въ доказательство, что ты отъ меня пришелъ. Нянюшка знаетъ эту печатку. Понимаешь ты, самому мнѣ идти и вызывать нянюшку неловко, стыдно. Тамъ люди, прислуга у братьевъ, и всѣ меня знаютъ. А какъ я имъ покажусь въ эдакой мантильи!

Усачъ взялъ въ руку полу потерявшаго всякій цвѣтъ лѣтняго пальто-крылатки, которымъ онъ былъ прикрытъ, и потрясъ ее.

— Принесешь двугривенный — гривенникъ тебѣ, принесъ два—тоже пополамъ съ тобой подѣлился. А что ты меня не надуешь и не утаишь полученное; не сбѣжишь—я тебѣ вѣрю, продолжалъ онъ.

— Господи Іисусе! Вмѣстѣ горе мыкаемъ, да еще надувать. Да вѣдь на мнѣ, я чай, крестъ есть, сказалъ рыжій и перекрестился.

— Ну, то-то... Опять же и печатку у меня не потеряй, которую я тебѣ дамъ, потому-что печатка эта у меня завѣтная, наша дворянская, гербовая. Все спустилъ, а печатку берегу.

— Что ты, что ты! Пуще глаза беречь буду. Я ее въ мѣшечекъ, да на шею... Вотъ у меня въ мѣшечкѣ на шеѣ и паспортъ схороненъ, такъ туда и спрячу. Ну, а отчего же ты, баринъ, братьямъ-то поклониться не хочешь?

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ... О братьяхъ и не говори! Братья безъ сердца. А вотъ ты нянюшку... Нянюшка—добрая душа. Она меня еще мальчикомъ знала и любила. Да, мальчикомъ... Кадетомъ помнись. Ты думаешь, я старъ? Я вѣдь не старъ, хоть и сѣдъ. А сѣдъ я оттого, что укатали сляку крутые горки. Ты думаешь, мнѣ сколько лѣтъ?

— Да лѣтъ подъ пятьдесятъ будетъ?

— И сорока нѣтъ. Да вотъ еще что... Какъ придеши къ братьямъ въ домъ и будешь вызывать нянюшку черезъ лакеевъ, а лакеи если будутъ что-нибудь спрашивать, то не говори имъ ничего обо мнѣ, какъ будто ты со мной и не встрѣчался.

— Ни словомъ не обмолвлюсь, ежели ты не велишь, отвѣ-
чалъ рыжій.

— Ну, довольно. Давай спать. Сонъ ужъ меня начинаетъ
клонить. Назябся я за день-то, а тутъ все-таки пригрѣло. Завтра
проснемся, такъ я тебѣ и нечатку дамъ, и адресъ братьевъ
скажу. Покойной ночи. Спи, сказалъ усачъ.

— Наврядъ усну, пока лихорадкѣ тресеть, крихтѣлъ рыжій.—
Вотъ еслибы завтра раздобыться хоть гривенничкомъ, купить
хрѣнку корешокъ, да поглотать его, а потомъ горьчечнаго
чайку понить, такъ можетъ-быть съ этого и полегчало бы. Хрѣнъ
чудесно помогаетъ.

Оба умоляли. Усачъ началъ засыпать.

Н. Лейкинъ.



ПОВЪЖДЕННАЯ ПРИРОДА

Сонетъ

Пришла зима неслышною стоню,
И взгляды на ней привычались непогоды:
Дрожить земля подъ стужей снѣговой,
Въ оковахъ льда застыли робко воды...

Сталъ бѣдный міръ огромною тюрьмою,
Лишешъ благой, животельной свободы,—
И людямъ грустно вадѣть предъ собою
Гнетущій сонъ подавленной природы...

А все-жъ морозъ могучій и суровый
Убить не въ силахъ сѣмя возрожденія:
Серветъ апрѣль холодные покровы,

Летѣтъ вѣчно пылкія стремленія,—
Въ вѣнцѣ лучей на подвиги готовый.
Она расколетъ цѣлой мертвящихъ звенья!

С. Бородинъ.



МОГИЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ

ОЧЕРКЪ

Владѣлецъ двухъ смежныхъ селъ, Почвары и Андрейково, а также цѣлаго «ключа» имѣній при мѣстечкѣ Старгородкѣ, графъ Богущій-Станецкій, и его гость полковникъ Цезарь Крукъ—мирно докуривали трубки изъ длинныхъ чубуковъ въ небольшой высокой комнатѣ, убранной тяжелыми гардинами и удобной, старинной мебелью,—собираясь разойтись отдохнуть послѣ обѣда. Расположившись другъ противъ друга за небольшимъ столомъ, склонные къ дремотѣ и молчанію, они только взглядами поддерживали между собою общеніе.

Графъ былъ сѣдъ и старъ. Его голова, съ зачесанными жидкими висками, слабо держалась на плечахъ. По его старческому лицу бродили какія-то пріятныя, беззаботныя мысли. Своей маленькой фигуркой, худой и дряблой, онъ представлялъ рѣзкую противоположность полковнику, затянутому въ глухой однооборотный сюртукъ, съ большой стриженной головой и строгимъ профилемъ, застывшимъ въ классическомъ величіи.

Старики засидѣлись. Лучи солнца уже не проникали сюда, такъ какъ оно опустилось за темную зелень сада. Гдѣ-то, въ концѣ цѣлаго ряда комнатъ, пробили старинныя часы, медленнымъ, заскакающимъ звономъ. Вслѣдъ затѣмъ высокій слуга, одѣ-

тый какъ служитель костела, съ булавой въ рукахъ, появился вдали.

Проходя мимо графа и его гостя, онъ глухо произнесъ:

— Часомъ, часомъ ближе къ смерти.

Полковникъ зналъ этотъ обычай дома и остался равнодушнымъ.

Графъ подумалъ: «мой часъ еще не наступилъ».

Странный глашатай прошелъ. Въ залѣ, за колоннами, онъ увидалъ графиню, которая въ тяжеломъ, черномъ платьѣ сидѣла возлѣ открытаго окна, за обычной работой.

— Часомъ, часомъ ближе къ смерти.— Впечатлительное сердце женщины чутко отзывалось...

Мѣсто, гдѣ сидѣла графиня Гонората, было ея самымъ любимымъ. Высокія деревья сада разступались и открывали роскошную даль полей и дорогу, по которой, въ облакѣ пыли, тянулись возы, а на самомъ горизонтѣ видѣлось мѣстечко Старгородокъ, съ позолоченной главой костельной вышки. Все располагало къ мечтательности, а теперь, въ вечерній часъ, къ молитвѣ. Съ глубокимъ вдохомъ графиня вынула благоговѣйными руками изъ своей рабочей корзинки крупныя четки. Ея черные глаза засвѣтились огнемъ оживленія, сухое, строгое лицо, съ тонкимъ, римскимъ носомъ и темнымъ отливомъ кожи, сдѣлалось еще сосредоточеннѣе и строже. Она громко произносила каждое первое слово отдѣльнаго прошенія молитвы, откладывая прочитанное на четкахъ. Залу все больше и больше наполняли сумрачныя тѣни. Углы за колоннами терялись въ полумракѣ, но въ убѣжищѣ графини было свѣтло. Въ открытое окно лился легкій ароматъ свѣжести и чистоты воздуха. Издали, вдругъ, послышался тихій звонъ благовѣста... Господь услышалъ грѣшныя молитвы... Графиня опустилась на колѣни. Теперь на устахъ ея уже не было словъ—они слишкомъ безсильны выразить то, чѣмъ наполнено сердце. Восторженные глаза смотрѣли на небо, откуда, казалось, прямо въ душу нисходила благодать. Застывшая въ благоговѣйной позѣ, статная фигура молящейся напоминала благочестивую королеву прежнихъ вѣковъ, молящуюся за свой народъ.

На верхней галлерей залы, изъ комнатъ второго этажа, появилась молодая дѣвушка, дочь Богущкихъ, графиня Ванда, вся въ бѣломъ, длинномъ, свободномъ платьѣ. Медленно спустившись по мягкому коври ступеней, она прошла залу, не замѣчая матери.

— Ты куда, дѣтя? спросила графиня. Дочь не отвѣчала, направляясь къ выходу.

— Слышишь благовѣсть, ты молилась?

Голосъ графини звучалъ тѣмъ интонаціямъ религіознаго возбужденія, которыя дочь хорошо знала. Въ такія минуты мать была страшна ей и казалась недосигаемой, великой... Она поспѣшила уйти.

Графиня Ванда уже вышла изъ возраста наивной, доверчивой юности; теперь ей двадцать шесть лѣтъ, и мать давно потеряла надъ дочерью свое вліяніе. Впрочемъ, это неособенно безпокоило старую графиню. То воспитаніе, которое она дала и которое внушили ей разумъ, сердце и долгъ христіанки, націю благодарную почву... Ванда родилась въ страшные годы несчастій. Мать, въ порывѣ патріотическаго возбужденія, посвятила ее Богу. Съ годами росло ея благочестіе и къ мысли о великой богоугодной жертвѣ присоединилось убѣжденіе, что дочери графа Богущкаго нѣтъ теперь подходящей партіи. Молодая дѣвушка знала, къ чему обрекли ее, и знала, что великій грѣхъ противиться волѣ родителей, а ея жертва найдетъ великую награду... Люди саямиъ Богомъ раздѣлены на благородныхъ и низкихъ. Дочь достойныхъ родителей существо особенное, и ея предназначена нная судьба. Но иногда ее посѣщали сомнѣнія. Она съ ужасомъ видѣла, какъ, съ каждымъ годомъ, дурнѣетъ и блекнетъ ея красота; видѣла, что мать строго и неуклонно идетъ къ завѣтной цѣли, и нѣтъ ей выхода. Часто злоба возмущала покой ея благородныхъ и высокихъ мыслей. Какъ жестоко, какъ безсердечно распорядились ея судьбой!

По широкимъ мраморнымъ ступенямъ дѣвушка спустилась къ подъѣзду дома. Огромная площадь двора, усаженная кустами цвѣтовъ, кустами сирени и жасмина, съ пробѣжей дорогой

между двумя рядами листвъ, была уже на половину въ тѣни. Солнце заходило по другую сторону дома, и большая тѣнь его легла здѣсь всею своею массой. Графиня Ванда медленно обошла вокругъ и очутилась въ саду. Ее мучила безсознательная тоска, тихая ноющая боль и скука. Тысячи разъ она видала эти старые каштаны и клены вдоль широкихъ дорожекъ. Лучи заходящаго солнца пронизывали чащу деревьевъ длинными золотыми иглами, или разбивались о твердую поверхность листьевъ. Все это неинтересно. Она уходила впередъ безъ цѣли, избравъ самую длинную дорожку. Садъ становился все строже и величественнѣе. Дорожка опоясывала теперь крутые уступы къ нижней площади сада, и быстро спускавшіеся по нимъ группы деревьевъ напоминали легіоны косматыхъ великановъ, спѣшвшихъ къ битвѣ. Въ концѣ дорожку преграждалъ оврагъ, поросшій папоротникомъ, куда выползали, какъ змѣи, корни старыхъ деревьевъ. Въ оврагъ спускалась узкая, твердая тропинка. Это былъ конецъ сада съ одной стороны, дальше шелъ лѣсъ. Графиня Ванда рѣдко приходила сюда и не любила этой глухой стороны. Но сегодня она была особенно настроена. Ей хотѣлось чѣмъ-нибудь разсѣять свою тоску и боль. Она спустилась въ оврагъ и пошла, куда приведетъ ее тропинка. Въ лѣсу было темно. Бѣлая фигура стройной дѣвушки напоминала видѣніе тоскующаго ангела. Лѣсная прохлада, запахъ сырости и лежалыхъ листьевъ, вмѣстѣ съ какимъ-то неопредѣленнымъ чувствомъ страха и сладкой надежды, охватили ее. Она знала, что здѣсь нѣтъ ни разбойниковъ, ни страшныхъ монаховъ, нѣтъ и таинственныхъ рыцарей, похищающихъ женщинъ,—но она смутно желала, чтобы случилось что-нибудь особенное. Въ густыхъ листьяхъ папоротника иногда что-то шуршало, заставляя каждый разъ вздрагивать одинокую дѣвушку. Бодливая, взволнованная, она и не замѣчала, какъ кончилась тропинка, и на нее вдругъ блеснуло свѣтомъ. Она очутилась на большой полянѣ, залитой уже не слабыми, но еще яркими лучами солнца. Длинные тѣни отдаленныхъ деревьевъ входили сюда своими верхушками. Это нижняя часть сада. Тропинка вела въ пчель-

никъ, огороженный высокимъ плетнемъ. Вдали видѣлась стальная полоса пруда. Скошенная трава была собрана въ небольшія копны и сильно пахла. Дѣвушка пробралась къ прочищенной дорожкѣ и направилась къ пруду. Опять пошли деревья. Оустивъ голову, равнодушная къ окружающему, она шла, чувствуя приступы прежней тоски. Какъ и когда впереди ея, по дорожкѣ, которая шла рядомъ, между деревьями, появился молодой человѣкъ въ военномъ костюмѣ—она не замѣтила. Тотъ, въ свою очередь, очевидно, также не видалъ молодой графини, такъ какъ шелъ съ очень беззаботнымъ видомъ, покуривая напироску и обивая хлыстикомъ изъ орѣшника попадающіеся ему вѣтки деревьевъ. Дѣвушка сразу догадалась, кто это. Горничная нѣсколько дней тому назадъ рассказала ей, что къ управителю, пану Вержбицкому, прѣхалъ сынъ изъ войска. Онъ еще не офицеръ, а скоро будетъ и служить въ конницѣ. По ея словамъ, онъ былъ красавецъ. Сердце дѣвушки вдругъ необыкновенно забилось. Она почему-то даже оглянулась кругомъ, боясь, чтобы за ней не слѣдили.

Молодой человѣкъ былъ въ синемъ мундирѣ, плотно облегавшемъ его талію, въ бѣлой фуражкѣ, надѣтой молодцовато набокъ, въ узкихъ, красивыхъ ботфортахъ, со шпорами, которые звенѣли ясно и твердо. Вся его обтянутая мускулистая фигура дышала здоровьемъ и силой. Графиня Ванда шла за нимъ, охваченная какимъ-то неудержимымъ влеченіемъ. Она боялась только, чтобы онъ не замѣтилъ ея,—тогда придется уйти. Ее оставило все благоразуміе, весь стыдъ сознанія, что она увлекается какимъ-то военнымъ, сыномъ пана Вержбицкаго. Молодой человѣкъ шелъ, ничего не подозрѣвалъ, а за нимъ—искушенная, взволнованная дѣвушка. Они пришли къ пруду. Чистый воды постоянно обновляли его и не давали застою. Скрытый каменной аркой, источникъ выливался широкимъ ручьемъ. Отбѣный край арки былъ защищенъ желѣзной рѣшеткой. Молодой человѣкъ облокотился на перила, бросивъ въ воду зашипыніи окурокъ напиросы. Потомъ, усталой походкой, онъ спустился

ниже, къ берегу пруда, и легъ въ густой зеленой травѣ. Дѣвушка подошла къ рѣшеткѣ.

Рои мошекъ, пружась и играя, сыпались съ неба въ мертвые воды пруда. Солнце заходило. Косматые нвы, по крутымъ берегамъ, отражались въ водѣ огромной массой, и покрывая ихъ тѣнью поверхность казалась холодной, прозрачной. Дѣвушку мучили бурно нахлынувшія страсти. Чѣмъ больше дѣлалось неопредѣленнымъ ея поведеніе, тѣмъ больше она боялась быть замѣченной, тѣмъ сильнѣе чувство неудержимаго любопытства приковывало ее къ мѣсту. Всѣ неясные идеалы, которые создала ей, за много лѣтъ, ея одинокая, тоскующая фантазія, промелькнули теперь нестройной толпой и воплотились въ молодомъ человѣкѣ, бывшемъ такъ близко, у ея ногъ... «Нужно уйти и уйти немедленно», подсказывало ей благоразуміе...

Вдругъ мгновенный порывъ разрѣшилъ все. Дѣвушка увидѣла подъ аркой роскошную семью водныхъ лилій. Она быстро спустилась къ берегу, мимо молодого человѣка, и, не замѣчая его, наклонилась за цвѣтами. Тотъ встрепенулся.

Лиліи были далеко и дѣвушка, при видѣ незнакомаго, пугливо вскрикнула. Лицо его было круглое, краснощекое, съ небольшими усиками, закрывавшееся начесанными на лобъ и подрѣзанными въ кружокъ волосами. Вержбицкій сразу узналъ дочь графа и бросился доставать ей цвѣты. Ванда видѣла только, какъ онъ невѣроятно наклонился къ водѣ, видѣла, какъ трава, за которую держалась его рука, ослабла, и синяя фигура грузно ухнула и скрылась подъ аркой. Она убѣжала.

Уже на главной дорожкѣ къ дому дѣвушку догнали торопливные шаги. Молодой человѣкъ, весь мокрый и изволнованный, предложилъ ей желанный цвѣтокъ лиліи. Графиня Ванда гордо прошла мимо сына нава Вержбицкаго, сѣрнувъ его холоднымъ, волнымъ презрѣніемъ, взглядомъ.

М. Галунцовскій.

Кіевъ, 7 октября, 1888.

Въ трепещущей тѣни задумчивыхъ береговъ
По кладбищу мы шли... Кругомъ кресты бѣлые,
И грустно было намъ, но мы ронять не смѣли
Новыплаканныхъ слезъ...

Отъ насмѣй могилъ и отъ надгробныхъ плитъ
Пахнуло намъ въ лицо дыханіемъ мертвятины,—
Казалось, прошлое, грумясь надъ настоящимъ,
Таинственно грозитъ...

И стыдно стало намъ новыплаканныхъ слезъ,
Постигли ны всю ложь тоски своей обычной,
И счастье бытія, и жгучіе мелочный
Задумчивыхъ береговъ...

Константинъ Льдовъ.

22 мая 1893.

* * *

Люблю я море въ непогоду,
Когда, волнуясь и стона,
Оно горой надымлетъ воду
И брызжетъ пѣною въ неба!
Когда среди морской пучины,
Въ туманѣ алой осенней мглы,
Встаютъ сѣдые исполны,
Морские грозные валы;
Когда корабли трещить и гнется,
Вонзая въ нихъ свой острый носъ,
И, какъ алой духъ, надъ бездною вьется
Съ алеющихъ краемъ альбатросъ!

Но не люблю я итиль на моръ,
Когда спать воздухъ даже самъ,
И на сверкающемъ просторѣ
Движенья нѣтъ большаго суданъ:
Такъ—жизнь, адъсъ—жить одно стремленье,
Такъ—страсти бурный ураганъ,
А адъсъ—бессилье и томленье,
Въ словахъ будто означа!..

А. Дятловский.







PG 3460 .G3 .Z7

C.1

Kraanyl tavietok

Stanford University Libraries



3 6105 037 230 310

DATE DUE

PG

3460

.G3.Z7

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA

94305



